Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

Стихотворения
Поэмы

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

Стихотворения



Поэмы

Издание подготовил
Л. Г. ФРИЗМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва
1982

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

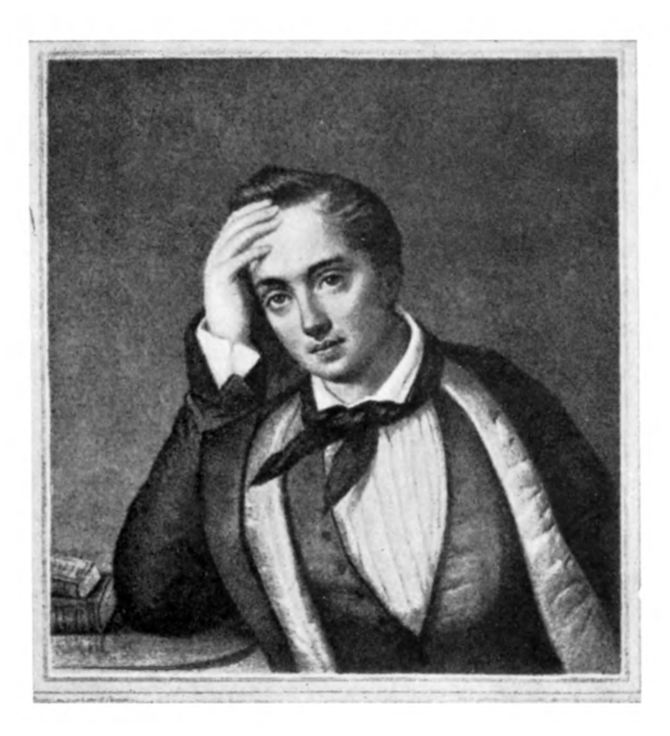
*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников,
Д. Д. Благой, И. С. Брагинский, А. С. Бушмин,
М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин,
Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя),
Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),
Д. А. Ольдерогге, Б. И. Пуришев,
А. М. Самсонов (заместитель председателя),
М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов,
С. О. Шмидт*

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ

А. Л. ГРИШУНИН, К. В. ПИГАРЕВ

Составление, статья, примечания.
© Издательство «Наука», 1982 г.

Б $\frac{4803010100-317}{02(042)-82}$ б/об



Е. А. Баратынский

Литография Ф. Шевалье

Часть первая





I

Финляндия

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
Громадам, миру современным;
Подобно им, да будет он
Во все годины неизменным!

Как все вокруг меня пленяет чудно взор!
Там необъятными водами
Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошел тяжелыми стопами,
Сошел — и смотрится в зерцале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит,
И только что себе в убор
Алмазных звезд ненужный хор
На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!

Умолк призывный щит, не слышен скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов,
И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!
И все вокруг меня в глубокой тишине!
О вы, носившие от брега к брегу бои,
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышьте голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи.
Сыны могучие сих грозных, вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?

СТИХОТВОРЕНІЯ

Евгенія Баратынскаго.

Часть I.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,

при Императорской Медико-Хирургичес. Академіи.

1835.

«Стихотворения Е. А. Баратынского»

Москва, 1835 г. Титульный лист

Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, не внимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.



II

Порою ласковую фею
Я вижу в обаянье сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!



III

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной розлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.

Когда придет желанное мгновенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.

Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.



IV

Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пускай другие чтут приличия законы;
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край, всегда любимой!

Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист, и волн мятежный рев,
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед, в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
Науке размерять окопы боевые —
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.

О подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель
и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.



V

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немым развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?

Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений?

Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?
Или, как призрак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?



VI

О счастии с младенчества тоскуя,
Все счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
В пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,
Не узнаю я свет;
Надежд своих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.

Безумен ты и все твои желанья —
Мне тайный голос рек;
И лучшие мечты моей созданья
Отвергнул я навек.

Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем
Я тяжкий жребий свой,
Вдруг Истину (то не было мечтаньем)
Узрел перед собой.

«Светильник мой укажет путь ко счастью! —
Вещала.— Захочу
И, страстного, отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный, разлюбишь
И ближних и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
Я оболью суровым хладом душу,
Но дам душе покой».

Я трепетал, словам ее внимая,
И горестно в ответ
Промолвил ей: «О гостья неземная!
Печален твой привет.

Светильник твой — светильник погребальный
Последних благ моих!
Твой мир, увы! могилы мир печальный,
И страшен для живых.

Нет, я не твой! в твоей науке строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой-как моей дорогой
Один я побреду.

Прости! иль нет: когда мое светило
Во звездной вышине
Начнет бледнеть и все, что сердцу мило,
Забыть придется мне,

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти».



VII

Наслаждайтесь: все проходит!
То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и к бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.

Не ропщите: все проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие крыле.



VIII

Люблю я красавицу
С очами лазурными:
О! в них не обманчиво
Душа ее светится!
И если прекрасная
С любовию томною
На милом покоит их,
Он мирно блаженствует,
Вовек не смутит его
Сомненье мятежное.
И кто не доверится
Сиянью их чистому,
Эфирной их прелести,
Небесной души ее
Небесному знаменью?

Страшна мне, друзья мои,
Краса черноокая;
За темной завесою
Душа ее кроется,
Любовник пылает к ней
Любовью тревожною
И взорам двусмысленным
Не смеет довериться.
Какой-то недобрый дух
Качал колыбель ее;
Оделася тьмой она,
Вспылала причудою,
Закралося в сердце к ней
Лукавство лукавого.



IX

Лета

Душ холодных упованье,
Неприязненный ручей,
Чье докучное журчанье
Усыпляет Элизей!
Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
Погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
Я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.



X

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя,
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я все имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.



XI

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем;
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.



XII

Рассеивает грусть пиров веселый шум.
Вчера, за чашей круговою,
Средь братьев полковых, в ней утопив мой ум,
Хотел воскреснуть я душою.

Туман полуночный на холмы возлегал,
Шатры над озером дремали,
Лишь мы не знали сна — и пенистый бокал
С весельем буйным осушали.

Но что же? вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили;
Но я безрадостно с друзьями радость пел:
Восторги их мне чужды были.

Того не приобресть, что сердцем не дано,
Рок злобный к нам ревниво злобен,
Одну печаль свою, уныние одно
Унылый чувствовать способен.



XIII
Песня

Страшно воет, завывает
Ветр осенний;
По поднéбесью далече
Тучи гонит.

На часах стоит печален
Юный ратник;
Он уносится за ними
Грустной думой.

О, куда, куда вас, тучи,
Ветер гонит?
О, куда ведет судьбина
Горемыку?

Тошно жить мне: мать родную
Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
Я расстался!

«Не грусти! — душа-девица
Мне сказала.—
За тебя молиться будет
Друг твой верный».

Что в молитвах? я в чужбине
Дни скончаю.
Возвращусь ли? взор твой друга
Не признает.

Не видать в лицо мне счастья;
Жить на что мне?

Дай приют, земля сырая,
Расступися!

Он поет, никто не слышит
Слов печальных...
Их разносит, заглушает
Ветер бурный.



XIV

Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить — плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность, прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,
Но лишний пленник вам дороже,
Вам очень мил я, но, увы!
Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.



XV

Падение листьев

Желтел печально злак полей,
Брега взрывал источник мутной,
И голосистый соловей
Умолкнул в роще бесприютной.
На преждевременный конец
Суровым роком обреченный,
Прощался так младой певец
С дубравой, сердцу драгоценной:

«Судьба исполнилась моя,
Прости, убежище драгое!
О прорицанье роковое!
Твой страшный голос помню я:
— Готовься, юноша несчастной!
Во мраке осени ненастной
Глубокий мрак тебе грозит,
Уж он зияет из Эрева,
Последний лист падет со древа,
Твой час последний прозвучит!
И вяну я: лучи дневные
Вседневно тягче для очей;
Вы улетели, сны златые
Минутной юности моей!
Покину все, что сердцу мило.
Уж мглою небо обложило,
Уж поздних ветров слышен свист!
Что медлить? время наступило:
Вались, вались, поблекший лист!
Судьбе противиться бессильный,

Я жажду ночи гробовой.
Развались, развались! мой холм могильный
От грустной матери сокрой!
Когда ж вечернею порою
К нему пустынною тропою,
Вдоль незабвенного ручья,
Придет поплакать надо мною
Подруга нежная моя;
Твой легкий шорох в чуткой сени,
На берегах Стигийских вод,
Моей обрадованной тени
Да возвестит ее приход!»

Сбылось! Увы! судьбины гнева
Покорством бедный не смягчил,
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его могила!
С кручиной тяжкою своей
К ней часто матерь приходила...
Не приходила дева к ней!



XVI

Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит,
И вздох случайной...
О! я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покоя;
Давным-давно я
Читаю в ней:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!



XVII

Зачем, о Делия! сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе:
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Очарованье роковое!
Не опасаяся насмешливых сетей,
Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет и розы красоты,
Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
К чему, бесчарная Цирцея?
Искусством округлишь ты высохшую грудь,
Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь как-нибудь
Вновь приманить... но не приманишь!
Взамену снов младых тебе не обрести
Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волненье.

XVIII

Когда б избрать возможно было мне
Любой удел, любое счастье в мире,
Я б не хотел быть славным на войне,
Я б не хотел играть на громкой лире,
Я злата бы себе не пожелал;
Но блага все единым именуя,
То дайте мне, богам бы я сказал,
Чем Д....... понравиться могу я.



XIX

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?

Ужель душе твоей так скоро чуждым стал
Друг отлученный, друг далекой,
На финских берегах между пустынных скал
Бродящий с грустью одинокой?

Где ты, о Дельвиг мой! ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата?

Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,

Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?

«Что в славе? что в молве? на время жизнь дана!» —
За полной чашей мы твердили
И весело в струях блестящего вина
Забвенье сладостное пили.

И вот сгустилась ночь, и все в глубоком сне —
Лишь дышит влажная прохлада;
На стогнах тишина! сияют при луне
Дворцы и башни Петрограда.

К знакомцу доброму стучится Купидон,—
Пусть дремлет труженик усталый!
«Проснися, юноша, отвергни,— шепчет он,—
Покой бесчувственный и вялый.

Взгляни! ты видишь ли: покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
Томленья страстного в душе своей полна,
Счастливца ждет моя Лилета?»

Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!
Блажен, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;

Кто без уныния глубоко жизнь постиг
И, равнодушием богатый,
За царство не отдаст покоя сладкий миг
И наслажденья миг крылатый!

Давно румяный Феб прогнал ночную тень,
Давно проснулися заботы,

А баловня забав еще покоит лень
　　На ложе неги и дремоты.

И Лила спит еще; любовию горят
　　Младые свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
　　Ее уста полуоткрыты.

И где ж брега Невы? где чаш веселый стук?
　　Забыт друзьями друг заочной,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
　　Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, пою утрату их,
　　И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
　　И на ногах моих оковы.



XX

Желанье счастия в меня вдохнули боги:
Я требовал его от неба и земли
И вслед за призраком, манящим издали,
　　Жизнь перешел до полдороги;
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу
　　И скромно кланяюсь прохожим.



XXI

Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю,— пишет он,— итак,
Я, несомненно, существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь,— я пойму
Скорее истину такую.
Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын, гласит преданье,
Одушевил свое созданье,
И наказал его Зевес
Неумолимый, Прометея
К скалам Кавказа приковал,

И сердце вран ему клевал;
Но, дерзость жертвы разумея,
Кто приговор не осуждал?
В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое;
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.



XXII
Цветок

С восходом солнечным Людмила,
Сорвав себе цветок,
Куда-то шла и говорила:
«Кому отдам цветок?

Что торопиться? мне ль наскучит
Лелеять свой цветок?
Нет! недостойный не получит
Душистый мой цветок».

И говорил ей каждый встречный:
«Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
Отдай мне твой цветок».

Она в ответ: «Сама я знаю,
Прекрасен мой цветок;
Но не тебе, и это знаю,
Другому мой цветок».

Красою яркой день сияет,—
У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает,—
У девушки цветок!

Идет. Услада повстречала,
Он прелестью цветок.
«Ты мил! — она ему сказала.—
Возьми же мой цветок!»

Он что же деве? Он спесиво:
«На что мне твой цветок?
Ты мне даришь его — не диво:
Увянул твой цветок».



XXIII

Что пользы вам от шумных ваших прений?
Кипит война; но что же? никому
Победы нет! Сказать ли, почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустяки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски.



XXIV

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала;
Она словам моим внимала
С тупым, бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний

Язык живой употребил...
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалася глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девой идеальной,—
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.



XXV

Языкову

Бывало, свет позабывая
С тобою, счастливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд менады надевает;

Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Наперснице души твоей
Дай диадему и порфиру;
Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.



XXVI

Он близок, близок день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Не мне роптать; но дни печали,
Быть может, поздно миновали:
С тоской на радость я гляжу,
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне.



XXVII

Перелетай к веселью от веселья,
Как от цветка бежит к цветку дитя;
Не успевай, за суетой безделья,
Задуматься, подумать и шутя.
Пускай тебя к Кориннам не причислят,
Играй, мой друг, играй и верь мне в том,
Что многие о милой Лизе мыслят,
Когда она не мыслит ни о чем.



XXVIII

Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко скачущей телеге
От нас, увы! далеко прочь,
О нас, увы! не сожалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удальцами удальцом!
О милый мой! согласен в том:
Завидно счастие такое!
Не приобщуся невпопад
Я к мудрецам, чрез меру важным.

Иди! воинственный наряд
Приличен юношам отважным.
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,
Люблю красивые смотры,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть, в битве шумной
Летящих в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за ними вслед
Тебя зовет, любовник брани;
Ступай, служи богине бед,
И к ней трепещущие длани
С мольбой подымет твой поэт.



XXIX

Мила, как грация, скромна,
Как Сандрильона;
Подобно ей, красой она
Достойна трона.
Приятна лира ей моя;
Но что мне в этом?
Быть королем желал бы я,
А не поэтом.



XXX

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.



XXXI

Глупцы не чужды вдохновенья;
Им также пылкие мгновенья
Оно, как гениям, дарит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.



XXXII

Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливой,
Я за любовь любви молил;
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых;
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило:
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.



XXXIII

Г⟨неди⟩чу

Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных;
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов:
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде, не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напитывая строки,
Сатирою восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И, звуки легкие затейливой свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.

Полезен обществу сатирик беспристрастной;
Дыша любовию к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им:
То, укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;
Он нравов опекун и вместе правды воин.

Все так; но кто владеть пером его достоин!
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки —
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я устрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.

Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд, наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайностям морей;
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных возвышенный поэт.
Но рвенью моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчичей привесть,
Я благодарность их мечтал бы приобресть,
Но, право, смысла нет во слове «благодарность»,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От века сих вельмож оставшийся один,
Но смело дух его хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспоривать царя;
Когда, прекрасному влечению послушный,

Внимать ему любил монарх великодушный,
Из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли? — «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица».
Так лучшим подвигам людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье;
Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унизить до себя;
Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клевещет!

. . . .
. . . .

Нет, нет! разумный муж идет путем иным,
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единой
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.



XXXIV

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?
Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитеся вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне, примерно, нежной став,
Вы наслажденья лишены ли
Дурачить пленников других
И гордой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще же нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить нетрудно мне;
И, ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог —
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.



XXXV

Дало две доли провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой.

Верь тот надежде обольщающей,
Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
С судьбой насмешливой знаком.

Надейтесь, юноши кипящие!
Летите, крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие,
И сердца пламенные сны!

Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие
Себе на тягостную часть!

Гоните прочь их рой прельстительный:
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.

Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов;

Так вы, согрев в душе желания,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.



XXXVI

Один, и пасмурный душою,
Я пред окном сидел;
Свистела буря надо мною,
И глухо дождь шумел.

Уж поздно было, ночь сгустилась,
Но сон бежал очей.
О днях минувших пробудилась
Тоска в душе моей.

«Увижу ль вас, поля родные,
Увижу ль вас, друзья?
Губя печально дни младые,
Приметно вяну я!

Дни пролетают, годы тоже;
Меж тем беднеет свет!
Давно ль покинул вас — и что же?
Двоих уж в мире нет!

И мне назначена могила!
Умру в чужой стране,
Умру, и ветреная Лила
Не вспомнит обо мне!»

Душа стеснилася тоскою;
Я грустно онемел,
Склонился на руку главою,
В окно не зря глядел.

Очнулся я; румян и светел
Уж новый день сиял,
И громкой песнью ранний петел
Мне утро возвещал.



XXXVII

В борьбе с тяжелою судьбой
Я только пел мои печали:
Стихи холодные дышали
Души холодною тоской;
Когда б тогда вы мне предстали,
Быть может, грустный мой удел
Вы облегчили б. Нет! едва ли!
Но я бы пламеннее пел.



XXXVIII
Лутковскому

Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы;
Проказы жизни боевой —
Никак, веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей,
И я люблю, тебе внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.
Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! в веселье диком
Вы мчитесь грозно... дым и гром!
Бегущий враг покрыт стыдом,
И страшный бой с победным кликом

Вы запиваете вином!
А Епендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитереи
Ты дружно жил и на войне!
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Ты, воин мой, защитник их;
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.
Ты сна не знаешь; чуть проглянул
День лучезарный сквозь туман,
Уж рыцарь мой на вражий стан
С дружиной быстрою нагрянул:
Врагам иль смерть, иль строгий плен!
Меж тем красавицы младые
Пришли толпой, с высоких стен
Глядеть на игры боевые;
Сраженья вид ужасен им,
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы:
Да возвратится невредим
Любезный воин с лютой битвы!
О! кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!
Но ты не раз увенчан был
И бранной славой, и любовью.
Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселье боя
И заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?



XXXIX

Когда печалью вдохновенный
Певец печаль свою поет,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий хладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет,
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружен,
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.



XL

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.



XLI

Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет,
На утренней заре ты юности прекрасной.
Живого чувства полный взгляд,
Уста цветущие, румяные ланиты
Влюбленных песенок сильнее говорят
С душой догадливой Хариты.
Когда с тобой наедине
Порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно опечалит
Ее внимание ко мне:
Она торопит пробужденье
Младого сердца твоего
И вынуждает у него

Свидетельство любви, ревнивое мученье.
Что доброго в моей судьбе,
И что я приобрел, красавиц воспевая?
Одно: моим стихом Харита молодая,
Быть может, выразит любовь свою к тебе!
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней,
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умей!
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.



XLII

Тебя из тьмы не изведу я,
О смерть! и, детскою мечтой
Гробовый стан тебе даруя,
Не ополчу тебя косой.

Ты дочь верховного Эфира,
Ты светозарная краса,
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять повращаешь океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл безмерный лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.



XLIII

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!



XLIV

Храни свое неопасенье,
Свою неопытность лелей;
Перед тобою много дней:
Еще уловишь размышленье.
Как в Смольном цветнике своем,
И в свете сердцу будь послушной,
И монастыркой благодушной
Останься долго, долго в нем.
Пусть, для тебя преображаем
Игрой младенческой мечты,
Он век не рознит с тихим раем,
В котором расцветала ты.



XLV

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мне, идти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.

Но, в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
«Послушай,— молвила она,—
Вино советник самый здравый».

Я пил; на что ж решился я
Благим внушеньем полной чаши?
Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши.



XLVI

Незнаю? Милая Незнаю!
Краса пленительна твоя:
Незнаю я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я.



XLVII

Богдановичу

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,
Где благоденствуют отжившие поэты,
О Душенькин поэт, прими мои стихи!
Никак в писатели попал я за грехи
И, надоев живым посланьями своими,
Несчастным мертвецам скучать решаюсь ими.
Нет нужды до того! хочу в досужный час
С тобой поговорить про русский наш Парнас,
С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты
И часто, наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли все как-то не по них.
Ну что ж? поклон, да вон! увы, не в этом дело;
Ни жить им, ни писать еще не надоело,
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к музам их немецких муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.

Прости ему господь! — Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело.
Как терпит публика безумие такое? —
Ты спросишь. Публике наскучило простое,
Мудреное теперь любезно для нее:
У века дряхлого испортилось чутье.

Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный,
Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный,
Венцы свои дарил, без вычур толковит,
Он только истинным любимцам Аонид.
Но нет явления без творческой причины:
Сей благодатный век был век Екатерины!
Она любила муз, и ты ли позабыл,
Кто «Душеньку» твою всех прежде оцепил?
Я думаю, в садах, где свет бессмертья блещет,
Поныне тень твоя от радости трепещет,
Воспоминая день, сей день, когда певца,
Еще за милый труд не ждавшего венца,
Она, друзья ее достойно наградили
И, скромного, его так лестно изумили,
Страницы «Душеньки» читая наизусть.
Сердца завистников стеснила злая грусть,
И на другой же день расспросы о поэте
И похвалы ему жужжали в модном свете.

Кто вкуса божеством теперь служил бы нам?
Кто в наши времена, и прозе и стихам
Провозглашая суд разборчивый и правой,
Заведовать бы мог Парнасскою управой?
О, добрый наш народ имеет для того

Особенных судей, которые его
В листах условленных и в цену приведенных
Снабжают мнением о книгах современных!
Дарует между нас и славу и позор
Торговой логики смышленый приговор.
О наших судиях не смею молвить слова,
Но слушай, как честят они один другого:
Товарищ каждого — глупец, невежда, враль;
Поверить надо им, хотя поверить жаль.

Как быть писателю? В пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатной,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники кота и петуха
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!

Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладкопоющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописной,
Неподражаемый и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут поделить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!
А я, владеющий убогим дарованьем,

Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья.
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зрелее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных муз беспечного питомца
Прими, философ мой, как старого знакомца.



XLVIII

Очарованье красоты
В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
Священной тишиной.



XLIX

Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другого.
Он всем превратно поражен,
И все навыворот он видит;
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.



Очарованье красоты
Въ тебѣ не страшно намъ:
Не будишь насъ какъ солнце ты
Къ мятежнымъ суетамъ;
Отъ дольной жизни какъ луна
Манишь за край земной,
И при тебѣ душа полна
Священной тишиной.

Баратынскій

1824 г.

«Очарованье красоты...»
Беловой автограф, 1826 г.

L

Идиллик новый на искус
Представлен был пред Аполлона.
«Как пишет он? — спросил у муз
Бог беспристрастный Геликона.—
Никак, негодный он поэт?»
— Нельзя сказать.— «С талантом?» — Нет:
Ошибок важных, правда, мало;
Да пишет он довольно вяло.
«Я понял вас; в суде моем
Не озабочусь я нисколько;
Вперед ни слова мне о нем.
Из списков выключить — и только».



LI

Так! отставного шалуна
Вы вновь шалить не убеждайте
Иль золотые времена
Младых затей ему отдайте!

Переменяют годы нас
И с нами вместе наши нравы:
От всей души люблю я вас;
Но ваши чужды мне забавы.

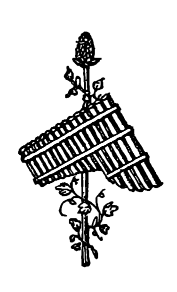
Уж Вакх, увенчанный плющом,
Со мной по улицам не бродит

И к вашим нимфам вечерком
Меня, шатаясь, не заводит.

Весельчакам я запер дверь,
Я пресыщен их буйным счастьем
И заменил его теперь
Пристойным, тихим сладострастьем.

В пылу начальном дней младых
Неодолимы наши страсти:
Проказим мы, но мы у них,
Не у себя тогда во власти.

В своей отваге молодой
Товарищ ваш блажил довольпо;
Не видит он нужды большой
Вновь сумасбродить добровольно.



LII

По замечанью моему,
Альбом походит на кладбище:
И не подобно ли ему
Он всем открытое жилище?
Он также множеством имен
Самолюбиво испещрен.
Увы! народ добросердечной
Равно туда или сюда
Несет надежду жизни вечной
И трепет Страшного суда.
Но я, смиренно признаюся,
Я не надеюсь, не страшуся;
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю:
Философ я; у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.



LIII

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины.

Я слышу: свищет аквилон,
Качает елию скрыпучей,
И с непогодою ревучей
Твой рев мятежный соглашен.

Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины!



LIV

Она придет! к ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.



LV

На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рощу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.



LVI

Элизийские поля

Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условье,
Закон последний бытия;
Ты не спасешь меня, Киприда!
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

Простите, ветреные други,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Разгульной юности моей!
Я не страшуся новоселья;
Где б ни жил я, мне все равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.
Не изменясь в подземном мире,
И там на шаловливой лире
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь, в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты,

Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.

Когда из таи́нственной сени,
От темных Орковых полей,
Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени,
Я навещу, о други, вас,
Сыны забавы и веселья!
Когда для шумного похмелья
Вы соберетесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить;
А к вам молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за сто́лом.

Меж тем за тайными брегами
Друзей вина, друзей пиров,
Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам, чрез день или другой,
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть мир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой дружеской толпой;
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!



LVII

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.



LVIII

Тебе на память в книге сей
Стихи пишу я с думой смутной.
Увы! в обители твоей
Я, может статься, гость минутной!
С изнемогающей душой,
На неизвестную разлуку
Не раз трепещущей рукой
Друзьям своим сжимал я руку.
Ты помнишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали,
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали.
Покинул я предел родной!

Так и с тобою, друг мой милый,
Здесь проведу я день, другой,
И, как узнать? в стране чужой
Окончу я мой век унылый;
А ты прибудешь в дом отцов,
А ты узришь поля родные
И прошлых счастливых годов
Вспомянешь были золотые.
Но где товарищ, где поэт,
Тобой с младенчества любимый?
Он совершил судьбы завет,
Судьбы, враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи мои найдешь,
Где складу нет, но чувство живо,
Ты их задумчиво прочтешь,
Глаза потупишь молчаливо...
И тихо лист перевернешь.



LIX

Когда взойдет денница золотая,
Горит эфир,
И ото сна встает, благоухая,
Цветущий мир,
И славит все существованья сладость;
С душой твоей
Что в иору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Когда на дев цветущих и приветных,
Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
Глядишь порой,
Глядишь и пьешь их томных взоров сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Страдаю я! Из-за дубравы дальной
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?

Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор.
Обманчив он! его живая сладость
Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
То в муку ей.



LX

Окогченная летунья,
Эпиграмма-хохотунья,
Эпиграмма-егоза
Трется, вьется средь народа,
И завидит лишь урода —
Разом вцепится в глаза.



LXI

Н. И. Гнедичу

Нет! в одиночестве душой изнемогая
Средь каменных пустынь противного мне края,
Для лучших чувств души еще я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристип,
И дружбу нежную, и русские Афины!
Не Вакховых пиров, не лобызаний Фрины,
В нескромной юности нескромно петых мной,
Не шумной суеты, прославленной толпой,—
Лишенье тяжко мне в краю, где финну нищу
Отчизна мертвая едва дарует пищу.
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний жадной,
И сердцу и уму я пищу находил.

Счастливец! дни свои ты музам посвятил
И бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека;
Искусства нежные и деятельный труд,
Твой независимый украсили приют.
Податель сердца — труд, искусства — наслажденья.

Еще не породив прямого просвещенья,
Избыток породил бездейственную лень.
На мир снотворную она нагнала тень,
И чадам роскоши, обремененным скукой,
Довольство бедности тягчайшей было мукой;

Искусства низошли на помощь к ним тогда;
Уже отвыкнувших от грубого труда
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили;
Быть может, счастием обязаны мы им.

Как беден кто больной бездействием своим!
Занятья бодрого цены не постигает,
За часом час другой глазами провожает,
Скучает в городе и бедствует в глуши,
Употребления не ведая души,
И плачет сонных дней снося насилу бремя,
Что жизни краткое в них слишком длится время.

Они в углу моем не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не виня
И взяв тебя в пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать мое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Свинцовых моря вод безбрежная равнина,
Напев томительный протяжных песен финна —
Не долго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.

Я победил ее и не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Паденья, славы царств читаю в них причины,
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я моей;
То занят свойствами и нравами людей,

В их своевольные вникаю побужденья,
Слежу я сердца их сокрытые движенья,
И разуму отчет стараюсь в сердце дать!
То вдохновение, Парнаса благодать,
Мне душу радует восторгами своими;
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободно я и, лиру взяв свою,
И дружбу, и любовь, и негу я пою.

Осмеливаясь петь, я помню преткновенья
Самолюбивого искусства песнопенья;
Но всякому свое, и мать племен людских,
Усердья полная ко благу чад своих,
Природа, каждого даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью;
Кто блеском почестей пленен в душе своей;
Кто создан для войны и любит стук мечей;
Любезны песни мне. Когда-то для забавы
Я, праздный, посетил Парнасские дубравы
И воды светлые Кастальского ручья;
Там к хорам чистых дев прислушиваюсь я,
Там, очарованный, влюбился я в искусство
Другим передавать в согласных звуках чувство,
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовию моей.

Так, скуку для себя считая бедством главным,
Я духа предаюсь порывам своенравным;
Так, без усилия ведет меня мой ум
От чувства к шалости, к мечтам от важных дум!
Но ни души моей восторги одиноки,
Ни любомудрия полезные уроки,
Ни песни мирные, ни легкие мечты,

Воображения случайные цветы,
Среди глухих лесов и скал моих унылых
Не заменяют мне людей, для сердца милых,
И часто, грустию невольною объят,
Увидеть бы желал я пышный Петроград,
Вести желал бы вновь свой век непринужденной
В кругу детей искусств и неги просвещенной,
Апелла, Фидия желал бы навещать,
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
За то не в первый раз взываю я к богам,—
Свободу дайте мне — найду я счастье сам!



LXII

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.



LXIII

Прощай, отчизна непогоды,
Печальная страна,
Где, дочь любимая природы,
Безжизненна весна;
Где солнце нехотя сияет,
Где сосен вечный шум,
И моря рев, и все питает
Безумье мрачных дум;
Где, отлученный от отчизны
Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой;
Где, позабыт молвой гремучей,
Но все душой пиит,
Своею музою летучей
Он не был позабыт!
Теперь, для сладкого свиданья,
Спешу к стране родной;
В воображенье край изгнанья
Последует за мной:
И камней мшистые громады,
И вид полей нагих,
И вековые водопады,
И шум угрюмый их!
Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,

Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну,
Но где порою, житель неба,
Наперекор судьбе,
Не изменил питомец Феба
Ни музам, ни себе.



LXIV

Чувствительны мне дружеские пени,
Но искренне забыл я Геликон
И признаюсь: неприхотливой лени
Мне нравится приманчивый закон;
Охота петь уж не владеет мною:
Она прошла, погасла, как любовь.
Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыпленьем
Я не хочу притворным исступленьем
Обманывать ни юных дев, ни муз.



«Чувствительны мне дружеские пени...»

Беловой автограф

LXV

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного мая,
Когда зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень,
Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов,—
Под очарованный твой кров
Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли дерева
И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые, волнуяся, шумели;
С прохладой резкою дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы! рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады;
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...

Вотще! лишенные хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травою,
Приют хозяйственный в нем улья обрели
И легкая тропа исчезла предо мною,
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот по-прежнему, лесистым косогором,
Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем,
И угрожает уж паденьем,
Бывало, в летний зной, прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Он не был мыслию, он не был сердцем хладен,
Тот, кто, глубокой неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к мечтательному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,

Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
  Здесь, друг мечтанья и природы,
  Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
  У нескудеющих ручьев,
  Я тень священную мне встречу.



LXVI

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.



LXVII

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Похищенной искрой созданье свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он презрел — и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,
На бренную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает...

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,
Томимся мы жаждою счастья.



LXVIII

О своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где, для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму,
И удовольствию, и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры;
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры;

Они лукавы, я слыхал,
И, все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой.



LXIX

Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь — пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!



LXX

В своих стихах он скукой дышит;
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?



LXXI

Рука с рукой Веселье, Горе
Пошли дорогой бытия;
Но что? поссорилися вскоре
Во всем несходные друзья!
Лишь перекресток улучили,
Друг другу молвили: «Прости!»,
Недолго розно побродили,
Чрез день сошлись — в конце пути!



LXXII

Решительно печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других...
Так! но когда их слух предубежденной
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан; — так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовию пылал?
Нет, милая! когда в уединенье
Себя потом я тихо поверял,
Их находя в моем воображенье,

Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости младой,
Из-за угла пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.
Нет! более надменна, чем нежна,
Ты все еще обид своих полна...
Прости ж навек! но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.



LXXIII

Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье:
«Все та же песня: ветра свист,
Листов древесных увяданье...»
Понятно нам твое страданье:
И без того освистан ты,
И так, подвалов достоянье,
Родясь, гниют твои листы.



LXXIV

Дельвигу

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба,
И тщетно нам за грозною бедой
Беду грозней пошлет судьбины злоба.
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал: — ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых муз;
Деля досуг меж ими и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?
Ты сам порой глубокую печаль
В душе носил, но что? не мне ли вверить
Спешил ее? И дружба не всегда ль
Хоть несколько могла ее умерить?
Забытые фортуною слепой,
Мы ей назло друг в друге все имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни,
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!

Так, милый друг! позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
По-прежнему ль ко мне пребудут строги,
Всегда я твой. Судьей души моей
Ты должен быть и в вёдро и в ненастье,
Удвоишь ты моих счастливых дней
Неполное без разделенья счастье;
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой;
Чего жʼробеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Еще позволь желание одно
Мне произнесть: молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.



LXXV

Мы пьем в любви отраву сладкую;
Но все отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви, огонь живительный!
Все говорят; но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, о́бъятую им!
Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов златых цветущей младости
Тебе открыл бы душу вновь.



LXXVI

Приятель строгий, ты не прав,
Несправедливы толки злые:
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалося, дышали;
Любили шумные пиры;

Гостей веселых той поры,
Забавы, шалости любили
И за роскошные дары
Младую жизнь благодарили.
Во имя лучших из богов,
Во имя Вакха и Киприды,
Мы пели счастье шалунов
Сердечно презря крикунов
И их ревнивые обиды.
Мы пели счастье дней младых,
Меж тем летела наша младость;
Порой задумывалась радость
В кругу поклонников своих;
В душе больной от пищи многой,
В душе усталой пламень гас,
И за стаканом в добрый час
Застал нас как-то опыт строгой.
Наперсниц наших, страстных дев
Мы поцелуи позабыли,
И, пред суровым оробев,
Утехи крылья опустили.
С тех пор, любезный, не поем
Мы безрассудные забавы,
Смиренно дни свои ведем
И ждем от света доброй славы.
Теперь вопрос я отдаю
Тебе на суд. Подумай, мы ли
Переменили жизнь свою
Иль годы нас переменили?



LXXVII

К⟨нягине⟩ З. А. Волконской

Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон —
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;

Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.



LXXVIII

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы;

Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.



LXXIX

Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил,
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так; спасибо и за то.



LXXX

Поэт Писцов в стихах тяжеловат,
Но я люблю незлобного собрата:
Ей-ей! не он пред светом виноват,
А перед ним природа виновата.



LXXXI

Чтоб очаровывать сердца,
Чтоб возбуждать рукоплесканья,
Я слышал, будто для певца
Всего нужнее дарованья.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвесть
Поэмой длинной, громкой одой,
И ввек того не приобресть,
Чего нам не дано природой.

Когда старик Анакреон,
Сын верный неги и прохлады,
Веселый пел амфоров звон
И сердцу памятные взгляды,
Вслед за толпой младых забав,
Богини песней, миновав
Певцов усерднейших Эллады,
Ему внимать исподтишка
С вершины Пинда поспешали
И балагура-старика
Венком бессмертья увенчали.

Так своенравно Аполлон,
Нам раздает свои награды:
Другому богу Геликон
Отдать хотелось бы с досады!

Напрасно до ноту лица
О славе Фофанов хлопочет:
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.
Меж тем, даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали,
И что ж? нечаянно они
Ее в Цитере повстречали.

Пленен ли Хлоей, Дафной ты,
Возьми Тибуллову цевницу,
Воспой победы красоты,
Воспой души своей царицу;
Когда же любишь стук мечей,
С высокой музою Омира
Пускай поет вражды царей
Твоя воинственная лира.
Равны все музы красотой,
Несходство их в одной одежде.
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.



LXXXII

Разуверение

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больнова
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.



LXXXIII

А. А. Ф...ой

Вы дочерь Евы, как другая,
Как перед зеркалом своим
Власы роскошные вседневно убирая,
Их блеском шелковым любуясь перед ним,
Любуясь ясными очами,
Обворожительным лицом
Блестящей грации, пред вами
Живописуемой услужливым стеклом,
Вы угадать могли свое предназначенье?
Как, вместо женской суеты,
В душе довольной красоты
Затрепетало вдохновенье?
Прекрасный, дивный миг! возликовал Парнас,
Хариту, как сестру, камены окружили,
От мира мелочей вы взоры отвратили:
Открылся новый мир для вас.
Сей мир свободного мечтанья,
В который входит лишь поэт,
Где исполнение находят все желанья,
Где сладки самые страданья
И где обманов сердцу нет.
Мы встретилися в нем. Блестящими стихами
Вы обольстительно приветили меня.
Я знаю цену им. Дарована судьбами
Мне искра вашего огня.
Забуду ли я вас? забуду ль ваши звуки?
В душе признательной отозвались они.
Пусть бездну между нас раскроет дух разлуки,
Пускай летят за днями дни:

Пребудет неразлучна с вами
Моя сердечная мечта,
Пока пленяюся я лирными струнами,
Покуда радует мне душу красота.



LXXXIV

Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шутливой!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед,
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждет судьба одна:
Всех чередом поглотит Лета,
И философа-болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролетное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, был умней.
Будь дружен с музою моею,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею?



LXXXV

Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их летийские струи —
На пальчиках чернила остаются.



LXXXVI

Старик

Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век младой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня...
Но пролетели дни младые;
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.

Пускай венок, сплетенный Лелем,
Не обновится никогда:
Года, увенчанные хмелем,
Еще прекрасные года.



LXXXVII

Хвала, маститый наш Зоил!
Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,
Вот Пушкин бесит. Как любим,
Как отличен ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили:
Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем,
Другие три тебя бесили.



LXXXVIII

Подражание Лафару

Свободу дав тоске моей,
Уединенный, я недавно
О наслажденьях прежних дней
Жалел и плакал своенравно.
Все обмануло, думал я,
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердца мертвой тишиной!
Тогда с улыбкою коварной
Предстал внезапно Купидон.
«О чем вздыхаешь,— молвил он,—
О чем грустишь, неблагодарной?
Забудь печальные мечты:
Я вечно юн, и я с тобою!
Воскреснуть сердцем можешь ты;
Не веришь мне? взгляни на Хлою!»



LXXXIX

Я безрассуден — и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
«Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивою забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И проницательность твоя
Хвалы достойна, верю я;
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор;
И полный неги, полный муки
На мне покоившийся взор;
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она,
И говорю в тоске глубокой:
«Ужель обманут я жестокой?

Или все, все в безумном сне
Безумно чудилося мне?
О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я...»

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: «Горюн неловкой!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую.
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?»



XC

Д. Давыдову

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминанье горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!



XCI

Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Немногим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Когда под звонкие напевы,
Под звук свирели плясовой,
Среди полей, рука с рукой,
Кружатся юноши и девы,
Вмешавшись в резвый хоровод,
Хариты, ветреный Эрот,
Дриады, фавны пляшут с ними
И гонят прочь толпу забот
Воскликновеньями своими,
Поодаль музы между тем,
Таяся в сумраке дубравы,
Глядят, не зримые никем,
На их невинные забавы;
Но их собор в то время нем.
Певцу ли ветрено бесславить
Плоды возвышенных трудов
И легкомыслие забавить
Игрою гордою стихов?
И той нередко, чье воззренье
Дарует лире вдохновенье
Не поверяет он его;
Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.



XCII

Взгляните: свежестью младой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит — и путь не продолжает!



XCIII

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальной.
Ты пра́ва, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной.
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу, без любви — кто знает? — изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.



XCIV

Авроре Ш......

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»



XCV

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков;
Но лишь ветр его коснется,
Он исчезнет без следов.
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.



XCVI

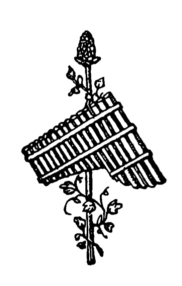
Я не любил ее, я знал,
Что не она поймет поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа;
Чего ж, безумец, в ней искал?
Зачем стихи мои звучали
Ее восторженной хвалой
И малодушно возвещали
Ее владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умиленьем
Ей все мечты души моей?..
Туман упал с моих очей,
Ее бегу я с отвращеньем!
Так, омраченные вином,
Мы недостойному порою
Жмем руку дружеской рукою,
Приветствуем его с осклабленным лицом,
Красноречиво изливаем
Все думы сердца перед ним;
Ошибки темное сознание храним;
Но блажь досадную напрасно укрощаем
Умом взволнованным своим.
Очнувшись, странному забвению дивимся,
И незаконного наперсника стыдимся,
И от противного лица его бежим.



XCVII

Из А. Шенье

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое, утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Все обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.



XCVIII

Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна!
За что же? Ранее встает,
Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине.
Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,
Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови.

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит.



XCIX

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.



С

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещеваний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век младой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытясь буйным наслажденьем,
Пресытясь ласками цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я,
Случится ль вёдро иль ненастье
На перепутье бытия?
Где ж обреченная судьбою?

На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней,
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей!..



CI

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!



CII

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно;
Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдалися отныне!
Готов я с бодрою душой
На все угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!



CIII

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам:
Не испытав его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам.
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливцев тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги.
Скажу ль? Все раны, все недуги,
Все расслабление души твоей больной;
Забыв и свет, и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханье пить

Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.



CIV

На звук цевницы голосистой,
Толпой забав окружена,
Летит прекрасная весна;
Благоухает воздух чистый,
Земля воздвиглась ото сна.

Утихли вьюги и метели,
Текут потоками снега;
Опять в горах трубят рога,
Опять зефиры налетели
На обновленные луга.

Над урной мшистою наяда
Проснулась в сумраке ветвей,
Стрясает инеи с кудрей,
И, разломав оковы хлада,
Заговорил ее ручей.

Восторги дух мой пробудили!
Звучат и блещут небеса;
Певцов пернатых голоса,
Пастушьи песни огласили
Долины, горы и леса.

Лишь ты, увядшая Климена,
Лишь ты, в печаль облечена,
Весны не празднуешь одна!
Тобою младости измена
Еще судьбе не прощена!

Унынье в грудь к тебе теснится,
Не видишь ты красы лугов.
О, если б щедростью богов
Могла ко смертным возвратиться
Пора любви с порой цветов!



CV

Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.



CVI

Череп

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльной!

Еще носил волос остатки он;
Я зрел на нем ход постепенный тленья.
Ужасный вид! как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала;
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом
Все истины, известные гробам,
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший;
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! уверься наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.



CVII

О мысль! тебе удел цветка:
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,
И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек —
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.



CVIII

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах:
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.



CIX

Есть грот: наяда там в полдневные часы
Дремоте предает усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую, под говор ключевой,
Склоняяся челом, венчанным осокой.



CX

Мадона

Близ Пизы, в Италии, в поле пустом
(Не зрелось жилья на полмили кругом)

Меж древних развалин стояла лачужка;
С молоденькой дочкой жила в ней старушка.

С рассвета до ночи за тяжким трудом,
А все-таки голод им часто знаком.

И дочка порою душой унывала;
Терпеньем скудея на бога роптала.

«Не плачь, не крушися ты, солнце мое! —
Тогда утешала старушка ее; —

Не плачь, переменится доля крутая:
Придет к нам на помощь Мадона святая.

Да лик ее веру в тебе укрепит:
Смотри, как приветно с холста он глядит!»

Старушка смиренная с речью такою,
Бывало, крестилась дрожащей рукою,

И с теплою верою в сердце простом,
Она с умиленным и кротким лицом

На живопись темную взор подымала,
Что угол в лачужке без рам занимала.

Но больше и больше нужда их теснит,
Дочь плачет, старушка свое говорит.

С утра по руинам бродил любопытный:
Забылся, красе их дивясь, ненасытный.

Кров нужен ему от полдневных лучей:
Стучится к старушке и входит он к ней.

На лавку садился пришлец утомленный.
Но вспрянул, картиною вдруг пораженный,

«Божественный образ! чья кисть это, чья?
О, как не узнать мне! Корреджий, твоя!

И в хижине этой творенье таится,
Которым и царский дворец возгордится!

Старушка, продай мне картину свою,
Тебе за нее я сто пиастров даю».

— Синьор, я бедна, но душой не торгую;
Продать не могу я икону святую.—

«Я двести даю, согласися продать».
— Синьор, синьор! бедность грешно искушать.—

Упрямства не мог победить он в старушке:
Осталась картина в убогой лачужке.

Но вскоре потом по Италии всей
Летучая весть разнеслася о ней.

К старушке моей гость за гостем стучится,
И, дверь отворяя, старушка дивится.

За вход она малую плату берет
И с дочкой своею безбедно живет.

Прекрасно и чудно, о вера живая!
Тебя оправдала Мадона святая.



CXI

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.



CXII

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.





«Мой неискусный карандаш...»
Автограф и рисунок Баратынского

CXIII

Мой неискусный карандаш
Набросил вид суровый ваш,
Скалы Финляндии печальной;
Средь них, средь этих голых скал,
Я, дни весны моей опальной
Влача, душой изнемогал.
В отчизне я. Перед собою
Я самовольною мечтою
Скалы изгнанья оживил
И, их рассеянно рисуя,
Теперь с улыбкою шепчу я:
Вот где унылый я бродил,
Где, на судьбину негодуя,
Я веру в счастье отложил.



CXIV

Последняя смерть

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуяся, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.

Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он.
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Все на земле движением дышало,
Все на земле как будто ликовало.

Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,
И в бездне вод, сраженный человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещенье!

Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;

Привыкшие к обилью дольных благ,
На все они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье;
Мне слышалось их гладное блеянье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.



CXV

К. А. Свербеевой

В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.

Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!



CXVI

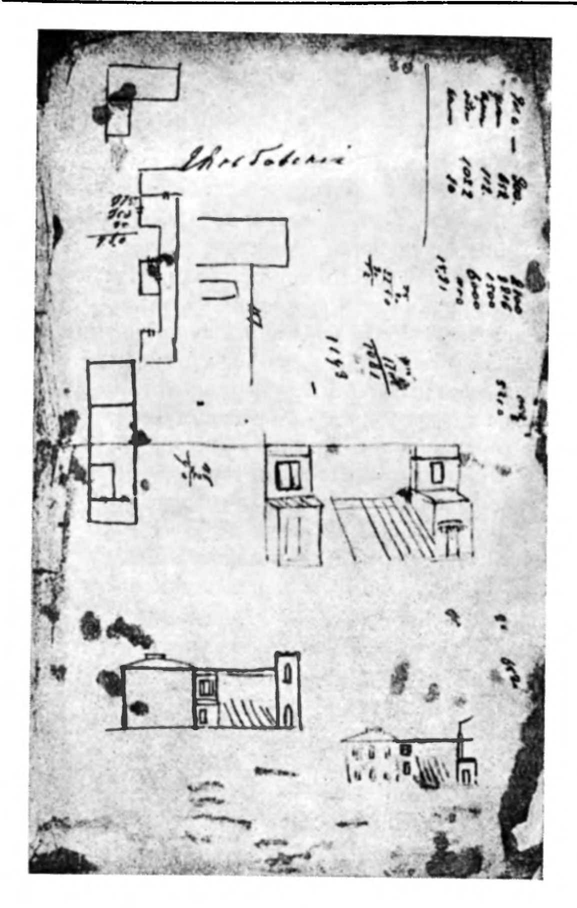
Слыхал я, добрые друзья,
Что наши прадеды в печали,
Бывало, беса призывали;
Им подражаю в этом я.
Но не пугайтесь: подружился
Я не с проклятым сатаной,
Кому душою поклонился
За де́ньги старый Громобой;
Узнайте: ласковый бесенок
Меня младенцем навещал
И колыбель мою качал
Под шепот легких побасенок.
С тех пор я вышел из пеленок,
Между мужами возмужал,
Но для него еще ребенок.
Случится ль горе иль беда,
Иль безотчетно иногда
Сгрустнется мне в моей конурке —
Махну рукой: по старине
На сером волке, сивке-бурке
Он мигом явится ко мне.
Больному духу здравьем свистнет,
Бобами думу разведет,
Живой водой веселье вспрыснет,
А горе мертвою зальет.
Когда в задумчивом совете
С самим собой из-за угла
Гляжу на свет и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,

Насильем сверженный закон,
Я слабым сердцем возмущен;
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он;
Или, в мгновение зеницы,
Чудесный коврик-самолет
Он подо мною развернет,
И коврик тот в сады жар-птицы,
В чертоги дивной царь-девицы
Меня по воздуху несет.
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель:
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.



CXVII

Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были: средь буйственного стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана,
Всегда уносимся мы думою своей,
Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
И вежды старые сомкнуть
Последним, вечным сном желаем.
. . . .
. . . .



Набросок плана дома в Муранове

Автограф Баратынского

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых;
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на все, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дерном гробовым:
Воспоминанием живым
Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем... но прости! Печаль любви сладка,
Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
Сухая скорбь разуверенья.



CXVIII

При посылке «Бала» С. Э.

Тебе ль, невинной и спокойной,
Я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображен преступный жар?

И безобразный и мятежной,
Он не пленит твоей мечты;
Но что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.

Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
От путешественника-друга
Пустыни дальной дикий цвет.



CXIX

На смерть Гете

Предстала, и старец великий смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья.
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведан, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждет ничего:
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Все дольное долу отдавший,
К предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.



CXX

К. А. Тимашевой

Вам все дано с щедротою пристрастной
Благоволительной судьбой:
Владеете вы лирой сладкогласной
И ей созвучной красотой.
Что ж грусть поет блестящая певица?
Что ж томны взоры красоты?

Печаль, печаль — души ее царица,
Владычица ее мечты.
Вам счастья нет, иль на одно мгновенье
Блеснувши, луч его погас;
Но счастлив тот, кто слышит ваше пенье,
Но счастлив тот, кто видит вас.



CXXI

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущий старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.



CXXII

Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Все цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седою мглой.

Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лёт?
Любимцу счастья
Кров от непастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.

В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой,
И забываю
Я бури вой.

О провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бурь бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней,
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Ее согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,
Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.



CXXIII

Как ревностно ты сам себя дурачишь!
На хлопоты вставая до звезды,
Какой-нибудь да пакостью означишь
Ты каждый день без цели, без нужды!
Ты сам себя, и прост и подел вкупе,
Эпитимьей затейливой казнишь:
Заботливо толчешь ты уголь в ступе
И только что лицо свое пылишь.



CXXIV

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.



CXXV

Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!

Зачем так радует ее
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он, дивный, унесет!



CXXVI

Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,

Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милой,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
Им к тебе воскликну я,
И душе моей навстречу
Полетит душа твоя.



CXXVII

Хотя ты малый молодой,
Но пожилую мудрость кажешь:
Ты слова лишнего не скажешь
В беседе самой распашной;
Приязни глупой с первым встречным
Ты сгоряча не заведешь,
К ногам вертушки не падешь
Ты пастушком простосердечным;
Воздержным голосом твоим
Никто крикливо не хвалим,
Никто сердито не осужен.
Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен,
Довольно дюжинной души.



CXXVIII

«Дитя мое,— она сказала,—
Возьмешь иль нет мое кольцо? —
И головою покачала,
С участьем глядя ей в лицо.—

Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое,
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.

Но договор судьбой ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,
И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.

Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.

Вотще ей разум, дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским
Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.

Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:
Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо».

Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою весёлой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелой
Всезабывающей любви.

И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.



CXXIX

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.



CXXX

Отрывок

Он

Под этой липою густою
Со мною сядь, мой милый друг;
Смотри, как живо все вокруг!
Какой зеленой пеленою
К реке нисходит этот луг!
Какая свежая дуброва
Глядится с берега другого
В ее веселое стекло!
Как небо чисто и светло!
Все в тишине; едва смущает
Живую сень и чуткий ток
Благоуханный ветерок:
Он сердцу счастье навевает!
Молчишь ты?

Она

О любезный мой!
Всегда я счастлива с тобой
И каждый миг равно ласкаю.

Он

Я с умиленною душой
Красу творенья созерцаю.
От этих вод, лесов и гор
Я на эфирную обитель,
На небеса подъемлю взор
И думаю: велик зиждитель,

Прекрасен мир! Когда же я
Воспомню тою же порою,
Что в этом мире ты со мною,
Подруга милая моя...
Нет сладким чувствам выраженья,
И не могу в избытке их
Невольных слез благодаренья
Остановить в глазах моих.

Она

Воздай тебе создатель вечный!
О чем еще его молить!
Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.

Он

Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренье
Пленяет свет веселый дня,
Пленяет божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю...
А завтра... завтра... как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!
Вотще к устам моим прильнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовешь:
Я не проснусь! И что мы знаем?

Не только завтра, сей же час
Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве не смущаем
Такою думой?

Она

Что с тобой?
Зачем твое воображенье
Предупреждает провиденье?
Бог милосерд, друг милый мой!
Здоровы, молоды мы оба,
Еще далеко нам до гроба.

Он

Но все ж умрем мы наконец,
Все ляжем в землю.

Она

Что же, милый?
Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его творец.
Спокойны будем: нет сомненья,
Мы в жизнь другую перейдем,
Где нам не будет разлученья,
Где все земные опасенья
С земною пылью отряхнем.
Ах! как любить без этой веры!

Он

Так, всемогущий без нее
Нас искушал бы выше меры;
Так, есть другое бытие!
Ужели некогда погубит

Во мне он то, что мыслит, любит,
Чем он созданье довершил,
В чем, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил он отраженьем
И сам себя изобразил?
Ужели творческая сила
Лукавым светом бытия
Мне ужас гроба озарила,
И только?.. Нет, не верю я.
Что свет являет? Пир нестройный!
Презренный властвует; достойный
Поник гонимою главой;
Несчастлив добрый, счастлив злой.
Как! не терпящая смешенья
В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость божества?
Как! между братьями своими
Мы видим правых и благих,
И, превзойден детьми людскими,
Не прав, не благ создатель их?..
Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья;
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается незримый
Пред нашим сердцем и умом.

Она

Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?

Премудрость вышнего творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиренье сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдем; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.



CXXXI

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.



Часть вторая





Эда

«Чего робеешь ты при мне,
Друг милый мой, малютка Эда?
За что, за что наедине
Тебе страшна моя беседа?
Верь, не коварен я душой;
Там, далеко, в стране родной,
Сестру я добрую имею,
Сестру чудесной красоты;
Я нежно, нежно дружен с нею,
И на нее похожа ты.
Давно... что делать?.. но такая
Уж наша доля полковая!
Давно я, Эда, не видал
Родного счастливого края,
Сестры моей не целовал!
Лицом она, будь сердцем ею;
Мечте моей не измени
И мне любовию твоею
Ее любовь напомяни!
Мила ты мне. Веселье, муку,
Все жажду я делить с тобой:
Не уходи, оставь мне руку!
Доверься мне, друг милый мой!»

С улыбкой вкрадчивой и льстивой
Так говорил гусар красивой
Финляндке Эде. Русь была
Ему отчизной. В горы Финна
Его недавно завела
Полков бродячая судьбина.
Суровый край, его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нём гранит пирами́дальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы.
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?
В доселе счастливой глуши,
Отца простого дочь про́стая,
Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках,
Летучий стан, власы златые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледно-голубые,
Подобно финским небесам.

День гаснул, скалы позлащая.
Пред хижиной своей одна
Сидела дева молодая,
Лицом спокойна и ясна.
Подсел он скромно к деве скромной,
Завел он кротко с нею речь;
Ее не мыслила пресечь
Она в задумчивости томной,
Внимала слабым сердцем ей,—
Так роза первых вешних дней
Лучам неверным доверяет:
Почуя теплый ветерок,
Его лобзаньям открывает
Благоуханный свой шипок
И не предвидит хлад суровый,
Мертвящий хлад, дохнуть готовый.
В руке гусара моего
Давно рука ее лежала,
В забвенье сладком, у него
Она ее не отнимала.
Он к сердцу бедную прижал;
Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах,
И наконец в таких словах
Ему финляндка отвечала:
«Ты мной давно уже любим,
Зачем же нет? Ты добродушен,
Всегда заботливо послушен
Малейшим прихотям моим.
Они докучливы бывали;

Меня ты любишь, вижу я:
Душа призпательна моя.
Ты мне любезен: не всегда ли
Я угождать тебе спешу?
Я с каждым утром приношу
Тебе цветы; я подарила
Тебе кольцо; всегда была
Твоим весельем весела;
С тобою грустным я грустила.
Что ж? Я и в этом погрешила:
Нам строго, строго не велят
Дружиться с вами. Говорят,
Что вероломны, злобны все вы,
Что вас бежать должны бы девы,
Что как-то губите вы нас,
Что пропадешь, когда полюбишь;
И ты, я думала не раз,
Ты, может быть, меня погубишь».
«Я твой губитель, Эда? я?
Тогда пускай мне казнь любую
Пошлет небесный судия!
Нет, нет! я с тем тебя целую!»
«На что? зачем? какой мне стыд!» —
Младая дева говорит.
Уж поздно. Встать, бежать готова
С негодованием она.
Но держит он. «Постой! два слова!
Постой! ты взорами сурова,
Ужель ты мной оскорблена?
О нет, останься: миг забвенья,
Минуту шалости прости!»

«Я не сержуся; но пусти!»

ЭДА,

ФИНЛЯНДСКАЯ ПОВѢСТЬ,

И

ПИРЫ,

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА,

ЕВГЕНІЯ БАРАТЫНСКАГО.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1826.

«Эда... и Пиры...»
СПб., 1826 г. Титульный лист

«Твой взор исполнен оскорбленья,
И ты лицом не можешь лгать:
Позволь, позволь для примиренья
Тебя еще поцеловать».
«Оставь меня!»

«Мой друг прекрасной!
И за ребяческую блажь
Ты неизвестности ужасной
Меня безжалостно предашь!
И не поймешь мое страданье!
И такова любовь твоя!
Друг милый мой, одно лобзанье,
Одно, иль ей не верю я!»

И дева бедная вздохнула,
И милый лик свой, до того
Отвороченный от него,
К нему тихонько обернула.

Как он самим собой владел!
С какою медленностью томной,
И между тем как будто скромной,
Напечатлеть он ей умел
Свой поцелуй! Какое чувство
Ей в грудь младую влил он им!
И лобызанием таким
Владеет хладное искусство!
Ах, Эда, Эда! Для чего
Такое долгое мгновенье
Во влажном пламени его
Пила ты страстное забвенье?
Теперь, полна в душе своей

Желанья смутного заботой,
Ты освежительной дремотой
Уж не сомкнешь своих очей;
Слетят на ложе сновиденья,
Тебе безвестные досель,
И долго жаркая постель
Тебе не даст успокоенья.
На камнях розовых твоих
Весна игриво засветлела,
И ярко-зелен мох на них,
И птичка весело запела,
И по гранитному одру
Светло бежит ручей сребристой,
И лес прохладою душистой
С востока веет поутру;
Там за горою дол таится,
Уже цветы пестреют там;
Уже черемух фимиам
Там в чистом воздухе струится:
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай, и в дол прекрасной
Не приходи, а сверх всего —
Беги гусара твоего!

Уже пустыня сном объята;
Встал ясный месяц над горой,
Сливая свет багряный свой
С последним пурпуром заката;
Двойная, трепетная тень

От черных сосен возлегает,
И ночь прозрачная сменяет
Погасший неприметно день.
Уж поздно. Дева молодая,
Жарка ланитами, встает
И молча, глаз не подымая,
В свой угол медленно идет.

Была беспечна, весела
Когда-то добренькая Эда;
Одною Эдой и жила
Когда-то девичья беседа;
Она приветно и светло
Когда-то всем глядела в очи:
Что ж изменить ее могло?
Что ж это утро облекло
И так внезапно в сумрак ночи?
Она рассеянна, грустна;
В беседах вовсе не слышна;
Как прежде, ясного привета
Ни для кого во взорах нет;
Вопросы долго ждут ответа,
И часто странен сей ответ;
То жарки щеки, то бесцветны,
И, тайной горести плоды,
Нередко свежие следы
Горючих слез на них заметны.

Бывало, слишком зашалит
Неосторожный постоялец,—
Она к устам приставит палец,
Ему с улыбкой им грозит.
Когда же ей он подарит

Какой-нибудь наряд дешевой,
Финляндка дивной ей обновой
Похвастать к матери бежит,
Меж тем его благодарит
Веселым книксом. Шаловливо
На друга сонного порой
Плеснет холодною водой
И убегает торопливо,
И долго слышен громкий смех.
Ее трудов, ее утех
Всегда в товарищи малюткой
Бывал он призван с милой шуткой.
Взойдет ли утро, ночи ль тень
На усыпленны холмы ляжет,
Ему красотка «добрый день»
И «добру ночь» приветно скажет.

Где время то? При нем она
Какой-то робостию ныне
В своих движеньях смущена;
Веселых шуток и в помине
Уж нет; незначащих речей
С ним даже дева не заводит,
Как будто стал он недруг ей;
Зато порой с его очей
Очей задумчивых не сводит,
Зато порой наедине
К груди гусара вся в огне
Бедняжка грудью припадает,
И, страсти гибельной полна,
Сама уста свои она
К его лобзаньям обращает;
А в ночь бессонную, одна,

Одна с раскаяньем напрасным,
Сама волнением ужасным
Души своей устрашена,
Уныло шепчет: «Что со мною?
Мне с каждым днем грустней, грустней;
Ах, где ты, мир души моей!
Куда пойду я за тобою!»
И слезы детские у ней
Невольно льются из очей.

Она была не без надзора.
Отец ее, крутой старик,
Отчасти в сердце к ней проник.
Он подозрительного взора
С несчастной девы не сводил;
За нею следом он бродил,
И подсмотрел ли что такое,
Но только молодой шалун
Раз видел, слышал, как ворчун
Взад и вперед в своем покое
Ходил сердито; как потом
Ударил сильно кулаком
Он по столу и Эде бедной,
Пред ним трепещущей и бледной,
Сказал решительно: «Поверь,
Несдобровать тебе с гусаром!
Вы за углами с ним недаром
Всегда встречаетесь. Теперь
Ты рада слушать негодяя.
Худому выучит. Беда
Падет на дуру. Мне тогда
Забота будет небольшая:
Кто мой обычай ни порочь,

А потаскушка мне не дочь».
Тихонько слезы отирая
У грустной Эды: «Что ворчать? —
Сказала с кротостию мать.—
У нас смиренная такая
До сей поры была она.
И в чем теперь ее вина?
Грешишь, бедняжку обижая».
«Да,— молвил он,— ласкай ее,
А я сказал уже свое».

День после, в комнатке своей,
Уже вечернею порою,
Одна, с привычною тоскою,
Сидела Эда. Перед ней
Святая Библия лежала.
На длань склоненная челом,
Она рассеянным перстом
Рассеянно перебирала
Ее измятые листы
И в дни сердечной чистоты
Невольной думой улетала.
Взошел он с пасмурным лицом,
В молчанье сел, в молчанье руки
Сжал на груди своей крестом;
Приметы скрытой, тяжкой муки
В нем все являло. Наконец:
«Долг от меня,— сказал хитрец,—
С тобою требует разлуки.
Теперь услышать милый глас,
Увидеть милые мне очи
Я прихожу в последний раз;
Покроет землю сумрак ночи

И навсегда разлучит нас.
Виною твой отец суровой,
Его укоры слышал я;
Нет, нет, тебе любовь моя
Не нанесет печали новой!
Прости!» Чуть дышуща, бледна,
Гусара слушала она.
«Что говоришь? Возможно ль? Ныне?
И навсегда, любезный мой!..»
«Бегу отселе; но душой
Останусь в милой мне пустыне.
С тобою видеть я любил
Потоки те же, те же горы;
К тому же небу возводил
С небесной радостию взоры;
С тобой в разлуке свету дня
Уже не радовать меня!
Я волю дал любви несчастной
И погубил, доверясь ей,
За миг летящий, миг прекрасной
Всю красоту грядущих дней.
Но слушай! Срок остался краткой:
Пугаяся ревнивых глаз,
Везде преследующих нас,
Доселе мельком и украдкой
Видались мы; моей мольбой
Не оскорбись. На расставанье
Позволь, позволь иметь с тобой
Мне безмятежное свиданье!
Лишь мраки ночи низойдут
И сном глубоким до денницы
Отяжелелые зеницы
Твои домашние сомкнут,

Приду я к тихому приюту
Моей любезной,— о, покинь
Девичий страх и на минуту
Затвор досадный отодвинь!
Прильну в безмолвии печальном
К твоим устам, о жизнь моя,
И в лобызании прощальном
Тебе оставлю душу я».

Прискорбно дева поглядела
На обольстителя; не смела,
Сама не зная почему,
Она довериться ему:
Бедою что-то ей грозило;
Какой-то страх в нее проник;
Ей смутно сердце говорило,
Что не был прост его язык.
Святая книга, как сначала,
Еще лежавшая пред ней,
Ей долг ее напоминала.
Ко груди трепетной своей
Прижав ее: «Нет, нет,— сказала,—
Зачем со злобою такой
Играть моею простотой?
Иль мало было прегрешений?
Еще ль, еще ль охотный слух
Склоню на голос искушений?
Оставь меня, лукавый дух!
Оставь, без новых угрызений».

Но вправду враг ему едва ль
Не помогал: с такою силой
Излил он ропот свой, печаль

Столь горько выразил, что жаль
Гусара стало деве милой;
И слезы падали у ней
В тяжелых каплях из очей.
И в то же время то моленья,
То пени расточал хитрец.
«Что медлишь? Дороги мгновенья! —
К ней приступил он наконец.—
Дай слово!» — «Всей душой тоскуя,
Какое слово дать могу я,—
Сказала,— сжалься надо мной!
Владею ль я сама собой!
И что я знаю!» Пылко, живо
Тут к сердцу он ее прижал.
«Я буду, жди меня!» — сказал.
Сказал и скрылся торопливо.

Уже и холмы и поля
Покрыты мраками густыми.
Смиренный ужин разделя
С неприхотливыми родными,
Вошла девица в угол свой;
На дверь задумчиво взглянула:
«Поверь, опасен гость ночной!» —
Ей совесть робкая шепнула,
И дверь ее заложена.
В бумажки мягкие она
Златые кудри завернула,
Снять поспешила как-нибудь
Дня одеяния неловки,
Тяжелодышащую грудь
Освободила от шнуровки,
Легла и думала заснуть.

Уж поздно, полночь; но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
«Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?
Я своенравна в самом деле.
Пущу его: ведь миг со мной
Пробудет здесь любезный мой,
Потом навек уйдет отселе».
Так мнит уж девица, и вот
С одра тихохонько встает,
Ко двери с трепетом подходит
И вот задвижки роковой
Уже касается рукой;
Вот руку медленно отводит,
Вот приближает руку вновь;
Железо двинулось — вся кровь
Застыла в девушке несчастной,
И сердце сжала ей тоска.
Тогда же чуждая рука
Дверь пошатнула: «Друг прекрасной,
Не бойся, Эда, это я!»
И, от смятенья дух тая,
Полна неведомого жара,
Девица бедная моя
Уже в объятиях гусара.

Увы! досталась в эту ночь
Ему желанная победа:
Чувств упоенных превозмочь
Ты не могла, бедняжка Эда!
Заря багрянит свод небес.
Восторг обманчивый исчез;
С ним улетел и призрак счастья;

Открылась бездна нищеты,
Слезами скорби платишь ты
Уже за слезы сладострастья!
Стыдясь пылающего дня,
На крае ложа рокового
Сидишь ты, голову склоня.
Взгляни на друга молодого!
Внимай ему: нет, нет, с тобой
Он не снесет разлуки злой;
Тебе все дни его и ночи;
Отец его не устрашит,
Он подозренья усыпит,
Обманет бдительные очи;
Твой будет он, покуда жив...
Напрасно все; она не внемлет,
Очей на друга не подъемлет,
Уста безмолвные раскрыв,
Потупя в землю взор незрящий;
Ей то же друга разговор,
Что ветр, бессмысленно свистящий
Среди ущелин финских гор.

Недолго, дева красоты,
Предателя чуждалась ты,
Томяся грустью безотрадной!
Ты уступила сердцу вновь:
Простила нежная любовь
Любви коварной и нещадной.

Идет поспешно день за днем.
Гусару дева молодая
Уже покорствует во всем.
За ним она, как лань ручная,
Повсюду ходит. То четой

Приемлет их в полдневный зной
Густая сень дубровы сонной,
То зазовет дремучий бор,
То приглашают гроты гор
В свой сумрак неги благосклонной;
Но чаще сходятся они
В долу соседственном, глубоком.
В густой рябиновой сени
Над быстро льющимся потоком
Они садятся на траву.
Порой любовник в томной лени
Послушной деве на колени
Кладет беспечную главу
И легким сном глаза смыкает.
Дух притаив, она внимает
Дыханью друга своего;
Древесной веткой отвевает
Докучных мошек от него;
Его волнистыми власами
Играет детскими перстами.
Когда ж подымется луна
И дикий край под ней задремлет,
В приют укромный свой она
К себе на одр его приемлет.

Но дева нежная моя
Томится тайною тоскою.
Раз обычайною порою
У вод любимого ручья
Они сидели молчаливо.
Любовник в тихом забытьи
Глядел на светлые струи,
Пред ним бегущие игриво.

Дорóгой сорванный цветок
Он как-то бросил в быстрый ток.
Вздохнула дева молодая,
На друга голову склоня.
«Так,— прошептала,— и меня,
Миг полелея, поласкaя,
Так на погибель бросишь ты!»
Уста незлобной красоты
Улыбкой милой улыбнулись,
Но скорбь взяла-таки свое,
И на ресницах у нее
Невольно слезы навернулись.
Она косынкою своей
Их отерла и, веселей
Глядеть стараяся на друга:
«Прости! Безумная тоска!
Сегодня жизнь моя сладка,
Сегодня я твоя подруга,
И завтра будешь ты со мной,
И день еще, и, статься может,
Я до разлуки роковой
Не доживу, господь поможет!»

Невинной нéжностью не раз
Она любовника смущала
И сожаленье в нем подчас
И угрызенье пробуждала;
Но чаще, чаще он скучал
Ее любовию тоскливой
И миг разлуки призывал
Уж как свободы миг счастливой
Не тщетно!

Буйный швед опять
Не соблюдает договоров,
Вновь хочет с русским испытать
Неравный жребий бранных споров.
Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья,—
Война, война! Грядущий день —
День рокового разлученья.

Нет слез у девы молодой.
Мертва лицом, мертва душой,
На суету походных сборов
Глядит она: всему конец!
На ней встревоженный хитрец
Остановить не смеет взоров.
Сгустилась ночь. В глубокий сон
Все погрузилося. Унылой,
В последний раз идет он к милой.
Ей утешенья шепчет он,
Ее лобзает он напрасно.
Внимает, чувства лишена;
Дает лобзать себя она,
Но безответно, безучастно!
Мечтанья все бежали прочь.
Они томительную ночь
В безмолвной горести проводят.
Уж в путь зовет сиянье дня,
Уже ретивого коня
Младому воину подводят,
Уж он садится. У дверей
Пустынной хижины своей
Она стоит, мутна очами.
Девица бедная, прости!

Уж по далекому пути
Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам...
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простерла их потом
И в прах поверглася лицом
С глухим стенаньем смертной муки.

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют за скалами,
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной девицей моей?
Потух огонь ее очей;
В ней Эды прежней нет и тени,
Изнемогает в цвете дней;
Но чужды слезы ей и пени.
Как небо зимнее, бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит, и бури вой мятежный
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,

С лица земли мой легкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой приют
И на нее сугроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?»

Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь ее отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом все пусто, все молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.

Эпилог

Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:

Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
И все напрасно! Чудный хлад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орел наш грозный возлетел!
Он в нем узнал орла Полтавы!
Все покорилось. Но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.
Питомец муз, питомец боя,
Тебе, Давыдов, петь ее.
Венком певца, венком героя
Чело украшено твое.
Ты видел финские граниты,
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строй.
Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!



Пиры

Друзья мои! я видел свет,
На все взглянул я верным оком.
Душа полна была сует,
И долго плыл я общим током...
Безумству долг мой заплачен,
Мне что-то взоры прояснило;
Но, как премудрый Соломон,
Я не скажу: все в мире сон!
Не все мне в мире изменило:
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком,
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.

Признаться каждый должен в том,
Любовник, иль поэт, иль воин,—
Лишь беззаботный гастроном
Названья мудрого достоин.
Хвала и честь его уму!
Дарами нужными ему
Земля усеяна роскошно.
Пускай герою моему,
Пускай, друзья, порою тошно,
Зато не грустно: горя чужд
Среди веселостей вседневных,
Не знает он душевных нужд,
Не знает он и мук душевных.

Трудясь над смесью рифм и слов,
Поэты наши чуть не плачут;
Своих почтительных рабов

Порой красавицы дурачат;
Иной храбрец, в отцовский дом
Явясь уродом с поля славы,
Подозревал себя глупцом;
О бог стола, о добрый Ком,
В твоих утехах нет отравы!
Прекрасно лирою своей
Добиться памяти людей;
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться; но, ей-ей,
Друзья, обедать безопасней!

Как не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольный,
Не золоченые главы,
Не гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленили своевольной.
Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство
Их продолжительных пиров,
Богатой знати хлебосольство
И дарованья поваров.
Там прямо веселы беседы;
Вполне уважен хлебосол;
Вполне торжественны обеды;
Вполне богат и лаком стол.
Уж он накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен
И беззаботными гостями
С благоговеньем окружен.
Еще не сели; всё в молчанье;
И каждый гость вблизи стола

С веселой ясностью чела
Стоит в роскошном ожиданье,
И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюды,
Златых плодов, десерта груды...
Зачем удел мой слабый дар!
Но так весной ряды курганов
При пробужденных небесах
Сияют в пурпурных лучах
Под дымом утренних туманов.
Садятся гости. Граф и князь —
В застольном деле все удалы,
И осушают, не ленясь,
Свои широкие бокалы;
Они веселье в сердце льют,
Они смягчают злые толки;
Друзья мои, где гости пьют,
Там речи вздорны, но не колки.
И началися чудеса;
Смешались быстро голоса;
Собранье глухо зашумело;
Своих собак, своих друзей,
Певцов, героев хвалят смело;
Вино разнежило гостей
И даже ум их разогрело.
Тут всё торжественно встает,
И каждый гость, как муж толковой,
Узнать в гостиную идет,
Чему смеялся он в столовой.

Меж тем одним ли богачам
Доступны праздничные чаши?
Немудрены пирушки наши,

Но не уступят их пирам.
В углу безвестном Петрограда,
В тени древес, во мраке сада,
Тот домик помните ль, друзья,
Где наша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным богом
Делила радостный досуг?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блестки острых слов,
И веки сердце проживало
В немного пламенных часов.
Стол покрывала ткань простая;
Не восхищалися на нем
Мы ни фарфорами Китая,
Ни драгоценным хрусталем;
И между тем сынам веселья
В стекло простое бог похмелья
Лил через край, друзья мои,
Свое любимое Аи.
Его звездящаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена,
Рвет пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.
Мы в ней заботы потопляли
И средь восторженных затей
«Певцы пируют! — восклицали,—
Слепая чернь, благоговей!»

Любви слепой, любви безумной
Тоску в душе моей тая,
Насилу, милые друзья,
Делить восторг беседы шумной
Тогда осмеливался я.
«Что потакать мечте унылой,—
Кричали вы.— Смелее пей!
Развеселись, товарищ милой,
Для нас живи, забудь о ней!»
Вздохнув, рассеянно послушной,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывалися печали,
И задрожавшие уста
«Бог с ней!» невнятно лепетали.

И где ж изменница-любовь?
Ах, в ней и грусть — очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!
Разлучены судьбою строгой,—
И каждый с ропотом вздохнул,
И брату руку протянул,
И вдаль побрел своей дорогой;
И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь былое пролетает
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает.

О, если б, теплою мольбой
Обезоружив гнев судьбины,
Перенестись от скал чужбины
Мне можно было в край родной!
(Мечтать позволено поэту.)
У вод домашнего ручья
Друзей, разбросанных по свету,
Соединил бы снова я.
Дубравой темной осененной,
Родной отцам моих отцов,
Мой дом, свидетель двух веков,
Поникнул кровлею смиренной.
За много лет до наших дней
Там в чаши чашами стучали,
Любили пламенно друзей
И с ними шумно пировали...
Мы, те же сердцем в век иной,
Сберемтесь дружеской толпой
Под мирный кров домашней сени:
Ты, верный мне, ты, Д⟨ельви⟩г мой,
Мой брат по музам и по лени,
Ты, П⟨ушки⟩н наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
И лучшим гостем за бутылкой.
Вы все, делившие со мной
И наслажденья и мечтанья,
О, поспешите в домик мой
На сладкий пир, на пир свиданья!

Слепой владычицей сует
От колыбели позабытый,

Чем угостит анахорет,
В смиренной хижине укрытый?
Его пустынничий обед
Не будет лакомый, но сытый.
Веселый будет ли, друзья?
Со дня разлуки, знаю я,
И дни и годы пролетели,
И разгадать у бытия
Мы много тайного успели;
Что ни ласкало в старину,
Что прежде сердцем ни владело —
Подобно утреннему сну,
Все изменило, улетело!
Увы! на память нам придут
Те песни за веселой чашей,
Что на Парнасе берегут
Преданья молодости нашей:
Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет;
Плоды счастливого забвенья,
Где воплотить умел поэт
Свои живые сновиденья...
Не обрести замены им!
Чему же веру мы дадим?
Пирам! В безжизненные лета
Душа остылая согрета
Их утешением живым.
Пускай навек исчезла младость —
Пируйте, други: стуком чаш
Авось приманенная радость
Еще заглянет в угол наш.



Бал

Глухая полночь. Строем длинным,
Осеребренные луной,
Стоят кареты на Тверской
Пред домом пышным и старинным.
Пылает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Ревут смычки; толпа гостей;
Гул танца с гулом разговоров.
В роскошных перьях и цветах,
С улыбкой мертвой на устах,
Обыкновенной рамой бала,
Старушки светские сидят
И на блестящий вихорь зала
С тупым вниманием глядят.

Кружатся дамы молодые,
Не чувствуют себя самих;
Драгими камнями у них
Горят уборы головные;
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
Толкует, ловит каждый взгляд;
Шутя, несчастных и счастливых
Вертушки милые творят.

В движенье всё. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно острится,
И оба правы: говорят,
Что в то же время можно дамам,
Меняя слева взгляд на взгляд,
Смеяться справа эпиграммам.
Меж тем и в лентах и в звездах,
Порою с картами в руках,
Выходят важные бояры,
Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Но гости глухо зашумели,
Вся зала шепотом полна:
«Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей».— «Ужели?»
«В кадрили весело вертясь,
Вдруг помертвела!» — «Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею?» — «Бог весть,
Мигрень, конечно!.. В сюрах шесть».
«Что с ней, кузина? танцевали
Вы в ближней паре, видел я?
В кругу пристойном не всегда ли
Она как будто не своя?»

Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур

Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродстелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит,
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?

Как в близких сердцу разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,

Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те;
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Страшись прелестницы опасной,
Не́ подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

Так, не сочувствия прямого
Могуществом увлечена —
На грудь роскошную она
Звала счастливца молодого;
Он пересоздан был на миг
Ее живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно виденье свое.

И гасла вдруг мечта ее:
Она вдалась в обман досадный,
Ее прельститель ей смешон,
И средь толпы Лаисе хладной
Уж неприметен будет он.

В часы томительные ночи,
Утех естественных чужда,
Так чародейка иногда
Себе волшебством тешит очи:
Над ней слились из облаков
Великолепные чертоги;
Она на тропе из цветов,
Ей угождают полубоги.
На миг один восхищена
Живым видением она;
Но в ум приходит с изумленьем,
Смеется сердца забытью
И с тьмой сливает мановеньем
Мечту блестящую свою.

Чей образ кисть нарисовала?
Увы! те дни уж далеко,
Когда княгиня так легко
Воспламенялась, остывала!
Когда, питомице прямой
И Эпикура и Нинопы,
Летучей прихоти одной
Ей были ведомы законы!
Посланник рока ей предстал;
Смущенный взор очаровал,
Поработил воображенье,
Слиял все мысли в мысль одну

И пролил страстное мученье
В глухую сердца глубину.

Красой изнеженной Арсений
Не привлекал к себе очей:
Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах —
Усмешка праздная блуждала.
Он незадолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Предстал он в дом моей Лаисы,
И остряков задорный полк
Не знаю как пред ним умолк —
Главой поникли Адонисы.
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким,
Судил разборчиво певца,
Знал цену кисти и резца,
И, сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.

Неодолимо, как судьбина,
Не знаю, что в игре лица,
В движенье каждом пришлеца
К нему влекло тебя, о Нина!
С него ты не сводила глаз...
Он был учтив, но хладен с нею.
Ее смущал он много раз
Улыбкой опытной своею;
Но, жрица давняя любви,
Она ль не знала, как в крови
Родить мятежное волненье,
Как в чувства дикий жар вдохнуть...
И всемогущее мгновенье
Его повергло к ней на грудь.

Мои любовники дышали
Согласным счастьем два-три дни;
Чрез день-другой потом они
Несходство в чувствах показали.
Забвенья страстного полна,
Полна блаженства жизни новой,
Свободно, радостно она
К нему ласкалась; но суровой,
Унылый часто зрелся он:
Пред ним летал мятежный сон;
Всегда рассеянный, судьбину,
Казалось, в чем-то он винил,
И, прижимая к сердцу Нину,
От Нины сердце он таил.

Неблагодарный! Им у Нины
Все мысли были заняты:
Его любимые цветы,

Его любимые картины
У ней являлися. Не раз
Блистали новые уборы
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне убран кабинет,
Где сладострастный полусвет,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легкий пар —
Животворило все желанья,
Вливало в сердце томный жар.

Вотще! Он предан был печали.
Однажды (до того дошло)
У Нины вспыхнуло чело
И очи ярко заблистали.
Страстей противных беглый спор
Лицо явило. «Что с тобою,—
Она сказала,— что твой взор
Все полон мрачною тоскою?
Досаду давнюю мою
Я боле в сердце не таю:
Печаль с тобою неразлучна;
Стыжусь, но ясно вижу я:
Тебе тяжка, тебе докучна
Любовь безумная моя!

Скажи, за что твое презренье?
Скажи, в сердечной глубине
Ты нечувствителен ко мне
Иль недоверчив? Подозренье
Я заслужила. Старины
Мне тяжело воспоминанье:

Тогда всечасной новизны
Алкало у меня мечтанье;
Один кумир на долгий срок
Поработить его не мог;
Любовь сегодняшняя трудно
Жила до завтрашнего дня,—
Мне вверить сердце безрассудно,
Ты прав, но выслушай меня.

Беги со мной — земля вели́ка!
Чужбина скроет нас легко,
И там безвестно, далеко,
Ты будешь полный мой владыка.
Ты мне Италию порой
Хвалил с блестящим увлеченьем;
Страну, любимую тобой,
Узнала я воображеньем;
Там солнце пышно, там луна
Восходит, сладости полна;
Там вьются лозы вино́града,
Шумят лавровые леса,—
Туда, туда! с тобой я рада
Забыть родные небеса.

Беги со мной! Ты безответен!
Ответствуй, жребий мой реши.
Иль нет! зачем? Твоей души
Упорный холод мне приметен;
Молчи же! не нуждаюсь я
В словах обманчивых,— довольно!
Любовь несчастная моя
Мне свыше казнь... но больно, больно!..»
И зарыдала. Возмущен
Ее тоской: «Безумный сон

Тебя увлек,— сказал Арсений,—
Невольный мрак души моей —
След прежних жалких заблуждений
И прежних гибельных страстей.

Его со временем рассеет
Твоя волшебная любовь;
Нет, не тревожься, если вновь
Тобой сомненье овладеет!
Моей печали не вини».
Де́нь после, мирною четою,
Сидели на софе они.
Княгиня томною рукою
Обняла друга своего
И прилегла к плечу его.
На ближний столик, в думе скрытной
Облокотясь, Арсений наш
Меж тем по карточке визитной
Водил небрежный карандаш.

Давно был вечер. С легким треском
Горели свечи на столе,
Кумиров мрамор в дальней мгле
Кой-где блистал неверным блеском.
Молчал Арсений, Нина тож.
Вдруг, тайным чувством увлеченный,
Он восклицает: «Как похож!»
Проснулась Нина: «Друг бесценный,
Похож! Ужели? мой портрет!
Взглянуть позволь... Что ж это? Нет!
Не мой: жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах!

Скажу, красавица такая
Меня затмила бы совсем...»
Лицо княгини между тем
Покрыла бледность гробовая.
Ее дыханье отошло,
Уста застыли, посинели;
Увлажил хладный пот чело,
Непомертвелые блестели
Глаза одни. Вещать хотел
Язык мятежный, но коснел,
Слова сливались в лепетанье.
Мгновенье долгое прошло,
И наконец ее страданье
Свободный голос обрело:

«Арсений, видишь, я мертвею;
Арсений, дашь ли мне ответ!
Знаком ты с ревностию?.. Нет!
Так ведай, я знакома с нею,
Я к ней способна! В старину,
Меж многих редкостей Востока,
Себе я выбрала одну...
Вот перстень... с ним я выше рока!
Арсений! мне в защиту дан
Могучий этот талисман;
Знай, никакое злоключенье
Меня при нем не устрашит.
В глазах твоих недоуменье,
Дивишься ты! Он яд таит».

У Нины руку взял Арсений:
«Спокойна совесть у меня,—
Сказал,— но дожил я до дня

Тяжелых сердцу откровений.
Внимай же мне. С чего начну?
Не предавайся гневу, Нина!
Другой дышал я в старину,
Хотела то сама судьбина.
Росли мы вместе. Как мила
Малютка Олинька была!
Ее мгновеньями иными
Еще я вижу пред собой
С очами темно-голубыми,
С темно-кудрявой головой.

Я называл ее сестрою,
С ней игры детства я делил;
Но год за годом уходил
Обыкновенной чередою.
Исчезло детство. Притекли
Дни непонятного волненья,
И друг на друга возвели
Мы взоры, полные томленья.
Обманчив разговор очей.
И, руку Оленьки моей
Сжимая робкою рукою,
«Скажи,— шептал я иногда,—
Скажи, любим ли я тобою?»
И слышал сладостное *да*.

В счастливый дом, себе на горе,
Тогда я друга ввел. Лицом
Он был приятен, жив умом;
Обворожил он Ольгу вскоре.
Всегда встречались взоры их,
Всегда велся меж ними шепот.

Я мук язвительных моих
Не снес — излил ревнивый ропот.
Какой же ждал меня успех?
Мне был ответом детский смех!
Ее покинул я с презреньем,
Всю боль души в душе тая.
Сказал «прости» всему: но мщеньем
Сопернику поклялся я.

Всечасно колкими словами
Скучал я, досаждал ему,
И по желанью моему
Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал я телом здрав,
Но сердцем болен. Что прибавить?
Бежал я в дальние края;
Увы! под чуждым небом я
Томился тою же тоскою.
Родимый край узрев опять,
Я только с милою тобою
Душою начал оживать».

Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела;
Но от руки его потом
Освободив тихонько руку,
Вдруг содрогнулася лицом,
И все в нем выразило муку.
И, обессилена, томна,

Главой поникнула она.
«Что, что с тобою, друг бесценный?» —
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
«Друг милый, что ты?» — «Ничего».

Еще на крыльях торопливых
Промчалось несколько недель
В размолвках бурных, как досель,
И в примиреньях несчастливых.
Но что же, что же напослед?
Сегодня друга нет у Нины,
И завтра, послезавтра нет!
Напрасно, полная кручины,
Она с дверей не сводит глаз
И мнит: он будет через час.
Он позабыл о Нине страстной;
Он не вошел, вошел слуга,
Письмо ей подал... миг ужасный!
Сомненья нет: его рука!

«Что медлить,— к ней писал Арсений,—
Открыться должно... Небо! в чем?
Едва владею я пером,
Ищу напрасно выражений.
О Нина! Ольгу встретил я;
Она поныне дышит мною,
И ревность прежняя моя
Была неправой и смешною.
Удел решен. По старине
Я верен Ольге, верной мне.
Прости! твое воспоминанье
Я сохраню до поздних дней;

В нем понесу я наказанье
Ошибок юности моей».

Для своего и для чужого
Незрима Нина; всем одно
Твердит швейцар ее давно:
«Не принимает, нездорова!»
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем;
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она, недвижная, немая,
Сидит и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери пашут, растворясь:
Муж не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.

И вот садится. В размышленье
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он;
И наконец: «С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты;
Ей-ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомниться тебе пора.
Сегодня бал у князь Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай;
Там будут наши молодые,
Арсений с Ольгой. Поезжай,

Ну что, поедешь ли?» — «Поеду»,—
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. «Дело,— молвил князь,—
Прощай, спешу я в клоб к обеду».
Что, Нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживить ее умело,
Ужель надежда? Торопясь
Часы летят; уехал князь;
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.

Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело ее облег,
И, меж обильными косами
Рукой искусной пропущен,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза

Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след!
В стекле живом и беспристрастном
Княгиня бедная моя
Глядяся, мнит: «И это я!
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет,
Пускай узрит свое творенье
И всю вину свою поймет».

Другое тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:
«Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье!
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она!
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою
Хоть вполовину, хоть на час...»
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.

Она явилася на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В ярко блестящей, пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой,

И, словом, этот вихрь утех,
Больным душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?
Иль лишним счастием блистало
Лицо у Ольги молодой?
Что б ни было, ей дурно стало,
Она уехала домой.

Глухая ночь. У Нины в спальной,
Лениво споря с темнотой,
Перед иконой золотой
Лампада точит свет печальной.
То пропадет во мраке он,
То заиграет на окладе;
Кругом глубокий, мертвый сон!
Меж тем в блистательном наряде,
В богатых перьях, жемчугах,
С румянцем странным на щеках,
Ты ль это, Нина, мною зрима?
В переливающейся мгле
Зачем сидишь ты недвижима,
С недвижной думой на челе?

Дверь заскрипела, слышит ухо
Походку чью-то на полу;
Перед иконою, в углу,
Стал и закашлял кто-то глухо.
Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка,
Светильня сонная очнулась,
И свет нежданный и живой
Вдруг озаряет весь покой:

Княгини мамушка седая
Перед иконою стоит,
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.

Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой;
Вдруг видит Нину пред собой,
На полпути остановилась.
Глядит печально на нее,
Качает старой головою:
«Ты ль это, дитятко мое,
Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя бог знает о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно;
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечесть каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нем кроткая такая,—
Всечасно вышнего творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла бога... да,
Не ходишь в церковь никогда;
Поверь, кто господа оставит,
Того оставит и господь;
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!

Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком,
Прости, дай ручку мне». Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула —
Рука ледяно-холодна.
В лицо ей с трепетом взглянула —
На ней поспешный смерти ход;
Глаза стоят и в пене рот...
Судьбина Нины совершилась,
Нет Нины! ну так что же? нет!
Как видно, ядом отравилась,
Сдержала страшный свой обет!

Уже билеты роковые,
Билеты с черною каймой,
На коих бренности людской
Трофеи, модой принятые,
Печально поражают взгляд;
Где сухощавые Сатурны
С косами грозными сидят,
Склонясь на траурные урны;
Где кости мертвые крестом
Лежат разительным гербом
Под гробовыми головами,—
О смерти Нины должну весть
Узаконенными словами
Спешат по городу разнесть.

В урочный день, на вынос тела,
Со всех концов Москвы большой
Одна карета за другой

К хоромам князя полетела.
Обсев гостиную кругом,
Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье;
Оно росло, росло, росло
И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.

Богатый гроб несчастной Нины,
Священством пышным окружен,
Был в землю мирно опущен;
Свет не узнал ее судьбины.
Князь, без особого труда,
Свой жребий вышней воле предал.
Поэт, который завсегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть ее стишки.
Обильна слухами столица;
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.



Телема и Макар

Непостоянна, своевольна,
Ничем Телема не довольна;
Всегда душа ее полна
Младенческого беспокойства;
Любила толстяка она
Совсем иного с нею свойства:
Макар не тужит ни о чем,
Ему покой всего дороже;
С весельем шумным незнаком,
Он незнаком со скукой тоже;
Заснет он ночью крепким сном,
Едва глаза свои зажмурит;
Поутру встанет молодцом,
День целый после балагурит.
В любви причудливой своей
К Макару часто нестерпимой
Была Телема: милым ей
Хотелось быть боготворимой.
Однажды, чем-то оскорбясь,
Увлекшись живостью сердечной,
В упреках горьких излилась
Пред ним она. Макар беспечной
Покинул бедную, смеясь.
Без друга скучно и уныло
Тянулись дни. Из края в край
За ним бежать она давай:
Жить без Макара тошно было.

Надежды ветреной полна,
Приходит в Царское она,

Того ли встретит иль другого:
«Не здесь ли милый мой дружок?
Макара нет ли дорогого?»
Никто без хохота не мог
Услышать имени такого.
«Какой Макар тобой любим?
Как разлучилася ты с ним?
Что он, голубушка, за диво?»
Она в ответ нетерпеливо:
«Нет лучше друга моего;
Он добродушен, доброхотен,
Веселонравен, беззаботен,
Не ненавидит никого
И сам никем не ненавидим».
«Ступай,— ответствовали ей,—
Здесь нет его: таких людей
Мы при дворе совсем не видим».

Решилась далее идти
Моя беглянка молодая;
Заходит в лавру по пути,
Макара мирного найти
В сей мирной пристани мечтая.
Игумен ей: «Сказать ли вам?
Его мы долго поджидали;
Но, признаюсь, по пустякам!
Посты, раздор и скуку нам
В замену стены наши дали».
Один неласковый чернец
Сказал вертушке наконец:
«Охота по миру шататься!
Найдется ль, полно, ваш беглец?
На том он свете, может статься!»

Телему сей живой мертвец
Чуть не взбесил таким приветом.
«Его найду я, мой отец,
Не беспокойтеся об этом.
Нет! о Макаре дорогом
Не понапрасну я тоскую:
Одна я жизнь ему дарую;
Не может быть он в мире том,
Когда я в этом существую!»

«Но где же встречу друга я? —
Мечтает странница моя.—
В столице? что же? не чудесно:
Между певцами, верно, он,
Которыми изображен
Он столь искусно и прелестно».
Один из них ей молвил так:
«Вы обманулися, никак;
Не появлялся, к сожаленью,
И между нами ваш чудак;
О нем мы пишем кое-как,
По одному воображенью!»

Совет пред нею. На него
Взглянула странница — и мимо:
«Нет, для Макара моего
Такое место нестерпимо!
Там нет его. Не спорю в том:
Прельститься мог бы он двором,
Двор полон чудного угара;
Но за присутственным столом
Век не увижу я Макара!»
Надеясь друга повстречать,
Телема стала навещать

Гулянья, зрелища столицы,
Ко всем заглядывала в лицы —
По пустякам! Приглашена
В дома блестящие она,
Где те счастливцы председают,
Которых светским языком
Людьми с утонченным умом,
Людьми со вкусом называют;
Они приветливы лицом,
Речами веселы, свободны
И с милым сердцу беглецом
Ей показались очень сходны.
Но чем с Макаром дорогим
Похожей быть они старались,
Тем от прямого сходства с ним
Они заметней удалялись!

Тоска, печаль ее взяла;
Наскуча бегать по-пустому
Из места в место, побрела
Она тихохонько до дому.
В давно покинутый приют
Приходит странница — и что же?
Уже Макар с улыбкой тут
Подругу ждал на брачном ложе.
«Со мною в мире и любви,—
Он молвил,— с этих пор живи;
Живи, о лишнем не тоскуя,
И коль расстаться вновь со мной
Не хочешь, нрава тишиной
Себе приязнь мою даруя,
От угожденья моего
Не требуй более того,
Что я даю, что дать могу я».

Переселение душ

Зевес, любя семью людскую,
Попарно души сотворил
И наперед одну мужскую
С одною женской согласил.
Хвала всевышней благостыне!
Но в ней нам мало пользы ныне:
Глядите! ныне род людской,
Размножась, облил шар земной:
Куда пойду? мечтаешь с горем,
На хладный север, знойный юг?
За Белым иль за Черным морем
Блуждаешь ты, желанный друг?
Не все. Задача есть другая.
Шатаясь по свету, порой
Столкнешься с родственной душой
И рад; но вот беда какая:
Душа родная — нос чужой
И посторонний подбородок!..
Враждуют чувства меж собой;
Признаться, способ мировой
Находкой был бы из находок!
Но он потерян между нас,
О нем живет один рассказ.

В земле, о коей справедливо
Нам чудеса вещает старь,
В Египте жил-был славный царь,
Имел он дочь — творенья диво,
Красот подсолнечных алмаз,
Любовь души, веселье глаз;

Челом белее лилий Нила;
Коралла пышного морей
Устами свежими алей;
Яснее днéвного светила
Улыбкой ясною своей.
В пределах самых отдаленных
Носилася ее хвала
И женихами привела
К ней полк царей иноплеменных.
И Мемфис-град заликовал!
В нем пир за пиром восставал:
Светла, прелестна, восседая
В кругу любовников своих,
Моя царевна молодая
Совсем с ума сводила их.
И все бы ладно шло; но что же?
Всегда веселая, она
Вдруг стала пасмурна, грустна,
Так что на дело не похоже.
К своим высоким женихам
Вниманье вовсе прекратила
И, кроме колких эпиграмм,
Им ничего не говорила.

Какая же была вина,
Что изменилась так она?
Любовь. Случайною судьбою
Державный пир ее отца
Украсить лирною игрою
Призвали юного певца;
Не восхвалял он Озирида,
Не славил Аписа-быка,
Любовь он пел, о Зораида!

И песнь его была сладка,
Как вод согласное журчанье,
Как нежных горлиц воркованье,
Как томный ропот ветерка,
Когда, в полудень воспаленный,
Лобзает он исподтишка
Цветок, роскошно усыпленный.
Свершился вышний приговор.
Свершился! никакою силой
Неотразимый, с этих пор
Пред ней носился образ милой;
С тех пор в душе ее звучал,
Звучал всечасно голос нежной,
Ее питал, упоевал
Тоскою сладкой и мятежной!
«Как глупы эти дикари,
Разноплеменные цари!
И как прелестен он!» — вздыхая,
Мечтала дева молодая.

Но между тем летели дни;
Решенья гости ожидали,
Решенья не было. Они
Уже сердиться начинали.
Сам царь досадою вскипел;
Он не охотник был до шуток
И жениха, чрез трое суток,
Избрать царевне повелел.

Была, как громом, речью гневной
Младая дочь поражена.
На что ж, в судьбе своей плачевной,
Решилась, бедная, она?

Рыдала долго Зораида,
Взрывала сердце ей обида,
Взрывала сердце ей печаль;
Вдруг мысль в уме ее родилась,
Лицом царевна прояснилась
И шепчет: «Ах, едва ль, едва ль...
Но что мы знаем? статься может,
Он в самом деле мне поможет».

Вам рассказать я позабыл,
Что в эту пору, мой читатель,
Столетний маг в Мемфисе был,
Изиды вещий толкователь.
Он, если не лгала молва,
Проник все тайны естества.
На то и жил почтенный дядя;
Отвергнув мира суету,
Не пил, не ел, не спал он, глядя
В глаза священному коту.
И в нем-то было упованье;
К нему-то, милые друзья,
Решилася на совещанье
Идти красавица моя.

Едва редеет мгла ночная,
И, пробуждаться начиная,
Едва румянится восток;
Еще великий Мемфис дремлет
И утро нехотя приемлет,
А уж, покинув свой чертог,
В простой и чуждой ей одежде,
Но страха тайного полна,
Доверясь ветреной надежде,

Выходит за город она.
Перед очами Зораиды
Пустыня та, где пирамиды
За пирамидами встают
И (величавые гробницы)
Гигантским кладбищем ведут
К стопам огромной их царицы.
Себе чудак устроил тут
Философический приют.
Блуждает дева молодая
Среди столицы гробовой;
И вот приметен кров жилой,
Над коим пальма вековая
Стоит, роскошно помавая
Широколиственной главой.
Царевна видит пред собой
Обитель старца. Для чего же
Остановилася она,
Внезапно взором смущена
И чутким ухом насторо́же?
Что дланью трепетной своей
Объемлет сердце? что так пышет
Ее лицо? и грудь у ней
Что так неровно, сильно дышит?
Приносит песнь издалека
Ей дуновенье ветерка.

Песня

Зачем от раннего рассвета
До поздней ночи я пою,
Безумной птицей, о Ниэта!
Красу жестокую твою?

Чужда, чужда ты сожаленья:
Звезда взойдет, звезда зайдет;
Сурова ты, а мне забвенья
Бессильный лотос не дает.

Люблю, любя, в могилу сниду;
Несокрушима цепь моя:
Я видел диво-Зораиду,
И не забыл Ниэты я.

Чей это голос? Вседержитель!
Она ль его не узнает!
Певец, души ее пленитель,
Другую пламенно поет!
И вот что боги ей судили!
Уж ей колена изменили,
Уж меркнет свет в ее очах,
Без чувств упала бы во прах,
Но нашей деве в то мгновенье
Предстало чудное виденье.
Глядит: в одежде шутовской
Бредет к ней старец гробовой.
Паяс торжественный и дикий,
Белобородый, желтоликий,
В какой-то острой шапке он;
Пестреет множеством каракул
На нем широкий балахон, —
То был почтенный наш оракул.
К царевне трепетной моей
Подходит он; на темя ей
Приветно руку налагает,
Глядит с улыбкою в лицо
И ободрительно вещает:

«Прими чудесное кольцо;
Ты им, о дева! уничтожишь
Хитросплетенный узел твой;
Кому на перст его возложишь,
С тем поменяешься звездой.
Иди, и мудрость Озирида
Наставит свыше мысль твою.
Я даром сим, о Зораида,
Тебе за веру воздаю».

Возвращена в свои чертоги,
Душою полная тревоги,
Царевна думает: «Во сне
Все это чудилося мне?
Но нет, не сновиденье это!
Кольцо на палец мой надето
Почтенным старцем — вот оно.
Какую ж пользу в нем найду я?
Он говорил, его даруя,
Так бестолково, так темно».
Опять царевна унывает,
Недоумения полна;
Но вот невольниц призывает
И отыскать повелевает
Свою соперницу она.

По повелению другому,
Как будто к празднику большому
Ее чертоги убраны;
Везде легли ковры богаты
И дорогие ароматы
Во всех кадилах возжжены,
Все водометы пущены;

Блистают редкими цветами
Ряды узорчатых кошниц,
И полон воздух голосами
Дальноземельных, чудных птиц;
Все негой сладостною дышит,
Все дивной роскошью пышет.
На троне, радостным венцом,
Порфирой светлою блистая,
Сидит царевна молодая,
Окружена своим двором.
Вотще прилежно наблюдает
Ее глаза смущенный двор
И угадать по ним желает,
Что знаменует сей позор.
Она в безмолвии глубоком,
Как сном объятая, сидит
И неподвижным, мутным оком
На двери дальние глядит.
Придворные безмолвны тоже.
Дверь отворилась: «Вот она!»
Лицом бледнее полотна,
Царевна вскрикнула. Кого же
Узрела, скорбная душой,
В толпе невольниц пред собой?
Кого? — пастушку молодую,
Собой довольно недурную,
Но очень смуглую лицом,
Глазами бойкую и злую,
С пахмуренным, упрямым лбом.
Царевна смотрит и мечтает:
«Она ли мне предпочтена!»
Но вот придворных высылает
И остается с ней одна.

Царевна первого привета
Искала долго, наконец
Печально молвила: «Ниэта!
Ты видишь: пышен мой дворец,
В жемчуг и злато я одета,
На мне порфира и венец;
Я красотою диво света,
Очарование сердец!
Я всею славою земною
Наделена моей звездою,—
Чего желать могла бы я?
И что ж, Ниэта, в скорби чудной
Милее мне твой жребий скудный,
Милее мне звезда твоя.
Ниэта, хочешь ли, с тобою
Я поменяюся звездою?»
Мудрен царевнин был привет,
Но, не застенчива природно,
«Как вашей милости угодно»,—
Ниэта молвила в ответ.
Тогда на палец ей надела
Царевна дивное кольцо;
Закрыть смущенное лицо
Руками бедная хотела;
Но что же? в миг волшебный сей
Моя царевна оживилась
Душой Ниэтиной; а в ней
Душа царевны очутилась.
И, быстрым чудом бытие
Переменив, лицо свое
Закрыла дурочка степная,
Царевна же, наоборот,
Спустила руки на живот,

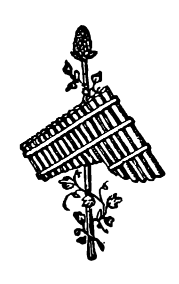
Рот удивленный разевая.
Где Зораида, где она?
Осталась тень ее одна.
Когда ж лицо свое явила
Ниэта, руки опустя
(О, как обеих их шутя
Одна минута изменила!),
Блистало дивной красотой
Лицо пастушки молодой;
Во взорах чувство выражалось,
Горела нежная мечта,
Для слова милого, казалось,
Сейчас откроются уста,
Ниэта та же, да не та.
Так из-за туч луна выходит,
Вдруг озаряя небеса,
Так зелень свежую наводит
На рощи пыльные роса.

С главой поникшею Ниэта,
С невольным пламенем лица
Тихонько вышла из дворца,
И о судьбе ее до света
Не доходил уж слух потом.
Так что ж? о счастии прямом
Проведать людям неудобно;
Мы знаем, свойственно ему
Любить хранительную тьму
И, драгоценное, подобно
В том драгоценному всему.
Где искрометные рубины,
Где перлы светлые нашли?
В глубоких пропастях земли,
На темном дне морской пучины.

А что с царевною моей?
Она с плотнейшим из князей
Великолепно обвенчалась.
Он с нею ладно жил, хотя
В иное время не шутя
Его супруга завиралась,
И даже под сердитый час
Она, возвыся бойкий глас,
Совсем ругательски ругалась.
Он не роптал на то ничуть,
Любил житье-бытье простое,
И сам, где надо, завернуть
Не забывал словцо лихое.
По-своему до поздних дней
Душою в душу жил он с ней.

Что я прибавлю, друг мой нежной?
Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встретила меня;
За бедством бедство подымалось;
Век над главой моей, казалось,
Не взыдет радостного дня.
Порой смирял я песнопеньем
Порыв болезненных страстей;
Но мне тяжелым вдохновеньем
Была печаль души моей.
Явилась ты, мой друг бесценный,
И прояснилась жизнь моя:
Веселой музой вдохновенный,
Веселый вздор болтаю я.
Прими мой труд непринужденный!

Счастливым светом озаренный
Души, свободной от забот,
Он — твой достаток справедливой,
Он первый плод мечты игривой,
Он новой жизни первый плод.



Цыганка

Глава 1

— Прощай, Елецкой: ты невесел,
И рассветает уж давно;
Пошло мне впрок твое вино:
Ух! я встаю насилу с кресел!
Не правда ль, братцы, по домам?
— Нет! пусть попляшет прежде нам
Его цыганка. Ангел Сара,
Ну что? потешить нас нельзя ль?
Ступай, я сяду за рояль.
— Могу сказать, вас будет пара:
Ты охмелен, и в сон она
Уже давно погружена.
Прощайте, господа!..—
Гуляки
Встают, шатаясь на ногах;
Берут на стульях, на столах
Свои разбросанные фраки,
Свои мундиры, сюртуки;
Но, доброй воле вопреки,
Неспоры сборы. Шляпу на лоб
Надвинув, держит пред собой
Стакан недопитый иной
И рассуждает: «Надлежало б...»
Умом и телом недвижим,
Он долго простоит над ним.
Другой пред зеркалом на шею
Свой галстук вяжет, но рука
Его тяжка и неловка:

Все как-то врозь идут под нею
Концы проклятого платка.
К свече приставя трубку задом,
Ждет третий пасмурный чудак,
Когда закурится табак.
Лихие шутки сыплют градом.
Но полно: вон валит кабак.
— Прощай, Елецкой, до свиданья!
— Прощайте, братцы, добрый путь! —
И, сокращая провожанья,
Дверь поспешает он замкнуть.

Один оставшися, Елецкой
Брюзгливым оком обозрел
Покой, где праздник молодецкой
Порой недавнею гремел.
Он чувство возбуждал двойное:
Великолепье отжилое,
Штоф полинялый на стенах;
Меж окон зеркала большие,
Но все и в пятнах и в лучах;
В пыли завесы дорогие,
Давно не чищенный паркет;
К тому же буйного разгулья
Всегдашний безобразный след:
Тут опрокинутые стулья,
Везде табачная зола,
Стаканы середи стола
С остатками задорной влаги;
Тарелки жирные кругом;
И вот, на выпуске печном,
Строй догоревших до бумаги
И в блеске утренних лучей
Уже бледнеющих свечей.

Открыв рассеянной рукою
Окно, Елецкой взор тупой,
Взор, отуманенный мечтой,
Уставил прямо пред собою.
Пред ним, светло озарена
Наставшим утром, ото сна
Москва торжественно вставала.
Под раннею лазурной мглой
Блестящей влагой блеск дневной
Река местами отражала;
Аркада длинного моста
Белела ярко. Чуден, пышен,
Московских зданий красота,
Над всеми зданьями возвышен,
Огнем востока Кремль алел.
Зажгли лучи его живые
Соборов главы золотые;
Меж ними царственно горел
Иван Великий. Сад красивой,
Кругом твердыни горделивой
Вияся, живо зеленел.
Но он на пышную столицу
Глядел с душевною враждой.
За что? О том в главе другой
Найдут особую страницу.
Он был воскормлен сей Москвой.
Минувших дней воспоминанья
И дней грядущих упованья —
Всё заключал он в ней одной;
Но странной доли нес он бремя,
И был ей чуждым в то же время,
И чуждым больше, чем другой.

Глава II

Отца и матери Елецкой
Лишился в годы те, когда
Обыкновенно жизни светской
Нам наступает череда.
И свет узнал он, и сначала
Являлся в вечер на три бала;
С визитной карточкой порой
Летел на выезд городской.
Согласно с общим заведеньем,
Он в праздник пасхи, в Новый год
К дядям и теткам с поздравленьем
Скакал с прихода на приход...

Живее жизнью насладиться
Алкал безумец молодой
И начал с первых дней томиться
Пределов светских теснотой.
Ему в гостиных стало душно:
То было глупо, это скучно.
Из них Елецкой мой исчез,
И на желанном им просторе
Житьем он новым зажил вскоре
Между буянов и повес.
Развратных, своевольных правил
Несчастный кодекс он составил;
Всегда ссылалось на него
Его блажное болтовство.
Им проповедуемых мнений
Иль половины их большой,
Наверно, чужд он был душой,
Причастной лучших вдохновений;

Но, мысли буйством увлечен,
Вдвойне молву озлобил он.

С Москвой и Русью он расстался,
Края чужие посетил;
Там промотался, проигрался
И в путь обратный поспешил.
Своим пенатам возвращенный,
Всему решительным венцом,
Цыганку взял к себе он в дом,
И, общим мненьем пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь.

Тут нашей повести начало.
Неделя светлая была
И под Новинское звала
Граждан московских. Все бежало,
Все торопилось: стар и млад,
Жильцы лачуг, жильцы палат,
Живою, смешанной толпою,
Туда, где, словно сам собою,
На краткий срок, в единый миг,
Блистая пестрыми дворцами,
Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник:
Столица легкая безделья
И бесчиновного веселья,
Досуга русского кумир!
Там целый день разгульный пир;
Там раздаются звуки трубны,
Звенят, гремят литавры, бубны;
Паясы с зыбких галерей

Зовут, манят к себе гостей.
Там клепер знает чёт и нечет;
Ножи проворные венцом
Кругом себя индеец мечет
И бисер нижет языком.
Гордясь лихими седоками,
Там одноколки, застучав,
С потешных гор летят стремглав.
Своими длинными шестами
Качели крашеные там
Людей уносят к небесам.
Волшебный праздник довершая,
Меж тем с веселым торжеством
Карет блестящих цепь тройная
Катится медленно кругом.

Меж балаганов оживленных,
Ежеминутно осажденных
Нетерпеливою толпой,
Давно бродил Елецкой мой.
Окинув взорами собранье,
В одном остановил вниманье
Он на девице молодой.
Своими чистыми очами,
Своими детскими устами,
Своей спокойной красотой,
Одушевленной выраженьем
Сей драгоценной тишины,
Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны.
Давно он знал ее заочно.
С его глазами ненарочно
Глазами встретилась она;

Их выраженьем смущена,
Покрылась краскою живою
И отвела тихонько взор.
Охвачен бедственной межою,
Не зрел Елецкой с давних пор
Румянца этого святого!
Упадший дух подъемля в нем,
Он был для путника ночного
Денницы розовым лучом.
Он к милой думой умиленной
Летит. Меж тем она встает;
Девице руку подает
Ее сосед, старик почтенной;
Из балагана йдут вон —
И их в толпе теряет он.

Узнать, душою не в покое,
Он жаждет имя дорогое!
И незнакомка названа.
Гражданка сферы той она,
Того злопамятного света,
С кем в опрометчивые лета,
В избытке гордом юных сил,
Сам в бой неровный он вступил.
Смягчит ли идол оскорбленный
Он жертвой позднею своей?
Против него предубежденной,
Предстать осмелится ли ей?
И всех преград он сам виною!
Меж тем в борьбе его с молвою
Прошло, промчалось много дней.
Елецкой мыслил промежутком;
Полней других созрел рассудком

Он в самом опыте страстей,
И наконец среди пороков,
Кипевших роем вкруг него,
И ядовитых их уроков,
И омраченья своего
В душе сберег он чувства пламя.
Елецкой битву проиграл,
Но, побежденный, спас он знамя
И пред самим собой не пал.

Глава III

Незамечаем и неведом,
За милою бродил он следом;
В тени задумчивых дубров
Прекрасных Пресненских прудов,
В аллеях стриженых бульвара,
Между красавиц городских
Искал он девы дум своих.
Не для блистательного дара
Актеров наших посещал
Он душный театральный зал —
Елецкой, сцену забывая,
С той ложи не сводил очей,
В которой Вера молодая
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней.
Вкусив неполное свиданье,
Елецкой приходил домой
Исполнен мукою двойной;
Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.

Однажды... погасал, свежея,
Июльский день. Бульвар Тверской
Дремал под нисходящей мглой;
Пустела длинная аллея;
Царица тишины и сна,
Высоко поднялась луна.
Но со знакомыми своими
Еще, в болтливом забытье,
Сидела Вера на скамье.
В соседстве, не замечен ими,
За липой темной и густой,
Стоял влюбленный наш герой.
Перчатку Вера уронила.
Поспешно поднял он ее
И подал ей. Лицо свое
К нему с испугом обратила
Младая дева. Разговор
Прервав, на нем остановила
Встревоженный, но долгий взор.
Судьбу, душой своей довольной,
Он и за то благодарил.
Елецкой Веру поразил
Своей услугой своевольной,
И, хоть на час, ее мечта
Им, верно, будет занята.

Что ж! и сомнительное счастье
Мгновенных, бедных этих встреч
Ему осеннее ненастье
Не позамедлило пресечь.
Покрылось небо облаками;
Дождь бесконечный ливмя лил;
И вот мороз его сменил.

Застыли воды, снег клоками
На мостовую повалил,—
Пришла зима. Свистя, крутится
Метель на Пресненских прудах,
На обнаженных деревах
Бульвара иней серебрится.
Там, где недавнею порой
Гуляли грации толпой,
Какой-нибудь жандарм усатый,
Шагая, шпорами стучит;
С метлой стоит мужик брадатый
Иль школьник с сумкою бежит.
Для балов, вечеров при этом
Театр оставлен модным светом.
Елецкой мрачен и сердит...

Но вот в известном маскараде
Должна быть Вера. Ожил он
И в полнадежде, в полдосаде
Лелеет деятельный сон.

Живая музыка играет;
Кадрили вьются ей под лад,
Кипит, пестреет маскарад.
В его затею не вступает,
И кстати, большинство гостей;
В тени их он еще видней.
Призрáки всех веков и наций,
Гуляют феи, визири,
Полишинели, дикари,
Их мучит бес мистификаций;
Но не выходит хитрых фраз:
«Я знаю вас! я знаю вас!..»

Ни у кого для продолженья
Недостает воображенья.
Признаться надобно: не нам,
Сугробов северных сынам,
Приноровляться к детям юга!
Метелей дух не создал нас
Для их блистательных проказ.
К чему неловкая натуга?
Мы сохраняем холод свой
В приемах живости чужой.

Елецкой из ряду выходит
И Веру чуть с ума не сводит.
Успел разведать он о ней
Довольно этих мелочей,
В которых тайны роковые
Девицы видят молодые.
В словах запутанных своих
Он намекает ей о них;
И, удивленья и смущенья
Полна, горит она лицом
И вот выходит из терпенья.
«Я как обманутая сном!
Скажите, ради бога, кто вы?»

Елецкой

Вы любопытны, как дитя.
Итак, со мною не шутя
Вы познакомиться готовы?
Нежданным именем моим
Я испугаю вас.

Вера

Как скучно!
Все шутки.

Елецкой

Я не склонен к ним
И остерег вас добродушно.
Я дух... и нет глуши, жилья,
Где б я, незримый, не был с вами.
Все чутким ухом слышу я,
Все вижу зоркими очами.
Не бойтесь! слушаю, гляжу
Я с полной преданностью дружбы;
Неожидаемые службы
Я вам догадливо служу;
Однажды перед ваши очи
Я в виде смертного предстал;
В ту пору сумрак летней ночи
Мне образ видимый давал...
Вы узнаете?

Вера

Ваши сказки
Вы продолжите до утра.
Смотрите: все снимают маски,
Снимите же свою, пора!

Елецкой

Не мне. Оставьте убежденья,
Я не исполню ваш приказ.
Лицо открыл бы я для вас
Без выраженья, без значенья.

Нет, нет: я вспомню веселей
Сей разговор непринужденный,
Почти нежданно уловленный
Счастливой маскою моей,
Чем взор холодного смущенья,
Который на лицо мое
Вперите вы, когда ее
Сниму я вам из угожденья.
Нет, я б не мог его снести!
Прощайте; я не здешний житель,
В мою безвестную обитель
Я должен вовремя сойти.

Елецкой тихо удалился;
Уж был у выхода и зал
Совсем, казалось, покидал,
Но у дверей остановился:
Взглянуть он раз еще желал
На Веру... Тихий взор он встретил,
Мольбу немую в нем заметил,
Укор в нем дружеский постиг
И скинул маску. В этот миг
Пред ним лицо другое стало,
Очами гневными сверкало
И дико поднятой рукой
Грозило Вере и пропало
С Елецким вместе за толпой.

Глава IV

Едва веселыми лучами
День новый окна озлатил,
Елецкой скорыми шагами

Уже по комнате ходил.
Порой, в забвении глубоком
Остановясь, прилежным оком
Во что-то всматривался он.
Во взорах счастье выражалось;
Перед душой его, казалось,
Летал веселый, светлый сон.
Через мгновенье пробужденный
Он, тем же чувством озаренный,
Свою прогулку продолжал
И скоро снова прерывал.
В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом.
Усталость выражали очи:
Казалось, в продолженье ночи
Их Сара не смыкала сном.
Она порывисто чесала
Густые, черные власы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала.
Она склонялась головой,
Но на Елецкого порой
Взор исподлобья подымала.
Какою злобой он дышал!
Другой мечты душою полон,
Подруги он не замечал;
К ней напоследок подошел он.
«Что это смотришь ты совой? —
Сказал он. — Сара, что с тобой?
Да молви слово!»

Сара

Ах, мой боже!
Ты ждешь ответа моего?
Вот он: я знаю, отчего
Ты так доволен!

Елецкой

Отчего же?

Сара

Меня ты думал обмануть,
Когда вчера, кривя душою,
Ты мне с заботою такою
Скорей советовал заснуть!
«Устала, Сара? Дремлешь, Сара?
Ляг, Сара, спать!» И я легла,
Да уж нарочно не спала!
Давно грозит мне эта кара!
Давно я брошена тобой!
Ты сутки целые порой
Двух слов со мной не произносишь,
Любимых песен петь не просишь!
Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела?
Ее вчера я разглядела:
Совсем, совсем не хороша!

Елецкой

Так вот в чем дело!

Сара

Сара знает,
Какая ждет ее судьба
За то, что служит, угождает
Тебе по воле, как раба:
Со знатной барышней своею
Ты обвенчаешься, а с нею
Простишься, и ее на двор
Метлою выметут, как сор.

Елецкой

Ты совершенно сумасбродишь!
Какие странные мечты!
По пустякам горюешь ты
И на меня тоску наводишь.

Сара

А кто, бывало, говорил,
Ко мне ласкаясь то и дело:
«Тебя я, Сара, полюбил.
Жить одному мне надоело,
Будь мне подругою! со мной
Живи под кровлею одной!
Я нравом весел; живо, шумно,
В пирах и песнях завсегда
Мы будем проводить года».
Я согласилася безумно.
Что ж вышло?

Елецкой

Из моих речей
Тобой забыта половина.
Я говорил: твоя судьбина

Не будет скована с моей!
Покуда любо жить со мною,
Живи! наскучило — прощай,
Былую радость поминай!
С твоей свободой той порою
Я выговаривал мою.
Но я тебя не узнаю!
И, сердце будущим тревожа,
Ты на цыганку не похожа.
Ваш род беспечен.

Сара

Проклят он!
Он человечества лишен!
Нам чужды все края мирские!
Мы на обиды рождены!
Забавить прихоти чужие
Для пропитанья мы должны.
Я о себе молчу: цыганка
Вам не подруга, а служанка!
Она пляши и распевай,
А сердцу воли не давай.

Елецкой

Оставь пустые опасенья,
Не разлучимся мы с тобой.
Хотя другого поколенья,
Родня я вашему судьбой.
И я, как вы, отвержен светом,
И мне враждебен сердца глас...
Не распадется, верь мне в этом,
Цепь, сопрягающая нас.

Когда с цыганкой молодою
Судьба Елецкого свела,
Своей разгульною душою
Она мила ему была.
«Я горя знать не буду с нею.
Каких тяжелых, черных дум,
Мне иногда гнетущих ум,
Свободной резвостью своею
Не удалит она сейчас?
Кому при блеске этих глаз
Приснятся мрачные печали?»
Так думал он; но дни мелькали;
К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой.
Ему потом уж стали в бремя
Затеи девы удалой.
Не принимая в них участья,
Уж он желал другого счастья:
Души, с которой мог бы он
Делиться всей своей душою.
Надеждой томной увлечен,
Он Саре пробовал порою
Передавать свои мечты;
Но образованного чувства
Язык для дикой красоты
Был полон странной темноты.
Она, не ведая искусства,
Под речи друга своего
Без всякой совести зевала
Иль в скором времени его
Сторонней шуткой прерывала;
Но смутно трогалась, и ей

Невразумительных речей
Цыганка голос понимала.
Подруге ветреной своей
Он ежедневно был милей,
Но к ней хладел по той же мере.
Когда, любовью вспыхнув к Вере,
Он нравом стал еще мрачней,
Она развлечь его хотела,
Она родные песни пела,
Она по стульям, по столам
С живыми кликами скакала;
Она при нем по пустякам
Как можно громче хохотала;
Но завсегда ее смущал
В то время взор его брюзгливый,
Пред ним порыв ее игривый
В одно мгновенье упадал.
Она сердилась и роптала,
И грусть давила сердце ей,
И тщетно Сара призывала
Покой и радость прежних дней.

Глава V

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Как часто в середине бала,

Когда уж музыка играла
Иль попурри, иль котильон
И Вера, со своим танцором
Наскуча пошлым разговором,
Погружена в сторонний сон,
Глазами молча провожала
Среди блистательного зала
Пред нею вьющиясь четы,—
Елецкой речию своею,
Нежданно слышимой за нею,
Вдруг прерывал ее мечты.
Довольно холодно сначала
С ним в разговор она вступала,
Но оживлялася потом,
И, ободрен ее вниманьем,
Он был заманчивым свиданьем
К свиданью новому влеком.

Однажды он за стулом Веры
Средь вихря бального сидел.
В своих речах уж не умел
Он соблюдать холодной меры;
Она исчезнула. Лишен
Над пылким сердцем всякой власти,
Уж говорил открыто он
С ней языком мятежной страсти.
Кончая, «Дайте мне ответ! —
Он молвил.— Многое во вред
Мне городская злоба трубит;
Сжился я со враждой молвы;
Но вы? что думаете вы
О том, который вас так любит?»

Вера

Что все другие; даже мне
Еще известнее, как права
О вас рассеянная слава,
Как должно верить ей вполне.

Елецкой

Вам всех известней? Вы всех строже?
Но почему же, отчего же?

Вера

Когда глаза мои в тот раз
Меня в обман не приводили,
Словами вашими сейчас
Двух, не одну вы оскорбили.

Елецкой

Я вашей искренности рад.
Уже в судьбе моей стократ
Я с вами жаждал объясненья!
Примите исповедь мою,
Весьма во многом, нет сомненья,
Останусь я без извиненья,
Но ничего не утаю.

Елецкой в тягостную повесть
Минувших дней своих вступил,
Свою запутанную совесть
Он перед Верой обнажил;
Поверил ей без украшенья
Свои былые заблужденья,
К которым, впрочем, был влеком
Он меньше сердцем, чем умом.

С ее случайною знакомкой,
Своею смуглой однодомкой,
Свое сближенье передал,
Как сам его он понимал:
Одним внушением унылым
Души, томимой пустотой,
Союзом, столько же постылым
Теперь ему, как ей самой.
«К ней обратиться,— он прибавил,—
Безумный миг меня заставил;
Ошибся я в себе и в ней.
Нет, нет! я не был с нею дружен!
Я для души ее не нужен,—
Нужна другая для моей».

И тихо речь его журчала
За Верой, ей одной слышна.
Но что? вникала ли она
В слова его? Она молчала;
Была чуть-чуть обращена
К нему щека ее одна;
Но это легкое движенье
Заметить было мудрено,
Злословье самое оно
Не привело бы в искушенье.
Ей изменяло лишь одно:
Вниманье к балу притупело,
И краснощекий офицер,
Тогдашний Верин кавалер,
Ее в то время то и дело
К порядку танца пробуждал
И ей фигуры толковал.

Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотой.
Недавно дева молодая,
Красою свежею блистая,
Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;
Хотело б сердце у нее
Себе избрать кумир единой
И тем осмыслить бытие.
Тут романтические встречи
С героем повести моей,
Его задумчивые речи
Тревожить стали душу ей.
Одно, быть может, впечатленье
Ей берегло воображенье...
Его рассеял он. С какой
Благополучною душой
С тех пор она ему внимала!
С какою сладостью о нем
В невольном забытье своем
Уединенная мечтала!
Как, новой жизнию дыша,
Легко ей было! Как блистала,
Как ликовала в ней душа!
Девица юная не знала,

Живого счастия полна,
Что так доверчиво она
Одной отравой в нем дышала;
Что сей приветный ветерок,
Ее ласкающий так нежно,—
Грозы погибельной пророк;
Что вдруг дохнет она мятежно,
И мир в глазах ее затмит,
И все красы его разрушит,
И все цветы его иссушит,
И жизни путь опустошит.

Глава VI

Летели дни. Свои свиданья
Елецкой с Верой продолжал,
И с каждым больше упованья
Любви своей он обретал.
Увы! старательно скрывая
Заботу сердца, между тем
Наверно дева молодая
С ним не обмолвилась ничем;
Но не владела выраженьем
Лица невинного она,
На нем со всем ее смятеньем
Была душа ее видна.
«Любим я!» — с ропотом и мукой
Елецкой сам себе твердил.
Великий пост уж подходил
И с Верой скорою разлукой,
Разлукой долгою грозил!

. . . .
. . . .

«Нет! — мыслит он,— до расставанья,
Во что бы ни было, должна
Решить судьбу мою она!»

Он ждет удобного мгновенья;
И Вера, время разлученья
Предвидя, днями дорожит
И их считает и грустит.
Уехал дядя. В тихой зале,
При свете двух свечей, одна,
Твердила на своем рояле
Урок докучливый она;
Полна душой другой заботы,
Насильно всматривалась в ноты...
Вдруг... протянувшись перед ней,
Закрыла их рука чужая.
Ветр пошатнул огонь свечей;
Вздрогнула дева молодая,
Оборотилася, глядит —
Елецкой перед ней стоит.
«Не беспокойтесь, ради бога!
Какая странная тревога
У вас написана в глазах!
Я вас прошу, не уходите!
Чего боитесь вы? сидите,
Я все скажу вам в двух словах».

Вера

Я не могу остаться с вами!
Подите. Разговор такой
Мне неприличен. Боже мой!
Одна я, видите вы сами!
Подите.

Елецкой

Наперед я знал,
Что я застану вас одною,
Одну я видеть вас желал.
Остаться должно вам со мною,
Вам должно выслушать меня.

Вера

Оставьте до другого дня,
Я умоляю вас, подите!
Мой дядя будет сей же час.

Елецкой

Один вопрос: люблю я вас,
Вы это знаете. Скажите:
Я равнодушен вам иль нет?

Вера

На все, на все один ответ:
Подите!..

Елецкой

Вы ли говорили?
Я ль слышал вас? и не во сне!
Я не любим... Зачем же мне
Давно вы это не внушили?
Своей холодности зачем
Вы мне тотчас не показали?
Зачем, скажите, мне внимали
Вы так приветно между тем?
Зачем, глаза мои встречая,
Не отводили ваших глаз?

Зачем дышала всякий раз
В них дума нежная такая?
Дитя! кокетки записной
Постигнув опытную ролю,
Признайтесь: вы играли вволю
Моей безумною душой!
Кто б мог подумать! в ваши лета!
Мою любовь мне не забыть;
Желал бы я ее предмета
Не презирать. Но, так и быть!
Прощайте!

Вера

Нет! такого мненья
Я не оставлю ни за что!
Неправы ваши заключенья.
Я прямодушна. Я не то
Сказать хотела... Нет... Просите
Руки моей, и если...

Елецкой

Вы?
Вы мне об этом говорите?
А восклицанья всей Москвы!
На наш союз ваш дядя строгой
Не согласится никогда;
Молитвы будут без плода.
Нет, Вера, нет! другой дорогой
Идти нам должно. Для венца
Сегодня ночью у крыльца
Я ждать вас буду. Все готово.
Бежать со мною дайте слово!
Любовь слепая мне нужна.
Решитесь.

Вера

Я изумлена
Таким нежданным предложеньем.
Нет, это будет преступленьем!
Нет, я и думать не хочу!
Я так ужасно огорчу
Того, который...

Елецкой

Все забудет
Он, нашим счастием счастлив,
И напоследок справедлив
Он и ко мне, наверно, будет.
Ему (вам нужно ль обещать?)
Я буду сыном самым нежным.
Страдал я долго безнадежным —
Ах, Вера! снова ли страдать!
Меня вы любите; судьбиной
Оставлен нам исход единой.
Ах, Вера, Вера! сердце в вас
Сей миг решительный измерит,
Меня печально разуверит
В нем малодушный ваш отказ.
Все, все он кончит между нас!
Бегите, Вера! дайте руку...
Не на ужасную разлуку,
С которой не сживуся я,
Но на союз святой и вечный.
Мой милый друг, мой друг сердечный!
Скажи: не правда ль? ты моя?

Вера

Люблю, люблю я вас... Но что же?
Что предлагаете вы мне?
На что решиться? Боже, боже!
Подумать дайте в тишине!

Елецкой

Я знаю, горестная мера;
Но — ты ль не видишь? — нет иной!
Решись!

Вера

Не нынче!

Елецкой

Нынче, Вера;
Сегодня, друг бесценный мой!

Недолго дева молодая
Еще противилась ему.
Он нежно к сердцу своему
Прижал ее. Лицом пылая,
Потупя взор, склонив главу,
Она умом изнемогала
И, ни во сне, ни наяву,
Свое согласье прошептала.

Елецкой ликовал душой;
По темной улице домой
Он шел походкою веселой.
Но у порога своего
Остановился: ум его
Смутился думою тяжелой:
Там Сара! — В голове своей

Уже Елецкой принял меры,
Чтоб неприличной встрече с ней
Вновь не подвергнуть милой Веры.
Москву с невестой в эту ночь
Покинет он; обряд венчальной
Он совершит в деревне дальной;
Он все предвидел, все точь-в-точь
Обдумал. Сары он не знает;
Любовью в ней не почитает
По нем расчетливой любви;
Не верит в ней ревнивой муке.
«Из них любую призови —
Все тверды в нужной им науке!» —
Так мыслил он. Но в этот миг...
Иль Сару лучше он постиг
При наступающей разлуке?
Упрек в душе его возник.
Его докучное внушенье
Он опроверг в уме своем
И, отряхнув недоуменье,
Вошел в свой дом, где в то мгновенье
И Сара думала о нем.

Глава VII

Грустила брошенная Сара;
Но в этот вечер было ей
Еще грустней, еще тошней.
Почти болезненного жара
Была тоска ее полна.
В своем волнении она
Платком в лицо себе махала —
Прохлады воздух не давал,

Но кровь ей пуще волновал!
Иглу к работе принуждала —
Колола пальцы ей игла.
Гадать цыганка начала —
Еще тошнее: карты врали,
Когда ей счастье предрекали,
И наводили страх, когда
В них выходила ей беда.
Их со стола она столкнула,
Шитье отбросила, вздохнула,
На стол локтями опершись,
Цыганка стиснула руками
Чело... и смятыми кольцами
Вкруг пальцев кудри обвились.
Закрыв глаза, она сидела...
Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» — К ней
В покой из боковых дверей
Цыганка старая глядела.

Сара

Ненила, ты? войди скорей;
Я заждалась тебя, Ненила;
Совсем я брошена, совсем!
Не угожу ему ничем.
Хотя бы ты мне услужила!
Что, принесла ли?

Старуха

Принесла.
Да уж насилу добрела,
Метель такая закутила!
Гляди-ка — вот твое вино!

Уж удружит тебе оно,
Спасибо скажешь.

Сара

Ах, Ненила!
Верь, ты мне душу воротила!
Я полюблюсь ему опять?
Да полно, правда ль?

Старуха

Что мне лгать!
Лишь дай испить, сама увидишь!
Он обвенчается с тобой,
И заживешь ты госпожой,
А там старухи не обидишь.
Ты мне поверь, моя красотка,
Придут благие времена!

Сара

Как я тобой одолжена!
Но там идут... его походка.
Поставь подарок свой на стол.
Да и прощай, уйди отселе,
Уйди скорее!

В самом деле,
Елецкой в комнату вошел.
В глазах его была суровость,
Пред Сарой молча он ходил,
Речь наконец к ней обратил:
«Тебе сказать я должен новость:
С тобой я скоро расстаюсь.
Послушай, Сара! я женюсь»,

Лицо у Сары побледнело
И загорелось в тот же миг.
Нож острый в сердце ей проник,
Оно то стыло, то кипело;
Хотела б смертная тоска
Излиться воплем и слезами...
Рвалися бурными волнами
У ней попреки с языка...
Но эти первые движенья
Она в себе перемогла
И голос мирный обрела,
Хотя дрожащий от волненья.
«Давно я этого ждала!
Не удивишь меня разлукой,—
Сказала Сара.— Долгой мукой
Я приготовлена была.
А скоро ль свадьба?»

Елецкой

В доме этом
Я не ночую; не жалей
О старине. В судьбе твоей
Я обязуюся ответом,
И уж подумал я о ней;
Довольна будешь.

Сара

Мне не нужно
Постылых милостынь твоих.
Не беспокойся, и без них
С тобой расстануся я дружно.
Пенять не буду я тебе.
Жила я весело, счастливо;

Теперь не то,— какое диво?
Не все стоять одной судьбе!
У нас верна одна могила;
А кто на свете долго мил?
Как ты сегодня разлюбил,
Так я бы завтра разлюбила;
За что сердиться?

Елецкой

Очень рад.
Дай руку, Сара! Пред тобою
Я совершенно виноват.
Я вижу, выше ты душою,
Чем полагал доселе я:
Ты не притворщица пустая.
Обыкновенье ваше зная,
Я ждал упреков, слез, вытья...
Спасибо, нет их; без сомненья,
Простимся дружно мы с тобой.
Мила ты, Сара!

Сара

Плач и вой
В душе... Но что до сокрушенья!
В слезах и воплях толку нет.
Мы расстаемся? Власть господня!
Простимся весело. Сегодня
Я именинница, мой свет!
В последний раз мое здоровье
Ты должен выпить... но до дна!
Как в старину; смотри ж: условье!
Не то сейчас заплачу... На!

Елецкой

Твое здоровье? Рад душою...
И вот — ни капли нет на дне.
Надеюсь, ты довольна мною?

Сара

Спасибо! Сядь теперь ко мне,
Поговорим по старине.

И с равнодушным послушаньем
К ней на диван Елецкой сел,
Но, далеко уже мечтаньем,
Он на часы свои глядел.
«Скажи мне,— Сара продолжала,—
Судьбою новою своей
Доволен ты?»

Елецкой

А что?

Сара

Ей-ей!
Я коротко твой нрав узнала:
Не переменишься ты в нем...
Привык ты к беззаботной доле,
Разгульной жизни, вольной воле,
Стошнишь порядочным житьем.
Наскучит, твердо предрекаю,
Тебе и милая твоя,—
Тебе наскучила же я!
Жаль бедной! По себе я знаю,
И слишком знаю, каково!
Как я бы выла да рыдала,

Когда бы втайне не питала
Еще у сердца моего
Одной надежды!

Елецкой

Полно, что ты?
Все были кончены расчеты,—
Что за надежда?

Сара

Брежу я.
И как равняться я посмею
С невестой счастливой твоею!
О ней единой мысль твоя;
Ты ею дышишь. Ах, царица,
Царица светлая она!
Я перед нею пыль одна.
Но... в ум придет же небылица!
Забудь любовь свою на час:
Какая разница меж нас?
Что я цыганкой уродилась?
Что нет за мною сел, хором?
Что говорить не научилась
Я иностранным языком?
Вот все. Не шутка, очень знаю!
Но сердцем я не уступаю
Твоей невесте. Чем она
Любовь поныне доказала?
Какие слезы проливала?
Что перенесть была должна?
А я... что слез я источила,
Каких обид не проглотила,
Молчанье горькое храня!

Ты разлюбил, я все любила;
Ты гнал безжалостно меня —
К тебе я, злобному, ласкалась,
Как собачонка. Рассмотри
Меня получше: говори,
Такая ль я тебе досталась?
Глаза потухнули от слез;
Лицо завяло, грудь иссохла;
Я только, только что не сдохла!..
Ты все молчишь?

Елецкой

Тебе нанес
Я много горя... Я не ведал,
Когда другой мой жребий предал,
Что ты... Но что со мною?.. Свет
В глазах темнеет... все кружится...
Мне дурно, Сара, дурно...

Сара

Нет!
Я знаю, что в тебе творится.
В душе мятущейся твоей
Я чудным чудом оживаю,
Разлучницы проклятой в ней
Бесовский образ погашаю.
Бледнеешь ты... Немудрена
Измена мне, а ей страшна!
Будь ей теперь моя судьбина!
Томись она, крушись она!
С тоски иссохни, как лучина!
Умри она! ты мой: приди,
Прижмись опять к моей груди!

Очнись от лютого угара,
Приди, и все забуду я.
Узнай меня, узнай: я Сара!
Я Сара прежняя твоя.

Цыганка страстными руками
Его, рыдая, обвила
И жадно к сердцу повлекла.
Глядел он мутными глазами,
Но не противился. Главой
Он даже тихо приклонился
К ее плечу; на нем, немой,
Казалось, томно позабылся.
По грозной буре, тишина
Влилась отрадно в сердце Сары.
«Он мой! подействовали чары!» —
С восторгом думала она.
Но время долгое проходит —
Он все лежит, он все молчит;
Едва дыханье переводит
Цыганка. «Милый мой!.. Он спит.
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;
Миг страшной истины настал:
Она вгляделась — труп холодный
В ее объятиях лежал.

Глава VIII

Стояла ночь уже давно.
Градские стогны опустели;
В домах уснувших ни одно
Не озарялося окно,
Все одинаково чернели.

Луна не светит, все молчит;
Лишь ветер воет и свистит,
Метель до кровель воздымая.
Обету своему верна,
До самой улицы одна
Доходит Вера молодая;
Никем не встречена она.
В лицо суровый и холодный,
Ей дует ветер непогодный,
И ночь ненастная черна.
Она стоит; она мгновенья
Считает, полная волненья...
Бегут мгновенья! Вера ждет —
Он не приходит; не придет!
В ней сердце замерло... девицу
Приемлет снова прежний кров.
Уж ранний вой колоколов
Порою той будил столицу,
И в город, сквозь ночную тень,
Уж, голубея, крался день.

Холм, под которым спит Елецкой,
Где он забыл любовь, вражду,
Где равнодушен он к суду
Толпы и светской и несветской,
Уж не однажды порастал
Весенней, новою травою,
И снег пушистой пеленою
Его не раз уж покрывал.
Но долго ль юноша несчастный
Жил в сердце Веры? Много ль слез,
Ее сердечных первых грез,
У ней исторг обман ужасный?

В ту ж зиму, с дядей-стариком
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась,
Блистает тою же красой;
Но строже смотрит за собой:
В знакомство тесное не входит
Она ни с кем. Всегда отводит
Чуть-чуть короткий разговор.
Подчинены ее движенья
Холодной мере. Верин взор,
Не изменяя выраженья,
Не выражает ничего.
Блестящий юноша его
Не оживит, и нетерпенья
В нем не заметит старый шут;
Ее смешливые подруги
В нескромный смех не вовлекут;
Разделены ее досуги
Между роялем и канвой;
В раздумье праздном не видали
И никогда не заставали
С романом Веры Волховской.
Девицей самой совершенной
В устах у всех она слывет.
Что ж эту скромность ей дает?
Увы! тоскою потаенной
Еще ль душа ее полна?
Еще ли носит в ней она
О прошлом верное мечтанье
И равнодушна ко всему,
Что не относится к нему,
Что не его воспоминанье?

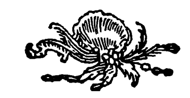
Или, созрев умом своим,
Уже теперь постигла им
Она безумство увлеченья?
Уразумела, как смешно
И легкомысленно оно,
Как правы принятые мненья
О романтических мечтах?
Или теперь в ее глазах
За общий очерк, в миг забвенья,
Полусвершенный ею шаг
Стал детской шалостью одною,
И с утонченностью такою,
Осмотру светскому верна,
Его сама перед собою
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши —
Утрачен Верой молодою
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Куда заснувшею столицей
При ярком блеске зимних звезд
В санях несется вереницей
Весельчаков ее поезд?
К цыганам. Пред знакомым домом
Остановились. В двери с громом
Стучат; привычною рукой
Им отворил цыган седой.
В хоромах спящих тьма густая,
Но путь знаком. Толпа лихая
Спешит проникнуть в тот покой,
Где, ночи шумной ожидая,

Еще с вечерней первой мглой
В свои постели пуховые
Легли цыганки молодые.
Уж гости ветреные там,
Уж кличут дев по именам.
Но все египетское племя
Кругом приезжих в то же время
С веселым шумом собралось,
И свеч сиянье разлилось.
Дремоту девы покидают,
Встают на общий громкий зов,
Платками плечи прикрывают,
Ногами ищут башмаков
И вот уж весело болтают,
И табор к пению готов.
Одна цыганка на постели
Сидит недвижно. На гостей
Глядит сердито. Роем к ней
Подруги смуглые подсели;
Свой дикий взгляд она хранит,
Устами молча шевелит
Или бессмысленно порою,
Вздохнув, качает головою.
Но грянул своенравный хор —
Блеснул ее туманный взор,
Уста улыбка озарила;
Воскреснув в крике хоровом,
Она, веселая лицом,
С ним голос яркий согласила.
Умолкнул хор — и вновь она
Сидит сурова и мрачна.
Так воротилась в табор Сара.
Судьбы последнего удара

Цыганка вынесть не могла
И разум в горе погребла.
Вотще родимые напевы
Уносят душу бедной девы
В былые, лучшие года!
Так резвый ветер иногда
Листок упадший подымает,
С ним вьется в светлых небесах,
Но, вдруг утихнув, опускает
Его опять на дольний прах.



СУМЕРКИ.

СОЧИНЕНІЕ

Евгенія Боратынскаго.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ А. СЕМЕНА,

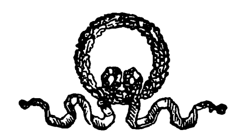
при Императорской Медико-Хирургической Академіи

1842

«Сумерки»

Москва, 1842 г. Титульный лист

Сумерки





Князю Петру Андреевичу Вяземскому

Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия.
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты
И между тем любви высокой,
Любви, добра и красоты.

Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет,—
Еще порою покидаю

Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Ищу я вас, гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю,
От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.





Дом в Муранове. Столовая

Современная фотография

Последний поэт

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла;
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз,
Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы —
Возник поэт: идет он и поет.

Воспевает, простодушной,
Он любовь и красоту
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:

Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей;
Как пажити Эол бурнопогодной,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подъемлется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Бодрым сердцем покоримся
Думам робким, а не им!
Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадальных небес!

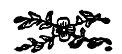
Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста, вещать полуотверсты,
Но гордыя главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет!

Человеку непокорно
Море синее одно,

И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. песни волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И по-прежнему блистает
Хладной роскошию свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!



Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменной,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.



Новинское

А. С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей,
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви — для вдохновенья.





Е. А. Баратынский, П. Я. Чаадаев, А. С. Пушкин

Силуэты работы И. В. Киреевского

Приметы

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.

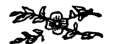
На путь ему выбежав из лесу волк,
Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним:
Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но, чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.



Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!



Увы! Творец непервых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописанье!

Неаполь возмутил рыбарь,
И, власть прияв, как мудрый царь,
Двенадцать дней он градом правил;
Но что же? — непривычный ум,
Устав от венценосных дум,
Его в тринадцатый оставил.



Недоносок

Я из племени духо́в,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Блещет солнце — радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко́;
Пью счастливо воздух тонкой,
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.

Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный
Омрачившись, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!

Обращусь ли к небесам,
Оглянуся ли на землю —
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъемлю.

Смутно слышу я порой
Клик враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!

Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу прячусь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу, как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!



Алкивиад

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;

Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же глух был и слеп; он, не в меди глядясь,
а в грядущем,
Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?



Ропот

Красного лета отрава, муха досадная, что ты
Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу,
то к перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
Дикого скифа творишь, жадного смерти врага.



Мудрецу

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье — одно.

Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!



Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.

И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.



Бокал

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл...
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин,—
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,
Все твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой.

Мой восторг неосторожный
Не обидит никого;
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего;
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй

Иль отравы бытия;
Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой;
Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк —
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченье
Общежительных страстей —
В одиноком упоенье
Мгла падет с его очей!



Были бури, непогоды,
Да младые были годы!

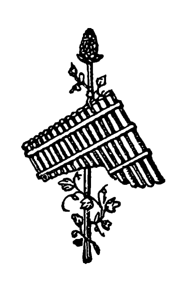
В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий,

Вольной песнью разольется,
Скорбь-невзгода распоется!

А как век-то, век-то старой
Обручится с лютой карой,

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалой,

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!



На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!



Коттерие

Братайтеся, к взаимной обороне
Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в притоне,
Бездарные писцы-хлопотуны!
Наоборот, союзным на благое,
Реченного достойные друзья,
«Аминь, аминь,— вещал он вам,— где трое
Вы будете — не буду с вами я».



Ахилл

Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту
И кипящего Ахилла
Бою древнему явила
Уязвимым лишь в пяту.

Обречен борьбе верховной,
Ты ли, долею своей
Равен с ним, боец духовной,
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!



Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальной,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.



Еще, как патриарх, не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложенье!
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменье ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,
В залог румяных дней и доли благодатной.



Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы,
Людских сует, забот юдольных.

Ощупай возмущенный мрак —
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.

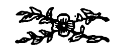
О сын фантазии! ты благодатных фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей!
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:

Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.



Здравствуй, отрок сладкогласной!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему пииту!
Малолетную хариту
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жавронок живой,
Чуткой грудию своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!



Что за звуки? Мимоходом
Ты поешь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безымянной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! слышу чувство
В сильной песне... Но искусство...
Старцев ста́рее оно;
Эти радости, печали —
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горном клире,
Звучен будет голос твой!



Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.



Скульптор

Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенной,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенной
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.



Осень

I

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

II

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол;
Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

III

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!

Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

IV

А между тем досужий селянин
Плод годовых трудов сбирает;
Сметав в стога скошенный злак долин,
С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
Снопы стоят в копнах блестящих
Иль тянутся вдоль жнивы, на возах,
Под тяжкой ношею скрыпящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

V

Дни сельского, святого торжества!
Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова
Ожившей мельницы крутятся.
Иди, зима! на строги дни себе
Припас оратай много блага:
Отрадное тепло в его избе,
Хлеб-соль и пенистая брага;
С семьей своей вкусит он без забот
Своих трудов благословенный плод!

VI

А ты, когда вступаешь в осень дней,
Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды
И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее сбираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты,—

VII

Ты так же ли, как земледел, богат?
И ты, как он, с надеждой сеял;
И ты, как он, о дальнем дне наград
Сны позлащенные лелеял...
Любуйся же, гордись восставшим им!
Считай свои приобретенья!..
Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!

VIII

Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,

Блистательных туманов царь — и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен.

IX

Но если бы негодованья крик,
Но если б вопль тоски великой
Из глубины сердечныя возник,
Вполне торжественный и дикой,—
Костями бы среди своих забав
Содроглась ветреная младость,
Играющий младенец, зарыдав,
Игрушку б выронил, и радость
Покинула б чело его навек,
И заживо б в нем умер человек!

X

Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спеши, хозяин тароватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!
Каким разнообразьем брашен
Блистает он!.. Но вкус один во всех
И, как могила, людям страшен;
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

XI

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревращенье —

Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум бесполезный сердца трепет
Угомонит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад.

XII

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя невдали,
Цветущий брег за мглою черной,
Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным,
И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий, как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой,—

XIII

Пред промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем,—
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

XIV

Вот буйственно несется ураган,
И лес подъемлет говор шумный,
И пенится, и ходит океан,
И в берег бьет волной безумной;
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

XV

Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая;
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в высотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

XVI

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
Все образы годины бывшей

Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей,—
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!



Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.



Рифма

Когда на играх Олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец муз, он пел среди валов
Народа жадного восторгов мусикийских;
В нем вера полная в сочувствие жила,
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.
Толпа вниманием окована была,
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца
И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем,

Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил и славословил он
Или оплакивал народную фортуну
И устремлялися все взоры на него,
И силой слова своего
Вития властвовал народным произволом:
Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
А ныне кто у наших лир
Их дружелюбной тайны просит?
Кого за нами в горний мир
Опальный голос их уносит?
Меж нас не ведает поэт
Его полет высок иль нет!

Сам судия и подсудимый
Пусть молвит: песнопевца жар
Смешной недуг иль высший дар?
Решит вопрос неразрешимый!
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного брега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!



ДОПОЛНЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ИЗДАНИЯ 1835 и 1842 годов

Отдел I

1

К Алине

Тебя я некогда любил,
И ты любить не запрещала;
Но я дитя в то время был,
Ты в утро дней едва вступала.
Тогда любим я был тобой,—
И в дни невинности беспечной
Алине с детской простотой
Я клятву дал уж в страсти вечной.

Тебя ль, Алина, вижу вновь?
Твой голос стал еще приятней;
Сильнее взор волнует кровь;
Улыбка, ласки сердцу внятней;
Блестящих на груди лилей
Все прелести соединились,
И чувства прежние живей
В душе моей возобновились.

Алина! чрез двенадцать лет
Все тот же сердцем, ныне снова
Я повторяю свой обет.
Ужель не скажешь ты полслова?
Прелестный друг! чему ни быть,
Обет сей будет свято чтимым.
Ах! я могу еще любить,
Хотя не льщусь уж быть любимым.

2

Любовь и дружба

(*В альбом*)

Любовь и дружбу различают,
Но как же различить хотят?
Их приобресть равно желают,
Лишь нам скрывать одну велят.
Пустая мысль! обман напрасный!
Бывает дружба нежной, страстной,
Стесняет сердце, движет кровь,
И хоть таит свой огнь опасный,
Но с девушкой она прекрасной
Всегда похожа на любовь.



3

Портрет В...

Как описать тебя? я, право, сам не знаю!
Вчера задумчива, я помню, ты была,
Сегодня ветрена, забавна, весела;
Во всем, что лишь в тебе встречаю,
Непостоянство примечаю, —
Но постоянно ты мила!



4

Эпиграмма

Дамон! ты начал — продолжай,
Кропай экспромты на досуге;
Возьмись за гений свой: пиши, черти, марай;
У пола нежного в бессменной будь услуге;
Наполни вздохами растерзанную грудь;
Ни вкусу не давай, ни разуму потачки —
И в награждение любимцем куклы будь
Или соперником собачки.



5

Прощание

Простите, милые досуги
Разгульной юности моей,
Любви и радости подруги,
Простите! вяну в утро дней!
Не мне стезею потаенной,
В ночь молчаливую, тишком,
Младую деву под плащом
Вести в альков уединенной.
Бежит изменница любовь!
Светильник дней моих бледнеет,
Ее дыханье не согреет
Мою хладеющую кровь.
Следы печалей, изнуренья
Приметит в страждущем она,

Не смейтесь, девы наслажденья,
И ваша скроется весна,
И вам пленять недолго взоры
Младою пышной красотой;
За что ж в болезни роковой
Я слышу горькие укоры?
Я прежде бодр и весел был,
Зачем печального бежите?
Подруги милые! вздохните:
Он сколько мог любви служил.



6

К Креницыну

Товарищ радостей младых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свиделся с тобой! В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали!
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств, и сладость упованья! —
Все хладный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? — Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей тебе знакомых нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
Рассудок тверже и верней,
Поступки, разговор скромнее;

Он осторожней стал, быть может, стал умнее,
Но, верно, счастием теперь стократ бедней.
Не подражай ему! иди своей тропою!
Живи для радости, для дружбы, для любви!
Цветок нашел — скорей сорви!
Цветы прелестны лишь весною!
Когда рассеянно, с унынием внимать
Я буду снам твоим о будущем, о счастье,
Когда в мечтах твоих не буду принимать,
Как прежде, пылкое, сердечное участье,
Не сетуй на меня, о друге пожалей:
Все можно возвратить — мечтанья невозвратны!
Так! были некогда и мне они приятны,
Но быстро скрылись от очей!
Я легковерен был: надежда, наслажденье
Меня с улыбкою манили в темну даль,
Я встретить радость мнил — нашел одну печаль,
И сердцу милое исчезло заблужденье.
Но для чего грустить? Мой друг еще со мной!
Я не всего лишен судьбой ожесточенной!
О дружба нежная! останься неизменной!
Пусть будет прочее мечтой!



7

Дельвигу

Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я муз и граций
Променял на вахтпарад;
Сыну милому Венеры,
Рощам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт веселый
Кивер воина тяжелый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днем идет,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает!

Мне ли думать о куплетах?
За свирель... а тут беды!
Марс, затянутый в штиблетах,
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски.
О судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда — на развод.

Вам, свободные пииты,
Петь, любить; меня же вряд
Иль камены, иль хариты
В карауле навестят.

Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают

Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,
Извиваясь, ключ прозрачной
Вдохновительно журчит,
Ты, кого зовут к свирели
Соловья живые трели,
Пой, любимец аонид!
В тихой, сладостной кручине
Слушать буду голос твой,
Как внимают на чужбине
Языку страны родной.



8

⟨*Отрывки из поэмы «Воспоминания»*⟩

Посланница небес, бессмертных дар счастливый,
Подруга тихая печали молчаливой,
О память! ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастия мгновенья легкокрылы,
Давно протекшие, в мечтах мне снова милы.
Еще в забвении дышу отрадой их;
Люблю, задумавшись, минувших дней моих
Воспоминать мечты, надежды, наслажденья.
Минуты радости, минуты огорченья.
Не раз, волшебною взлелеянный мечтой,

Я в ночь безмолвную беседовал с тобой;
И, в дни счастливые на час перенесенный,
Дремал утешенный и с жизнью примиренный.

Так, всем обязан я твоим приветным снам.
Тебя я петь хочу; дай жизнь моим струнам,
Цевнице вторь моей; твой голос сердцу внятен,
И резвой радости, и грусти он приятен.
Ах! кто о прежних днях порой не вспоминал?
Кто жизнь печальную мечтой не украшал?
Смотрите: вот старик седой, изнеможенный,
На ветхих костылях, под ношей лет согбенный,
Он с жизнью сопряжен страданием одним;
Уже могилы дверь отверста перед ним,
Но он живет еще! он помнит дни златые!
Он помнит резвости и радости младые!
С товарищем седым, за чашей круговой,
Мечтает о былом и вновь цветет душой;
Светлеет взор его, весельем дух пылает,
И руку друга он с восторгом пожимает.
. . . .
. . . .
Наскучив странствием и жизни суетою,
Усталый труженик под кровлею родною
Вкушает сладостный бездействия покой;
Благодарит богов за мирный угол свой;
Забытый от людей, блажит уединенье,
Где от забот мирских нашел отдохновенье;
Но любит вспоминать он были прежних лет,
И море бурное, и столько ж бурный свет,
Мечтанья юности, восторги сладострастья,
Обманы радости и ветреного счастья;
Милее кажется ему родная сень,

Покой отраднее, приятней рощи тень,
Уединенная роскошнее природа,
И тихо шепчет он: «Всего милей свобода!»

О дети памяти! о Фебовы сыны!
Певцы бессмертные! кому одолжены
Вы силой творческой небесных вдохновений?
— Отзыву прежних чувств и прежних впечатлений.
Они неопытный развить умели ум,
Зажгли, питали в нем, хранили пламень дум.
Образовала вас природа — не искусство:
Так чувство выражать одно лишь может чувство.
Когда вы кистию волшебною своей
Порывы бурные, волнение страстей
Прелестно, пламенно и верно выражали,
Вы отголоску их в самих себе внимали.
Ах, скольких стоит слез бессмертия венец!
. . . .
. . . .
. . . .

Но все покоится в безмолвии ночном,
И вежды томные сомкнулись тихим сном.
Воспоминания небесный, светлый гений
К нам ниспускается на крыльях сновидений.
В пленительных мечтах, одушевленных им,
И к играм и к трудам обычным мы спешим:
Пастух берет свирель, владелец — багряницу,
Художник — кисть свою, поэт — свою цевницу,
Потомок рыцарей, взлелеянный войной,
Сверкающим мечом махает над главой,
. . . .
. . . .

Доколе памяти животворящий свет
Еще не озарил туманной бездны лет,
Текли в безвестности века и поколенья;
Все было жертвою безгласного забвенья:
Дела великие не славились молвой,
Под камнем гробовым незнаем тлел герой.
Преданья свет блеснул — и камни глас
приняли,
Века минувшие из тьмы своей восстали;
Народы поздние урокам внемлют их,
Как гласу мудрому наставников седых.

Рассказы дивные! волшебные картины!
Свободный, гордый Рим! блестящие Афины!
Великолепный ряд триумфов и честей!
С каким волнением внимал я с юных дней
Бессмертным повестям Плутарха, Фукидида!
Я персов поражал с дружиной Леонида;
С отцом Виргинии отмщением пылал,
Казалось, грудь мою пронзил его кинжал;
И, подданный царя, защитник верный трона,
В восторге трепетал при имени Катона.

. . . .
. . . .

Но любопытный ум в одной ли тьме преданий
Найдет источники уроков и познаний? —
Нет; все вокруг меня гласит о прежних днях.
Блуждая странником в незнаемых краях,
Я всюду шествую, минувшим окруженный.
Я вопрошаю прах дряхлеющей вселенной:
И грады, и поля, и сей безмолвный ряд
Рукою времени набросанных громад.
Событий прежних лет свидетель молчаливый,

Со мной беседует их прах красноречивый.
Здесь отвечают мне оракулы времен:
Смотрите — видите ль, дымится Карфаген!
Полнеба Африки пожарами пылает!
С протяжным грохотом Пальмира упадает!
Как волны дымные бегущих облаков,
Мелькают предо мной события веков.
Печать минувшего повсюду мною зрима...
Поля Авзонии! державный пепел Рима!
Глашатаи чудес и славы прежних лет!
С благословеньем вас приветствует поэт.
Смотрите, как века, незримо пролетая,
Твердыни древние и горы подавляя,
Бросая гроб на гроб, свергая храм на храм,
Остатки гордые являют Рима нам.
Великолепные, бессмертные громады!
Вот здесь висящих рек шумели водопады,
Вот здесь входили в Рим когорты плебеян,
Обремененные богатством дальних стран;
Чертогов, портиков везде я зрю обломки,
Где начертал резец римлян деянья громки.
Не смела времени разрушить их рука,
И возлегли на них усталые века.
Все, все вещает здесь уму, воображенью.
Внимайте времени немому поученью!
Познайте тления незыблемый закон!
Из-под развалин сих вещает глухо он:
«Все гибнет, все падет — и грады и державы...»
О, колыбель наук, величия и славы!
Отчизна светлая героев и богов!
Святая Греция! теперь толпы рабов
Блуждают на брегах божественной Эллады;
Ко храму ветхому Дианы иль Паллады

Шалаш пристроил свой ленивый рыболов!
Ты б не узнал, Солон, страну своих отцов;
Под чуждым скипетром главой она поникла;
Никто не слышит там о подвигах Перикла;
Все губит, все мертвит невежества ярем.
Но неужель для нас язык развалин нем?
Нет, нет, лишь понимать умейте их молчанье,—
И новый мир для вас создаст воспоминанье.

. . . .
. . . .

Счастлив, счастлив и тот, кому дано судьбою
От странствий отдохнуть под кровлею родною,
Увидеть милую, священную страну,
Где жизни он провел прекрасную весну,
Провел невинное, безоблачное детство.
О край моих отцов! о мирное наследство!
Всегда присутственны вы в памяти моей:
И в берегах крутых сверкающий ручей,
И светлые луга, и темные дубравы,
И сельских жителей приветливые нравы.
Приятно вспоминать младенческие дни...
. . . .
. . . .

Когда, едва вздохнув для жизни неизвестной,
Я с тихой радостью взглянул на мир прелестный,—
С каким восторгом я природу обнимал!
Как свет прекрасен был! Увы! тогда не знал
Я буйственных страстей в беспечности невинной:
Дитя, взлелеянный природою пустынной,
Ее одну лишь зрел, внимал одной лишь ей;
Сиянье солнечных, торжественных лучей
Веселье тихое мне в сердце проливало;
Оно с природою в ненастье унывало;

Не знал я радостей, не знал я мук других,
За мигом не умел другой предвидеть миг;
Я слишком счастлив был спокойствием незнанья;
Блаженства чуждые и чуждые страданья
Часы невидимо мелькали надо мной...
О, суждено ли мне увидеть край родной,
Друзей оставленных, друзей всегда любимых,
И сердцем отдохнуть в тени дерев родимых?..
Там счастье я найду в отрадной тишине.
Не нужны почести, не нужно злато мне;
Отдайте прадедов мне скромную обитель.
Забытый от людей, дубрав безвестных житель,
Не позавидую надменным богачам;
Нет, нет, за тщетный блеск я счастья не отдам;
Не стану жертвовать фортуне своевольной
Спокойной совестью, судьбой своей довольный,
И песни нежные, и мирный фимиам
Я буду посвящать отеческим богам.

Так, перешедши жизнь незнаемой тропою,
Свой подвиг совершив, усталою главою
Склонюсь я наконец ко смертному одру;
Для дружбы, для любви, для памяти умру;
И все умрет со мной! Но вы, любимцы Феба,
Вы, вместе с жизнию принявшие от неба
И дум возвышенных и сладких песней дар!
Враждующей судьбы не страшен вам удар:
Свой век опередив, заране слышит гений
Рукоплескания грядущих поколений.
. . . .
. . . .



9

К Кюхельбекеру

Прости, Поэт! Судьбина вновь
Мне посох странника вручила;
Но к музам чистая любовь
Уж нас навек соединила!

Прости! Бог весть когда опять,
Желанный друг в гостях у друга,
Я счастье буду воспевать
И негу праздного досуга!

О милый мой! все в дар тебе —
И грусть, и сладость упованья!
Молись невидимой судьбе:
Она приблизит час свиданья.

И я, с пустынных финских гор,
В отчизне бранного Одена,
К ней возведу молящий взор,
Упав смиренно на колена.

Строга ль богиня будет к нам,
Пошлет ли весть соединенья? —
Пускай пред ней сольются *там*
Друзей согласные моленья!



10

К⟨рыло⟩ву

Любви веселый проповедник,
Всегда любезный говорун,
Глубокомысленный шалун,
Назона правнук и наследник!
Дана на время юность нам;
До рокового новоселья
Пожить не худо для веселья.
Товарищ милый, по рукам!
Наука счастья нам знакома,
Часы летят! — Скорей зови
Богиню милую любви!
Скорее ветреного Мома!
Альков уютный приготовь!
Наполни чаши золотые!
Изменят скоро дни младые,
Изменит скоро нам любовь!
Летящий миг лови украдкой,—
И Гея, Вакх еще с тобой!
Еще полна, друг милый мой,
Пред нами чаша жизни сладкой;
Но смерть, быть может, сей же час
Ее с насмешкой опрокинет,—
И мигом в сердце кровь остынет,
И дом подземный скроет нас!



11

Весна

(Элегия)

Мечты волшебные, вы скрылись от очей!
Сбылися времени угрозы!
Хладеет в сердце жизнь, и юности моей
Поблекли утренние розы!

Благоуханный май воскреснул на лугах,
И пробудилась Филомела,
И Флора милая на радужных крылах
К нам обновленная слетела.

Вотще! Не для меня долины и леса
Одушевились красотою,
И светлой радостью сияют небеса!
Я вяну,— вянет все со мною!

О, где вы, призраки невозвратимых лет,
Богатство жизни — вера в счастье?
Где ты, младого дня пленительный рассвет?
Где ты, живое сладострастье?

В дыхании весны все жизнь младую пьет
И негу тайного желанья!
Все дышит радостью и, мнится, с кем-то ждет
Обетованного свиданья!

Лишь я как будто чужд природе и весне:
Часы крылатые мелькают;
Но радости принесть они не могут мне
И, мнится, мимо пролетают.



12

Финским красавицам

(Мадригал)

Так — ваш язык еще мне нов,
Но взоры милых сердцу внятны,
И звуки незнакомых слов
Давно душе моей понятны.
Я не умел еще любить —
Опасны сердцу ваши взгляды!
И сын Фрегеи, может быть,
Сильнее будет сына Лады!



13

Элегия

Нет, не бывать тому, что было прежде!
Что в счастье мне? Мертва душа моя!
«Надейся, друг!» — сказали мне друзья: —
Не поздно ли вверяться мне надежде,
Когда желать почти не в силах я?
Я бременюсь нескромным их участьем,
И с каждым днем я верой к ним бедней.
Что в пустоте несвязных их речей?
Давным-давно простился я со счастьем,
Желательным слепой душе моей!

Лишь вслед ему с унылым сладострастьем
Гляжу я в даль моих минувших дней.
Так нежный друг, в бесчувственном забвенье,
Еще глядит на зыби синих волн,
На влажный путь, где в темном отдаленье
Давно исчез отбывший дружний челн.



14

Больной

Други! радость изменила,
Предо мною мрачен путь,
И болезнь мне положила
Руку хладную на грудь.
Други! станьте вкруг постели.
Где утех златые дни?
Быстро, быстро пролетели
Тенью легкою они.
Все прошло; ваш друг печальный
Вянет в жизни молодой,
С новым утром погребальный,
Может быть, раздастся вой,—
И раздвинется могила,
И заснет, недвижный, он,
И твое лобзанье, Лила,
Не прервет холодный сон.
Что нужды! до новоселья
Поживем и пошалим,

В память прежнего веселья
Шумный кубок осушим.
Нам судьба велит разлуку...
Как же быть, друзья? — вздохнуть,
На распутье сжать мне руку
И сказать: счастливый путь!



15

В альбом

Вы слишком многими любимы;
Чтобы возможно было вам
Знать, помнить всех по именам,
Сии листки необходимы;
Они не нужны были встарь:
Тогда не знали дружбы модной,
Тогда, бог весть! иной дикарь
Сердечный адрес-календарь
Почел бы выдумкой негодной.
Что толковать о старине!
Стихи готовы. Может статься,
Они для справки обо мне
Вам очень скоро пригодятся.



16

Сестре

И ты покинула семейный мирный круг!
Ни степи, ни леса тебя не задержали;
И ты летишь ко мне на глас моей печали —
О милая сестра, о мой вернейший друг!
Я узнаю тебя, мой ангел-утешитель,
Наперсница души от колыбельных дней;
Не тщетно нежности я веровал твоей,
Тогда еще, тогда достойный твой ценитель!..
Приди ж — и радость призови
В приют мой, радостью забытый,
Повей отрадою душе моей убитой
И сердце мне согрей дыханием любви!
Как чистая роса живит своей прохладой
Среди нагих степей — спасительной усладой
Так оживишь мне чувства ты.



17

Эпиграмма

Везде бранит поэт Клеон
Мою хорошенькую музу;
Все обернуть умеет он
В бесславье нашему союзу.
Морочит добрых он людей,
А слыть красоточке моей
У них негодницей обидно.
Поэт Клеон смешной злодей;
Ему же после будет стыдно.



18

Размолвка

Мне о любви твердила ты шутя
И холодно сознаться можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.
Кого жалеть? печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною.



19

Леда

В стране роскошной, благодатной,
Где Евротейский древний ток
Среди долины ароматной
Катится светел и широк,
Вдоль брега Леда молодая,
Еще не мысля, но мечтая,
Стопами тихими брела.
Уж близок полдень; небо знойно;
Кругом все пусто, все спокойно;
Река прохладна и светла;
Брега стрегут кусты густые...
Покровы пали на цветы,
И Леды прелести нагие
Прозрачной влагой приняты.
Легко возлегшая на волны,
Легко скользит по ним она;
Роскошно пенясь, перси полны
Лобзает жадная волна.
Но зашумел тростник прибрежный,
И лебедь стройный, белоснежный
Из-за него явился ей.
Сначала он, чуть зримый оком,
Блуждает в оплыве широком
Кругом возлюбленной своей;
В пучине часто исчезает,
Но, сокрываяся от глаз,
Из вод глубоких выплывает
Все ближе к милой каждый раз.

И вот плывет он рядом с нею.
Ей смелость лебедя мила,
Рукою нежною своею
Его осанистую шею
Младая дева обняла;
Он жмется к деве, он украдкой
Ей перси нежные клюет;
Он в песне радостной и сладкой
Как бы красы ее поет,
Как бы поет живую негу!
Меж тем влечет ее ко брегу.
Выходит на берег она;
Устав, в тени густого древа,
На мураву ложится дева,
На длань главою склонена.
Меж тем не дремлет лебедь страстной:
Он на коленях у прекрасной
Нашел убежище свое;
Он сладкозвучно воздыхает,
Он влажным клевом вопрошает
Уста невинные ее...
В изнемогающую деву
Огонь желания проник:
Уста раскрылись; томно клеву
Уже ответствует язык;
Уж на глаза с живым томленьем
Наб́росив пышные власы,
Она нечаянным движеньем
Раскрыла все свои красы...
Приют свой прежний покидает
Тогда нескромный лебедь мой;
Он томно шею обвивает
Вкруг шеи девы молодой;

Его напрасно отклоняет
Она дрожащею рукой:
Он завладел —
Затрепетал крылами он,—
И вырывается у Леды
И детства крик, и неги стон.



20

Невесте

А. Я. В.

Не раз Гимена клеветали:
Его бездушным торговцом,
Брюзгой, ревнивцем и глупцом
Попеременно называли.
Как свет его ни назови,
У вас он будет, без сомненья,
Достойным сыном уваженья
И братом пламенной любви!



21

Эпиграмма

Свои стишки Тощев-пиит
Покроем Пушкина кроит,
Но славы громкой не получит,
И я котенка вижу в нем,
Который, право, непутем
На голос лебедя мяучит.



22

Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью
Какой-то адскою любовию горя,
Он незнаком с другою страстью.
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней.
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.



23

Запрос М⟨ухано⟩ву

Что скажет другу своему
Любовник пламенный Авроры?
Сияли ль счастием ему
Ее застенчивые взоры?
Любви заботою полна,
Огнем очей, ланит пыланьем
И персей томных волнованьем
Была ль прямой зарей она
Иль только северным сияньем?



24

К Д⟨ельвигу⟩

На другой день после его женитьбы

Ты распрощался с братством шумным
Бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов,
С бесчинством дружеским веселых их пиров
И с нашим счастьем вольнодумным.
Благовоспитанный, степенный Гименей
Пристойно заменил проказника Амура,
И ветреных подруг, и ветреных друзей,
И сластолюбца Эпикура.

Теперь для двух коварных глаз
Воздержным будешь ты, смешным и постоянным;
Спасайся, милый!.. Но, подчас,
Не позавидуй окаянным!



25

Эпиграмма

Что ни болтай, а я великий муж!
Был воином, носил недаром шпагу;
Как секретарь, судебную бумагу
Вам начерню, перебелю; к тому ж
Я знаю свет,— держусь Христа и беса,
С ханжой ханжа, с повесою повеса;
В одном лице могу все лица я
Представить вам! Хотя под старость века.
Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,
Представь лицо честного человека.



26

К Аннете

Когда Климена подарила
На память это мне кольцо,
Ее умильное лицо,
Ее улыбка говорила:
«Оно твое; когда-нибудь
Сама и вся твоей я буду;
Лишь ты меня не позабудь,
А я тебя не позабуду!»
И через день я был забыт.
Теперь кольцо ее, Аннета,
Твой вечный друг тебе дарит.
Увы, недобрая примета
Тебя, быть может, поразит!
Но неспособен я к измене,—
Носи его и не тужи,
А в оправдание Климене
Ее обеты мне сдержи!



27

Эпиграмма

И ты поэт, и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Твои стихи в печать выходят,
Его стихи — выходят в свет.



28

Она

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.

Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.

Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.

Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой —
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.



29
Эпиграмма

Поверьте мне, Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
«Не должно красть: кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед богом;
Не надобно в суде кривить душой,
Нехорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!»
Ну что ж? Бог с ним! все это к правде близко,
А кажется, и ново для него.



30
Эпиграмма

В восторженном невежестве своем
На свой аршин он славу нашу мерит;
Но позабыл, что нет клейма на нем,
Что одному задору свет не верит.
Как дружеским он вздором восхищен!
Как бешено своим доволен он!
Он хвалится горячею душою.
Голубчик мой! уверься наконец,
Что из глупцов, известных под луною,
Смешнее всех нам пламенный глупец.



31
Эпиграмма

«Он вам знаком. Скажите, кстати,
Зачем он так не терпит знати?»
— Затем, что он не дворянин.
«Ага! нет действий без причин.
Но почему чужая слава
Его так бесит?» — Потому,
Что славы хочется ему,
А на нее бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он.— «Вот что!»



32
Эпиграмма

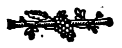
Писачка в Фебов двор явился.
«Довольно глуп он! — бог шепнул.—
Но самоучкой он учился,—
Пускай присядет, дайте стул».
И сел он чванно. Нектар носят,
Его, как прочих, кушать просят;
И нахлебался тотчас он,
И загорланил. Но раздался
Тут Фебов голос: «Как! зазнался?
Эй, Надоумко, вывесть вон!»



33

Н. М. Языкову

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда от бурных увлечений
Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит все своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастия поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы музы молодой.



34

Эпиграмма

Кто непременный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?
Завистник непременный мой?
Тут думать нечего: — родной!
Нам чаще друга враг полезен, —
Подлунный мир устроен так;
О, как же дорог, как любезен
Самой природой данный враг!



35

Вот верный список впечатлений
И легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Все, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя и ото света...
Но уж свое они рекли,
А что прошло, то непреложно.

Года волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытие.
Одно желание мое —
Покой, домашние отрады.
И, погружен в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? с бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.



36

Там, где парил орел двуглавый,
Шумели силы знамена,
Звезда прекрасной, новой славы
Твоей рукою зажжена.
Искусства мирные трофеи
Ты внес в отеческую сень,
И был последний день Помпеи
Для кисти русской первый день.
Тебе привет Москвы радушной!
Ты в ней родное сотвори,

И сердца голосу послушный,
Взгляни на Кремль и кисть бери!
Тебе Москвы бокал заздравный!
Тебя отчизна видит вновь:
Там славу взял художник славный,
Здесь примет славу и любовь!



37

Мою звезду я знаю, знаю,
И мой бокал
Я наливаю, наливаю,
Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
Смеюся я:
Живет не здесь — в звездах Моэта
Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
Уста мои,
Не нужно мне ни звезд небесных,
Ни звезд Аи!



38

Обеды

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
Привел обед в счастливое броженье,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтеся, чтоб гости за столом,
Не менее харит своим числом,
Числа камен у вас не превышали.



39

С книгою «Сумерки»

С. Н. К⟨арамзиной⟩

Сближеньем с вами на мгновенье
Я очутился в той стране,
Где в оны дни воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный *сумерки* мои.



40
Молитва

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.



41

Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит, —

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет,

И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто! — но сложится певцу
Канон намеднишним зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.



42

На посев леса

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей младой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольный мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит,—
К ее сынам еще взывает лира.

Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос,
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

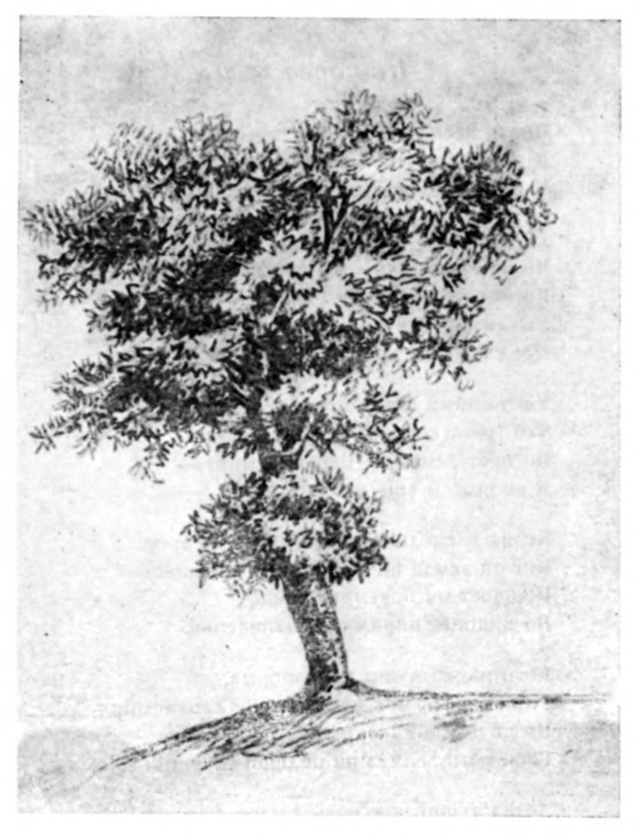
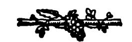


Рисунок Баратынского к стихотворению Парни «Bel arbre, pourquoi conserver»

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети.



43

Люблю я вас, богини пенья,
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья,—
Предтечей жизненных невзгод.

Любовь камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! Боюся я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили вновь перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От музы, ласковой ко мне.
И говорю: до завтра, звуки!
Пусть день угаснет в тишине!



44

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решалась ты делить его волненья,
В нем таинство печали полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нем чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.



45

Пироскаф

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.

Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилица,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море,—
С брегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!



46

Дядьке-итальянцу

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнул, оставил ты
В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на все пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Имел я благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
Ментóра моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,
Где волею небес узнал я бытие,
О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,

Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойной.

Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнию ее сливая жизнь свою,
Ее событьями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.
Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал;
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее, порой, с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет
И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра,
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатов,
Входящих вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов,
В густой пыли побед, в грозе небритых бо́род,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где год спустя тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революцьонных фраз.
Народ ему зажег приветственные плошки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес;
Едва ты узнику печальному британца
Простил военную систему корсиканца,

Что на твоем веку, то ль благо, то ли зло,
Возникло, при тебе — в преданье перешло:
В Альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталой,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей!
Во славе солнечной Неаполь твой нагорной,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой,— амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов
И ужасов и нег взлелеял эпопею,

Где в мраки Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.

Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдыхов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный, среди твоих красот
Не жаждал в их раю обресть навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном,
И в сей Италии, где все — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безымянный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно,—
Все беззаботному блаженству благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших вьюг,
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крылиях зефира!

О тайны душ! меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,

Напрасно! (Уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала.)
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!



Отдел II

47

Хор, петый в день именин
дяденьки Б⟨огдана⟩ Анд⟨реевича Боратынского⟩
его маленькими племянницами
Панчулидзевыми

Родству приязни нежной
Мы глас приносим сей,
В ней к счастью путь надежной,
Вся жизнь и сладость в ней.

Хоть чужды нам искусства
С приятством говорить,
Но сердца могут чувства
Дар тщетный заменить.

Из благ богатых света,
Усердьем лишь одним,

Чем можем в детски лета,
Мы праздник сей почтим.

Весны в возобновленье!
Средь рощей, средь полей
Так птички возвращенье
Поют цветущих дней.

Увы! теперь природы
Уныл, печален вид;
Хлад зимней непогоды
Небесный кров мрачит.

И в ведро и в ненастье
Гнетут печали злых,—
Но истинное счастье
Нигде, как в нас самих.

Смотрите, как сияет
Во всех усердья дух,
Как дышит все, блистает
Веселостью вокруг.

Средь грозных бурь смятений,
Хоть гром вдали шумит,
Душевных наслаждений
Ничто не возмутит.

Хоть время невозвратно
Всех благ лишает нас,
Увы! хоть слишком внятно
Судеб сей слышен глас,—

О пусть всегда меж нами
Жизнь ваша лишь течет,
И дружба под цветами
Следы сокроет лет.



48

Моя жизнь

Люблю за дружеским столом
С моей семьею домовитой
О настоящем, о былом
Поговорить душой открытой.

Люблю пиров веселый шум
За полной чашей райской влаги,
Люблю забыть для сердца ум
В пылу вакхической отваги.

Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости младой
Разнообразить наслажденья.



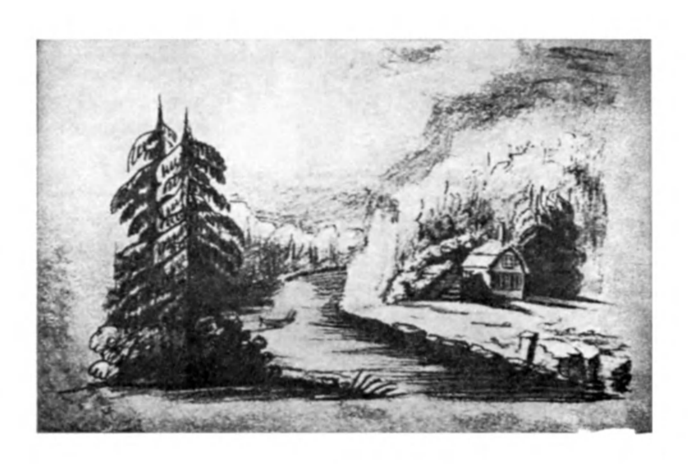


А. А. Боратынский
отец поэта

Портрет работы неизвестного художника. Конец XVIII в.

Баратынский
в детстве





Финдляндия

Рисунок Баратынского

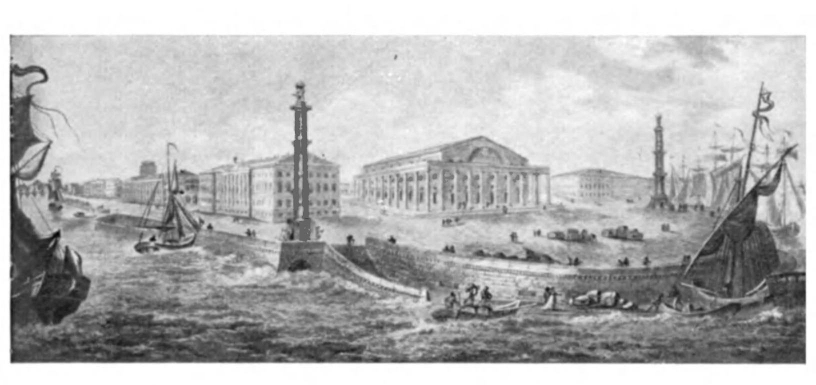


Рисунок Баратынского

С. Д. Пономарева

Портрет работы неизвестного художника. 1810-е годы





Петербург. Набережная

Гравюра. 30-е годы XIX в.



А. Ф. Закревская

Литография Е. Гейтмана. 20-е годы XIX в.



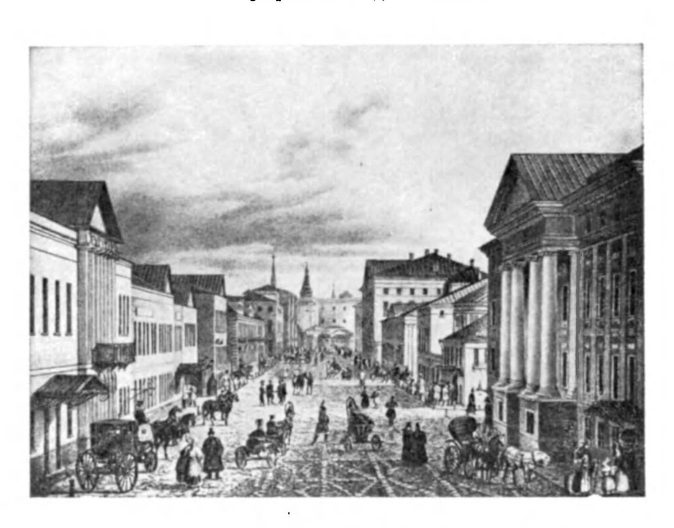
Е. А. Баратынский

Портрет работы Ж. Вивьена. 1826 г. Карандаш.



Москва. Красная площадь

Литография О. Кадоля. 1825 г.



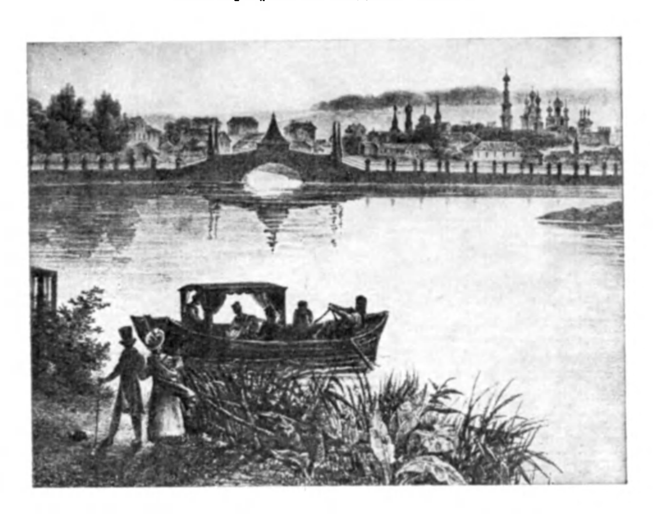
Москва. Тверская

Литография О. Кадоля. 1825 г.



Москва. Тверской бульвар

Литография О. Кадоля. 1825 г.



Москва. Пресненские пруды

Литография О. Кадоля. 1825 г.



П. А. Вяземский

Рисунок работы
О. Кипренского
1835 г. Карандаш.

А. А. Дельвиг

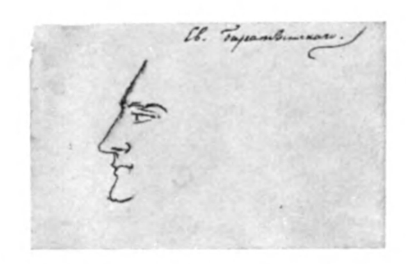
Рисунок работы
П. Яковлева
1817—1820 гг.





З. А. Волконская

Портрет работы Луи Берже.
1828 г. Акварель.



Автопортрет
Е. А. Баратынского

Н. В. Путята



Семейство Энгельгардт.
Девочка с корзинкой — А. Л. Энгельгардт,
будущая жена поэта

1810-е годы.



А. Л. Баратынская

30-е годы XIX в.



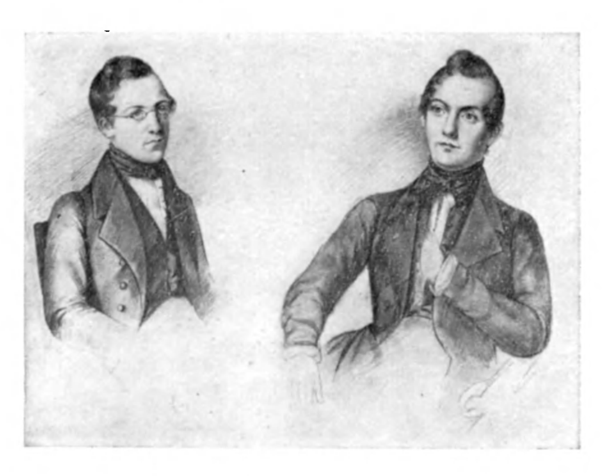
Е. А. Баратынский

Гравюра. 30-е годы XIX в.



Дом в Муранове

Современная фотография.



Е. А. Баратынский (справа) и С. А. Баратынский

Неизвестный художник. 1820-е годы. Карандаш.



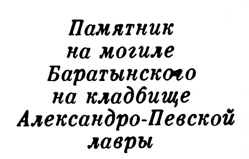
Аллея в Муранове

Современная фотография.



Посмертная маска Е. А. Баратынского





Памятник на могиле Баратынского на кладбище Александро-Певской лавры

49

Полуразрушенный я сам себе не нужен
И с девой в сладкий бой вступаю безоружен.

50

Мы будем пить вино по гроб
И верно попадем в святые:
Нáм явно показал потоп,
Что воду пьют одни лишь злые.

51

Здесь погребен армейский капитан.
Он честно жил и грешен не во многом:
Родился, спал и умер пьян,
Вот весь ответ его пред богом.

52

В пустых расчетах, в грубом сне
Пускай другие время губят.
Честные люди, верьте мне,
Меня и жизнь мою полюбят.

53

Так, он ленивец, он негодник,
Он только что поэт, он человек пустой;
А ты, ты ябедник, шпион, торгаш и сводник.
О! человек ты деловой.

54

Я унтер, други! — Точно так,
Но не люблю я бить баклуши,
Всегда исправен мой тесак,
Так берегите — уши!



55

В альбом

Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы...
Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной

Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал цитерский бог,—
Тогда я дал бы сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит...
И удивление, по счастью,
От стрел любви меня хранит.



56

Младые грации сплели тебе венок
И им стыдливую невинность увенчали.
В него вплести и мне нельзя ли
На память миртовый листок?
Хранимый дружбою, он, верно, не увянет,
Он лучших чувств моих залогом будет ей;
Но друга верного и были прежних дней
Да поздно милая вспомянет.
Да поздно юных снов утратит легкий рой
И скажет в тихий час случайного раздумья:
«Не другом красоты, не другом остроумья —
Он другом был меня самой».



57

Когда придется как-нибудь
В досужный час воспомянуть
Вам о Финляндии суровой,
О финских чудных щеголях,
О их безужинных балах
И о Варваре Аргуновой —
Не позабудьте обо мне,
Поэте сиром и безродном,
В чужой, далекой стороне,
Сердитом, грустном и голодном.
А вам, Анеточка моя,
Что пожелать осмелюсь я?
О! наилучшего, конечно:
Такой пребыть, какою вас
Сегодня вижу я на час,
Какою помнить буду вечно.



58

Войной журнальною бесчестит без причины
    Он дарования свои.
Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов — еще любил кулачные бои?



59

Простите, спорю невпопад
Я с вашей музою прелестной;
Но мне Парни ни сват, ни брат,
Совсем не он отец мой крестный.
Он мне, однако же, знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, не спорю в том,
Был вместе с вами мой учитель.



60

Я был любим, твердила ты
Мне часто нежные обеты,
Хранят бесценные мечты
Слова, душой твоей согреты.
Нет, не могу не верить им:
Я был любим, я был любим!

Все тот же я, любви моей
Судьба моя не изменила;
Я помню счастье прежних дней,
Хоть, может быть, его забыла,
Забыла милая моя, —
Но тот же я, все тот же я!

К свиданью с ней мне нет пути.
Увы! когда б предстал я милой,—
Конечно, в жалость привести
Ее бы мог мой взор унылой.
Одна мечта души моей —
Свиданье с ней, свиданье с ней.

Хитра любовь: никак она
Мне мой романс теперь внушает;
Ее волнения полна,
Моя любезная читает,
Любовью прежней дышит вновь.
Хитра любовь, хитра любовь!



61

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья и сказанья,
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод.
«Срамец! срамец! — все шепчут, — вот известье!»
— Эх, не тужи! Уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье.



62

С. Л. Энгельгардт

Нежданное родство с тобой даруя,
О, как судьба была ко мне добра!
Какой сестре тебя уподоблю я,
Ее рукой мне данная сестра!
Казалося, любовь в своем пристрастье
Мне счастие дала до полноты;
Умножила ты дружбой это счастье,
Его могла умножить только ты.



63

Ода

Ни горы злата и сребра,
Ни неги сласть, ни сила власти,
Душой желанного добра
Нам не дадут — покуда страсти,
Волнуя чувства каждый час,
Ненасытимы будут в нас.

Блаженство полное ни в чем
Нам не даровано богами,
Чтоб, руководствуясь умом,
Его создать могли мы сами,
Всегда тая в себе самих
Прямой источник благ своих.



Ода

Ни горы злата и сребра,
Ни иная слава, ни сила власти,
Душой уравненного добра
Намъ не дадутъ — покуда страсти
Волнуя чувства каждый часъ
Ненасытимы будутъ въ насъ.

Блаженство полное ни въ чемъ
Намъ не даровано Богами,
Чтобъ руководствуясь умомъ
Его создать могли мы сами
[illegible] въ себе самихъ
[illegible] вестникомъ благъ своихъ.

«Ода»

Беловой автограф

64

Откуда взял Василий непотешный
Потешного Буянова? Хитрец
К лукавому прибег с мольбою грешной.
«Я твой,— сказал,— но будь родной отец,
Но помоги». Плодятся без усилья,
Горят, кипят задорные стихи,
И складные страницы у Василья
Являются в тетрадях чепухи.



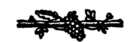
65

Хотите ль знать все таинства любви?
Послушайте девицу пожилую:
Какой огонь она родит в крови!
Какую власть дарует поцелую!
Какой язык пылающим очам!
Как миг один рассудок побеждает,—
По пальцам все она расскажет вам.
— Ужели все она по пальцам знает?



66

Грузинский князь, газетчик русской
Героя трусом называл.
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал —
На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька,
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка.



67

Убог умом, но не убог задором,
Блестящий Феб, священный идол твой
Он повредил: попачкал мерным вздором
Его потом и восхищен собой.
Чему же рад нахальный хвастунишка?
Скажи ему, правдивый Аполлон,
Что твой кумир разбил он, как мальчишка,
И, как щенок, его загадил он.



«Мой старый пес!..»
Автограф Баратынского

68

Прости, мой милый! так создать
Меня умела власть господня:
Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!



69

Мой старый пес! Ты псом окончил век!
Я знал тебя ласкателем и вором.
Когда б ты был не пес, а человек,
Ты б околел, быть может, сенатором.



70

Не растравляй моей души
Воспоминанием былого;
Уж я привык грустить в тиши,
Не знаю чувства я другого.
Во цвете самых пылких лет
Все испытать душа успела,
И на челе печали след
Судьбы рука запечатлела,



71

Н.Е.Б...

Двойною прелестью опасна,
Лицом задумчива, речами весела,
Как одалиска, ты прекрасна,
И, как пастушка, ты мила.
Душой невольно встрепенется,
Кто на красавицу очей ни возведет:
Холодный старец улыбнется,
А пылкий юноша вздохнет.



72

*На ****

В руках у этого педанта
Могильный заступ, не перо,
Журнального негоцианта
Как раз подроет он бюро.
Он громогласный запевала,
Но запевала похорон...
Похоронил он два журнала,
И третий похоронит он.





А. Ф. Боратынская, мать поэта
Рисунок Баратынского

73

На все свой ход, на все свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха не путем:
Салоны есть,— но этот смотрит детской,
А тот, увы! — глядит гошпиталем.



74

Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я, не усталый, но ленивый,
Уж пил летийские струи.

Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,
Остановили на закате
Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,
И человеческим сынам
Досель безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!



75

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима.
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упадших чертогов колонны!



СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ПОЭТАМИ

76

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко,
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили, шутя: какое в россиянах чувство!



77

Певцы 15-го класса

Князь Шаховской согнал с Парнаса
И мелодраму и журнал;
Но жаль, что только не согнал
Певца 15 класса.

Но я бы не согнал с Парнаса
Ни мелодраму ни журнал,
А хорошенько б откатал
Певца 15 класса.

Не мог он оседлать Пегаса;
Зато Хвостова оседлал,
И вот за что я не согнал
Певца 15 класса.

(*Теперь певцы говорят сами:*)

Хотя и согнан я с Парнаса,
Все на Песках я молодец:
Я председатель и отец
Певцов 15 класса.

Я перевел по-русски Тасса,
Хотя его не понимал,
И по достоинству попал
В певцы 15 класса.

Во сне я не видал Парнаса,
Но я идиллии писал
И через них уже попал
В певцы 15 класса.

Поймав в Париже Сен-Томаса,
Я с ним историю скропал
И общим голосом попал
В певцы 15 класса.

Я конюхом был у Пегаса,
Навоз Расинов подгребал
И по Федоре я попал
В певцы 15 класса.

Я сам Княжевич, от Пегаса
Толчки лихие получал
И за терпение попал
В певцы 15 класса.

Хотел достигнуть я Парнаса,
Но Феб мне оплеуху дал,
И уж за деньги я попал
В певцы 15 класса *.

Кой-что я русского Парнаса
Я не прозаик, не певец,
Я не 15 класса,
Я цензор — сиречь — я подлец.

Сочинил унтер-офицер
Евгений Баратынский
с артелью.



78

Быль

Жил да был петух индейский,
Цапле руку предложил,
При дворе взял чин лакейский
И в супружество вступил.

Он молил детей как дара,
И услышал Саваоф:
Родилася цаплей пара,
Не родилось петухов.

* В сенате третьего я класса,
А здесь в 15 попал.— *Прим. соч.*

Цапли выросли, отстали
От младенческих годов,
Длинны, очень длинны стали
И глядят на куликов.

Вот пришла отцу забота
Цаплей замуж выдавать
Он за каждой два болота
Мог в приданое отдать.

Кулики к нему летали
Из далеких, ближних мест;
Но лишь корм они клевали —
Не глядели на невест.

Цапли вяли, цапли сохли,
И увы! скажу вздохнув,
На болоте передохли,
Носик в перья завернув.



79

Наш приятель, Пушкин Лев,
Не лишен рассудка:
И с шампанским жирный плов,
И с груздями утка —
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка.

Федор Глинка молодец
Псалмы сочиняет,
Его хвалит бог отец
Бог сын потакает.
Дух святой, известный льстец,
Говорит, что он певец...
Болтает, болтает.



80

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,
Элегию семье своей читал,
А казачок огарок свечки сальной
В руках со трепетом держал.
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал,
— Вот, вот с кого пример берите, дуры! —
Он дочерям в восторге закричал.—
Откройся мне, о милый сын натуры,
Ах! что слезой твой осребрило взор?
А тот ему в ответ: *мне хочется на двор.*



81

Журналист Фиглярин и Истина

Он точно, он бесспорно
Фиглярин-журналист,
Марающий задорно
Свой бестолковый лист.
А это что за дура?
Ведь Истина, ей-ей!
Давно ль его конура
Знакома стала ей?
На чепуху и враки
Чутьем наведена,
Занятиям мараки
Пришла мешать она.



82

Куплеты на день рождения княгини Зинаиды Волконской в понедельник 3 декабря 1828 года, сочиненные в Москве: кн. П. А. Вяземским, Е. А. Баратынским, С. В. Шевыревым, Н. Ф. Павловым и И. В. Киреевским

Друзья! теперь виденья в моде,
И я скажу про чудеса:
Не раз явленьями в народе
Нам улыбались небеса.

Они нам улыбнулись мило,
Небесным гостем подаря:
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Вокруг эфирной колыбели,
Где гость таинственный лежал,
Невидимые хоры пели,
Незримый дым благоухал.
Зимой весеннее светило
Взошло, безоблачно горя.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Оно зашло, и звезды пали
С небес высоких — и светло
Венцом магическим венчали
Младенца милое чело.
И их сияньем озарило
Судьбу младого бытия:
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Одна ей пламя голубое
В очах пленительных зажгла:
И вдохновение живое
Ей в душу звучную влила.
В очах зажглось любви светило,
В душе поэзии заря:
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Звездой полуденной и знойной,
Слетевшей с Тассовых небес,

Даны ей звуки песни стройной,
Дар гармонических чудес:
Явленье это не входило
В неверный план календаря;
Но знаем мы, что это было
Оно на третье декабря.

Земли небесный поселенец,
Росла пленительно она,
И что пророчил в ней младенец,
Свершила дивная жена.
Не даром гениев кадило
Встречало утро бытия:
И утром чудным утро было
Сегодня, третье декабря.

Мы, написавши эти строфы,
Еще два слова скажем вам,
Что если наши философы
Не будут верить чудесам,
То мы еще храним под спудом
Им доказательство, друзья:
Она нас подарила чудом
Сегодня, в третье декабря.

Такая власть в ее владенье,
Какая богу не дана:
Нам сотворила воскресенье
Из понедельника она
И в праздник будни обратило
Веселье, круг наш озаря;
Да будет вечно так, как было,
Днем чуда третье декабря!



DUBIA

83

С неба чистая
    Золотистая,
К нам слетела ты;
Все прекрасное,
    Все опасное
Нам пропела ты!

84

Приют, от светских посещений
Надежной дверью запертой,
Но благодарною душой
Открытый дружеству и девам вдохновений.



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Список сокращений

Ак.— *Е. А. Баратынский.* Полное собрание сочинений ‹Академическая библиотека русских писателей› тт. 1.— 2. СПб., 1914—1915.
Благ.— «Благонамеренный».
ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ГИМ — Государственный исторический музей.
Д — Две повести в стихах. СПб., 1828.
Изд. 1827 — *Е. А. Баратынский.* Стихотворения. М., 1827.
Изд. 1835 — *Е. А. Баратынский.* Стихотворения. М., 1835.
Изд. 1869 — *Е. А. Баратынский.* Сочинения. М., 1869.
Изд. 1884 — *Е. А. Баратынский.* Сочинения. Казань, 1884.
Изд. 1951 — *Е. А. Баратынский.* Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., Гослитиздат, 1951.
Изд. 1957 — *Е. А. Баратынский.* Полное собрание стихотворений. М.— Л., Советский писатель, 1957.
ЛМ — Литературный музеум, т. I. Под редакцией А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг.[1921].
ЛН — Литературное наследство.
МВ — «Московский вестник».
МН — «Московский наблюдатель».
Мнем.— «Мнемозина».
МТ — «Московский телеграф».
Н — *Е. А. Баратынский.* Наложница. М., 1831.
НЗ — «Невский зритель».
НЛ — «Новости литературы».
ОЗ — «Отечественные записки».
ПД — Отдел рукописей Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).
ПЗ — «Полярная звезда».

ПСС — *Е. А. Баратынский.* Полное собрание стихотворений. М.— Л.: Советский писатель, тт. I—II, 1936.
РИ — «Русский инвалид».
РОБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
С — *Е. А. Баратынский.* Сумерки. М., 1842.
СО — «Сын отечества».
Совр. — «Современник».
Сор.— «Соревнователь просвещения и благотворения».
ст.— стих, стихи.
стих.— стихотворение.
СЦ — «Северные цветы».
ТС — Татаевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899.
УР — *В. Г. Базанов.* Ученая республика. М.— Л.: Наука, 1964.
Ф — *П. П. Филиппович.* Об академическом издании стихотворений Е. А. Баратынского.— Журнал Министерства народного просвещения, 1915, № 3, с. 182—203.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив.
ЦЭ — Цензурный экземпляр сборника Баратынского «Сумерки».
ЭП — *Е. А. Баратынский.* Эда, финдляндская повесть, и Пиры, описательная поэма. СПб., 1826.

Часть первая

Стихотворения

1. Финляндия

(с. 7—10)

Громады вечных скал, гранитныя пустыни!
Вы дали страннику убежище и кров;
Ему нужней покой обманчивых даров
Слепой, взыскательной и ветреной богини.
Забытый от людей, забытый от молвы,
Доволен будет он углом уединенным;
Он счастье в нем найдет, он будет, как и вы,
В пременах рока неизменным.
Как все вокруг меня пленяет грозно взор!
Пустынный неба свод, угрюмый вид природы,
О каменистый брег дробящиеся воды
И дремлющий над ними бор!
Скалы далекие подернулись туманом,
В зерцале зыбких вод глядится черный лес;
Все тихо! все молчит! и бледный свод небес
Слился с безбрежным океаном.
Здесь все беседует с унынием моим:
И сосен шум глухой, и волн неясный лепет
Как будто бы знаком, как будто внятен им
Младого сердца томный трепет.
Здесь, окруженный тишиной
Природы, дремлющей под кровом ночи звездной,
Люблю сидеть один над сумрачною бездной,
Молчать и вдаль лететь душой.
Здесь в думу важную невольно погруженной,
Люблю воспоминать о сильных прежних дней,
О бурной жизни их средь копий, средь мечей,
Безумствам громким посвященный.
Ничто не прочно на земли:

Ложатся грады в прах, и рушатся державы.
Не здесь ли некогда с победой протекли
Сыны Оденовы, любимцы бранной славы?
Следы минувшего исчезли в сих местах,
Отзывы праздные не вторят песне Скальда,
Молва умолкнула о спутниках Роальда,
О древних сильных племенах;
Развеял бурный ветр торжественные клики,
Забыли правнуки о подвигах отцов,
Померкла слава их,— и в прахе их богов
Лежат низверженные лики.
И все вокруг меня в глубокой тишине:
Не слышен стук мечей, давно умолкли бои.
Куда вы скрылися, полночные герои!
Мой взор теряется в бездонной вышине:
Не вы ли, бледные вперив на звезды очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Не вы ль?.. ответствуйте! вам слышен голос мой,
Одушевите сумрак ночи.
Сыны могучие сих грозных, вечных скал,
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? и я ли прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги? что слава наших дней?
Что наше ветреное племя?
О, все своей чредой исчезнет в бездне лет;
Для всех один закон — закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!
Но я, в безвестности для жизни жизнь любя,
Могу ль себя томить гадательной тоскою?
Пусть все разрушится, пусть все умрет со мною:
Не вечный для времен, я вечен для себя.
Златые призраки, златые сновиденья,
Желанья пылкие, слетитеся толпой!
Пусть жадно буду пить обманутой душой
Из чаши юности волшебство заблужденья.
Что нужды до былых иль будущих племен?

70 Я не для них бренчу незвонкими струнами:
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

СО

В сравнении с этим текстом редакция Сор. содержит следующие разночтения:

18 И рощи шум глухой и волн неясной лепет
21 Здесь освежаемый прохладной тишиной
36 О древних сильных племенах!
39 Бледнеет слава их, и в прахе их богов
51 Зачем уныли вы? и я ли прочитал
60 Обетованного, глубокого забвенья!
62 Могу ль себя томить неясною тоскою?

111. «Завыла буря; хлябь морская...»
(с. 11—12)

4 Бьют гневно пеняся ⟨в⟩ прибрежные скалы
18—21 Он небо заслонил огромными крилами
И, двигая ревущими валами,
Любуются могуществом своим
Иль вечным будет заточенье?
32 Ждать не хочу моей кончины

Автограф ПД

3 Идут, друг на друга сердито налегая,
6 Чья мощная рука
19—21 И, двигая ревущими водами,
Любуется могуществом своим
Иль вечным будет заточенье?
32 Ждать не хочу моей кончины
38 Волнуйся, опеняй утесистые грани

Мнем.

11—20 *отсутствуют*

Изд. 1835

IV. «Я возвращуся к вам, поля моих отцов...»

(с. 12—14)

6—7 Свободный наконец от ветреных надежд
От беспокойных снов, от суетных желаний,
20 Спокойный домосед в отечественной хате
22 В кругу друзей моих, в кругу семьи моей
24 Нет, нет, не променю священного обета
28 Науке созидать твердыни боевые
38 Прилежный Яков мой! ты, первый огород
49 Они доступны всем, и мне за тяжкой труд
59—60 И вместо мрамора положит над гробницей
Мой заступ и топор меж лирой и цевницей

СО

V. «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель?..»

(с. 15)

4 Подходит с горестью их чуждый навеститель
9 Тебе ли изменил победы верный гений?
13 Кому еще грозишь с семи твоих холмов?

ПЗ

VI. «О счастии с младенчества тоскуя...»

(с. 16—17)

3—4 Когда ж и где и в чем его найду я,
О судьи бытия!
7 Надежд моих лишен я прежней цели,
18 Я тяжкий жребий мой;
41 Покинь меня, в твоей науке строгой

ПЗ

10 Мне первый опыт рек
15—16 О юных снах слепое сожаленье
Зачем живет во мне
18 Я дольный жребий свой
35 Промолвил ей: «О гостья роковая!
38 Всех радостей земных!

Изд. 1884

X. «Расстались мы; на миг очарованьем...»

(с. 20)

На краткий миг пленяет в жизни радость,
Невидимо мелькают счастья дни;
Едва блеснут и скроются они.
На краткий миг узнал любви я сладость:
О милый друг, тебя уж нет со мной!
Уж он исчез — блаженства сон мгновенной,
И я один, и на груди стесненной
Лежит тоска разлуки годовой.
Где вы, где вы, любви очарованья?
Не вечность ли меж нами протекла?
Ужель на час мне счастьем жизнь была?
Ужель одни остались мне желанья?
Я все имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон,— исчезло сновиденье.
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего!

СО

В сравнении с этим текстом редакция Сор. содержит следующие разночтения:

6 *отсутствует*
8 Тоска разлуки годовой
14 Едва заснул — исчезло сновиденье;

XI. «К чему невольнику мечтания свободы?..»

(с. 21)

15—16 Дарует страсти нам? . . . .
О, тягостна для нас . . . .

Изд. 1835

XII. «Рассеивает грусть пиров веселый шум...»

(с. 22)

1 Рассеивает грусть веселый шум пиров

СО, Изд. 1827, Изд. 1835

3–4 В семействе дружеском любезных шалунов
Я уповал ожить душою.

СО

3–4 В семействе дружеском соратных шалунов
Мечтал воскреснуть я душою.

Изд. 1827, Изд. 1835

7 Лишь мы не знали сна — и пенистый фиал

Изд. 1827, Изд. 1835

14 Не вспыхнет жизнь в крови остылой;

СО

14 Всесильным собственною силой;

Изд. 1827, Изд. 1835

16 Способен чувствовать унылой!

СО, Изд. 1827, Изд. 1835

XIII. Песня

(с. 23—24)

3–4 Тучи черные по небу
Вдаль несутся

СО

5 На часах стоит печально

СО, Изд. 1827

7 Он несется вслед за ними
9 О куда вас, черны тучи
11 О куда влечет судьбина

СО

22 Дни окончу

СО, Изд. 1827

26 Что же в жизни

СО

XIV. «Приманкой ласковых речей...»

(с. 24)

3 Так, Хлоя, многих вы милей

НЛ

3 Климена! многих вы милей

«Урания»

7 На нежность, гордость вашу я

НЛ, «Урания»

10 Но честь красы меня дороже

НЛ

XV. Падение листьев

(с. 25—26)

Поблекнули ковры полей,
Брега взрывал источник мутной,
И голосистый соловей
Умолкнул в роще бесприютной.
Болезни жертва в цвете лет,
К сей роще юноша унылой
Последний горестный привет
Отдать прибрел отчизне милой:
«Судьба исполнилась моя!
Прости, убежище драгое!
О прорицанье роковое!
Твой страшный голос помню я.
С ненастной осенью приспеет,
Вещало ты, мой смертный час,
И для страдальца пожелтеет
Дубравный лист в последний раз.
Заплачет милая мне дева;
Я вяну: легкою мечтой
Мелькнув, исчез мой век младой.
Последний лист падет со древа,
Последний час ударит мой!
Затмили тучи свод лазурный;
Осенних ветров слышен свист.
Шуми, шуми, о ветер бурный!
Вались, вались, поблеклый лист!
От взоров матери унылой
Сокрой меня с моей могилой;
Когда ж с отчаяньем в очах,
Пустыню воплем оглашая,
Моя подруга молодая

Ее отыщет в сих местах:
Тогда над камнем безответным,
Где я навек опочию,
Буди ты шорохом приветным
Тень услажденную мою!» —
Сбылось. Увы! судьбины гнева
Мольбами бедный не смягчил:
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его гробница;
Но не пришла краса-девица
Свой долг заветный ей отдать,
А зрела каждая денница
Над ней рыдающую мать.

НЛ

В сравнении с этим текстом редакция недошедшего автографа (Ак. I, 235—236) содержит следующие разночтения:

17—19 Не умолить богинь Эрева
Наперсниц доли роковой
26—29 От взоров матери печальной
Сокрой мой камень погребальный,
Когда же в милых ей местах
С привычной грустию блуждая
31 Ко мне приблизится в слезах
36—37 Сказал: сбылось. Судьбины гнева
Слезами бедный не смягчил
41—43 К ней не пришла краса-девица
Сердечной грусти волю дать
Но зрела каждая денница

XVI. «Любви приметы...»

(с. 27)

11—14 Ты вся в огне,
Бедняжка скромность,
Сих взоров томность
Понятна мне

Благ., недошедший автограф (Ак. I, 36)

XVII. «Зачем, о Делия! сердца младые ты...»

(с. 28)

Зачем нескромностью двусмысленных речей,
Руки всечасным пожиманьем,
Притворным пламенем коварных сих очей,
Для всех увлажненных желаньем
Знакомить юношей с волнением любви,
Их обольщать надеждой счастья
И разжигать, шутя, в смятенной их крови
Бесплодный пламень сладострастья?
Он не знаком тебе, мятежный пламень сей;
Тебе неведомое чувство
Вливает в душу их, невольницу страстей,
Твое коварное искусство.
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной;
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Не верь судьбе слепой, не верь самой себе:
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Любви безумье роковое!
Но избранный тобой, страшась знакомых бед,
Твой нежный взор без чувства встретит
И, недоверчивый, на пылкий твой привет
Улыбкой горькою ответит.
Когда же в зиму дней все розы красоты
Похитит жребий ненавистной,—
Скажи, увядшая, кого посмеешь ты
Молить о дружбе бескорыстной,
Обидной жалости предметом жалким став?
В унынье все тебя оденет,
Исчезнет легкий рой веселий и забав,
Толпа ласкателей изменит,
Изменит и покой, услада поздних лет!
Как дщери ада — Эвмениды,
Повсюду, жадные, тебе помчатся вслед
Самолюбивые обиды.
Немирного душой, на мирном ложе сна,

Так убегает усыпленье;
И где для смертных всех доступна тишина,—
Страдальца ждет одно волненье!

НЛ

11–12 Придется некогда, придется и тебе
Узнать пристрастье роковое!
25 В замену благ младых тебе не обрести

Изд. 1827

XVIII. «Когда б избрать возможно было мне...»

(с. 29)

2 Хоть, например, любую долю в мире
6 Но блага все нашед в одном предмете
8 Чем я могу любезным быть Лилете

Изд. 1827

XIX. «Где ты, беспечный друг! где ты, о Дельвиг мой...»

(с. 29—31)

23–25 Лишь слабо теплится в туманной вышине
Дианы бледная лампада,
С улыбкой будит нас малютка Купидон
27 «Проснитесь, юноши! Для вас ли», шепчет он,
29 «Смотрите: видите ль, покинув ложе сна,
31–34 С тоскою страстною не вас ли ждет она
«Не вас ли ждет моя Лилета?»
Она! — о нега чувств! о сладкие мечты!
Счастлив, кто легкою рукою
37 Кто пренебрег судом завистливых и злых
40 Иль наслажденья миг крылатый
43 А баловней харит еще покоит лень
49 И где же дом утех? где чаш веселой стук?
53–54 И я, певец утех, теперь утрату их
Пою в тоске уединенной,
56 И брег не видим отдаленный

НЗ

1 Где ты, беспечный друг? где ты, о Делий мой,
9 Где ты, о Делий мой! Ужель минувших дней

Изд. 1827

XX. «Желанье счастия в меня вдохнули боги...»

(с. 31)

4—5 Не ведая куда, прошел я полдороги,
Довольно! Я устал, и путь окончен мой
7 Стою, задумчивый, над жизненной стезей

НЛ

5 И прихотям судьбы я боле не служу

Автограф ПД

XXI. «Мне с упоением заметным...»

(с. 32—33)

1—7 Зачем живые выраженья
Моей приязни каждый раз
В вас возбуждают опасенья
И возмущают даже вас?
Страшитесь Вы (страшитесь, право) —
Не взволновали ль Вы мне кровь,
И голос дружества любовь
Не принимает ли лукаво?
Душа полна тоски ее,
Но я рассудка не забуду
И на смятение мое
12 Что ж? Я не жалок и притом
14 Я счастлив тем, что Вы прекрасны
27—48 Одушевил свое созданье
Япетов сын,— и в наказанье
Жестокий, мстительный Зевес
К вершине дикого Кавказа
Его цепями приковал;
Вран сердце грызть ему летал.
Кто от единого рассказа
Не цепенел, не трепетал?
И Вы трепещете, но что же?
В огне любезных мне очей

Я занял жизнь души моей.
За это мстили Вы мне тоже
И также рады мстить, ей-ей!
Но в жар краса меня не вводит,
Тяжелый опыт взял свое,
Я захожу в приют ее,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Вам лепечу я нежный вздор,
Увы! беру прельщенья меры,
Как он порою в храме том
Благоуханье жжет без веры
Пред сердцу чуждым божеством.

НЛ

32 Вран сердце грызть ему летал
44 Еще твержу любезный вздор

Изд. 1827

33–34 Но что ж? несчастного жалея,
Кто на Зевеса не роптал!
38–40 Чем дерзновение мое;
Но нет, утешьтесь, шутка водит
Моим проказливым пером

Изд. 1835

XXII. Цветок

(с. 34)

1–2 Порою утренней Людмила,
Держа в руке цветок
5–8 Не нужны мне дары богаты
За свежий мой цветок,
А кто приглянется — без платы
Получит мой цветок
18 При ней еще цветок
20–21 При ней еще цветок.
Услада дева повстречала
25–26 Он что же деве? — Он шутливо:
Спасибо за цветок!

Сор.

XXIV. «Сердечным нежным языком...»

(с. 35—36)

7 И сладострастных лобызаний

Изд. 1835

XXV. Языкову

(с. 36—37)

1—5 Плющом и гроздием венчая
Чело высокое свое,
Бывало муза молодая
С тобой разгульное житье
И удалую радость пела
7 То, забываясь, пламенела
15—16 Или багрянец вожделенья
29—30 Да со стыдом он в ней познает
Свою царицу и мою!

Автограф — Центральный государственный архив Татарской АССР

XXVI. «Он близок, близок день свиданья...»

(с. 37)

Ужели близок час свиданья!
Тебя ль, мой друг, увижу я!
Как грудь волнуется моя
Тоскою смутной ожиданья!
Родная хата, край родной,
С пелен знакомые дубравы,
Куда невинные забавы
Слетались к нам на голос твой —
Я их увижу, друг бесценной,
Что ж сердце вещее грустит?
Что ж ясный день не веселит
Души для счастья пробужденной?
С тоской на радость я гляжу:
Не для меня ее сиянье!
И я напрасно упованье
В душе измученной бужу.
Печаль все чувства утомила,
Мечтою мрачной болен дух;
Быть может, поздно, милый друг,

Меня и радость посетила:
Я наслаждаюсь не вполне
Ее пленительной улыбкой;
Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне!

НЗ

XXVII. «*Перелетай к веселью от веселья...*»
(с. 38)

2 Как от цветов бежит к цветам дитя

МВ

7 Что многие о милой Кате мыслят

Автограф ПД

XXVIII. «*Итак, мой милый, не шутя...*»
(с. 39)

Итак, беспечного досуга
Отвергнув сладостный покой,
Уж ты в мечтах покинул друга,
И новый путь перед тобой!
Настанет скоро день желанной,
И воин мой, противным страх,
Надвинув шлем, с мечом в руках
Летит на голос славы бранной.
Иди! — воинственный наряд
Приличен юности отважной.
Люблю я пушек гул протяжной,
Люблю красивый вахтпарад,
Люблю питомцев шумной славы.
Смотри,— сомкнулись в бранный строй;
Идут! — блестящей полосой
Горят их шлемы величавы,—
Идут. Вскипел кровавый бой!
Люблю их видеть в битве шумной,
Летящих в пламень роковой
Толпой отважной и безумной.
И вот, под тенью шатров,
Дружина ветреных героев
Поет за чашей славу боев

И стыд низложенных врагов.
Спеши же к ним, любовник брани,
Ступай, служи богине бед!
И к ней с мольбою твой поэт
Подымет трепетные длани.
Зовут! — лети в опасный путь.
Да идет мимо Рок-губитель!
Люби, рубись и вечно будь
В любви и в брани победитель!

Благ.

В сравнении с этим текстом редакция НЛ содержит следующие разночтения:

14 Смотри, сомкнулись в ратный строй
20 Толпой веселою и бурной
22—23 Дружины ветреных героев
Поют за чашей славу боев
32 В кипящей брани победитель!
9 И там в мундире щегольском

18—19 Люблю я марсовы шатры
(Хотя под ними, слава богу,
Не ночевал до сей поры)
21—22 Люблю военную тревогу,
Люблю бесстрашных, милый мой
29—30 Ступай, служи богине бед,
И к ней с мольбою твой поэт
После 31 Лети, настала череда!
Да идет мимо рок-губитель;
Люби, рубись и будь всегда
В любви и в брани победитель

Изд. 1827

XXX. «В дорогу жизни снаряжая...»
(с. 40)

7 И снами оными прогоны дорогие
Автограф ПД, «Невский альманах»

7 И снами теми роковые
Изд. 1884

XXXI. «Глупцы не чужды вдохновенья...»

(с. 41)

2—3 Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:

Изд. 1884

2—3 И им оно благоволит
Как и любимцам Аонид

Недошедший автограф — Изд. 1884, прилож., с. 30

XXXII. «Когда неопытен я был...»

(с. 41)

1—4 Слепой поклонник красоты
Наперекор моей судьбине,
В нее я веровал доныне
Ей нес я в дар мои мечты

ПЗ

1—4 Слепой поклонник красоты,
Любви и неги сын беспечный,
Я нес ей в дар восторг сердечный
И сладострастные мечты
10—11 Покинув знамя Купидона
Я променял альков любви
16 Мне поцелуй волшебных уст!

Автограф ЦГАЛИ

XXXIII. Г⟨неди⟩чу

(с. 42—44)

Души признательной всегдашний властелин,
Художник лучший наш и лучший гражданин,
Ты даже суетной забаве песнопенья
Общеполезного желаешь назначенья!
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов.
Любовь порочная рождает ли участье?
Бесславны в ней беды, еще бесславней счастье!
Безумна сих певцов новейшая орда,
Свой стыд поющая без всякого стыда!
Возвышенную цель Поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде, не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь, оставя мирный слог
И едкой желчию напитывая строки,
Сатирою восстать на глупость и порок?
Не тою, верю я, в какой иной певец,
Француза Буало приняв за образец,
Поклонник набожный его бессмертной славы,
По-русски галльские осмеивает нравы.
Устава нового держась в стихах моих,
Пусть глупость русскую дразнить я буду в них.
Что будет пользы в том? А без особой цели,
Согласья легкие затейливой свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем я полк врагов создам себе шутя?
Страшуся наперед я злобы их опасной
Полезен обществу сатирик беспристрастной!
Дыша любовию к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им;
Упреков и улик язвительным орудьем —
Клеймит бездельников забытых правосудьем
Иль едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;
Личину чуждую срывая с человека,
Являя в наготе уродливости века,
Он исправляет их; и как умом ни быстр,
Едва ль полезней нам юстиции министр.
Все так, но, к обществу усердьем пламенея,
Я смею ль указать на всякого злодея?
Гражданского глупца позволено ли мне
С негодным рифмачом цыганить наравне?
И справедливо ли во смысле прямо здравом,
Кому-либо из нас владеть подобным правом?
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки —
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я устрашу, кому не страшен кнут?
Кого и божий гнев в заботу не приводит?

Наместник плох умом и явно сумасбродит;
Положим, что в стихах скажу ему я так:
«Ты добрый человек, но слушай: ты дурак!
Однажды с разумом вступя в очную ставку,
Для общей выгоды нельзя ль подать
в отставку?» —
Уж он готовился обдумать мой совет;
Но оду чудаку поднес другой поэт,
Где в двадцати строфах взывается бесстыдно,
Сколь зорок ум его, сколь око дальновидно!
Друзья и недруги, я спрашиваю вас:
Кому охотнее поверит он из нас? —
Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет свой корабль неверностям морей;
Из платы, сладкую отвергнувши дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных возвышенный поэт;
Но за бесстрашное пороков обличенье
Какое, мыслишь ты, мне будет награжденье?
Не слава ль громкая — талантом я убог!
Признательность людей? — людей узнать я мог!
Не обольстит меня газет высокопарность,
Где встречу я порой сограждан благодарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От века славного оставшийся один,
Но смело дух его хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспаривать царя,
Когда прекрасному влечению послушный,
Умел ему внимать монарх великодушный,
Что мыслили о нем сограждане тогда?
Уж он витийствовать радехонек всегда!
Но столь торжественно не попусту хлопочет,
Свой дар ораторский нам выказать он хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица.
Так лучшим подвигам людское развращенье

Придумать низкое умеет побужденье;
Так исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унизить до себя;
Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клевещет.
Признаться, в день сто раз бываю я готов
Немного постращать Парнасских чудаков,
Сказать хоть на ухо фанатикам журнальным:
Срамите вы себя ругательством нахальным.
Не стыдно ль ум и вкус коверкать на подряд
И травлей авторской смешить гостиный ряд?
Россия в тишине, а с шумом непристойным
Воюет инвалид с Архивом беспокойным;
Сказать Панаеву: не музами тебе
Позволено свирель напачкать на гербе;
Сказать Измайлову: болтун еженедельной,
Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной,
И в нем ты каждого убогого умом
С любовью жалуешь услужливым листком.
И Цертелев блажной, и Яковлев трактирный,
И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный,
С тобою заключив торжественный союз,
Несут к тебе плоды своих лакейских муз;
Тобой предупрежден листов твоих читатель,
Что любит подгулять почтенный их издатель;
А я тебе скажу: по мне, пожалуй, пей,
Но ум не пропивай и дело разумей.
Меж тем иной из них, хотя прозаик вялой,
Хоть плоский рифмоплет — душой предобрый малой!
Измайлов, например, знакомец давний мой,
В журнале плоский враль, ругатель площадной,
Совсем печатному домашний не подобен,
Он милый хлебосол, он к дружеству способен:
В день Пасхи, Рождества, вином разгорячон,
Целует с нежностью глупца другого он;
Панаев в обществе любезен без усилий.
И, верно, во сто раз милей своих идиллий.
Их много таковых — за что же голос мой
Нарушит их сердец веселье и покой?
Зачем я сделаю нескромными стихами

Их из простых глупцов сердитыми глупцами?
Нет, нет! мудрец прямой идет путем иным.
И, сострадательный ко слабостям людским,
На них указывать не станет он лукаво!
О человечестве судить желая здраво,
Он страсти подавил, лишающие нас
Столь нужной верности и разума, и глаз.
В сообщество людей вступивший безусловно,
На их дурачества он смотрит хладнокровно,
Не мысли, чтоб могли кудрявые слова
В них свойства изменить и силу естества.
Из нас, я думаю, не скажет ни единой
Осине: дубом будь, иль дубу: будь осиной;
Зачем же: будь умен — он вымолвит глупцу?
Покой, один покой любезен мудрецу.
Не споря без толку с чужим нелепым толком,
Один по-своему он мыслит тихомолком;
Вдали от авторов, злодеев и глупцов,
Мудрец в своем углу не пишет и стихов.

Недошедший список.— «Весы», 1908, № 5, с. 53

В сравнении с этим текстом редакция списка ГПБ содержит следующие разночтения:

44 Кому-нибудь из нас владеть подобным правом
105 Сказать Аркадину: не музами тебе
107 Сказать Сапайлову: болтун еженедельной
111–112 И Фертелев блажной, и Фофанов мудреной,
И наглый Пасквинель, и Арфин заклейменный
121–122 Сапайлов, например, знакомец давний мой,
Трактирный весельчак, ругатель площадной
127 Аркадин в обществе любезен без усилий
134 И, снисходительный ко слабостям людским,
138 И верности ума, и правильности глаз.

В сравнении с недошедшим списком, опубликованным в «Весах». Изд. 1827 содержит следующие разночтения:

1–4 Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных;
7–10 *отсутствуют*
17–27 Спокойный, кроткий нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;

Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И, звуки легкие затейливой свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.
31—32 То укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье;
33 То едкой силою забавного словца
35—38 Он нравов опекун и вместе правды воин.
39—44 Все так; но кто владеть пером его достоин?
52 Архонт убог умом и явно сумасбродит;
53 Положим, сгоряча скажу ему я так:
59 Где в двадцати строфах твердит ему бесстыдно,
61 Друзья и недруги! скажите, в добрый час
66 Вверяет корабли случайностям морей;
67 Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
71—76 Но рвенью моему, что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчичей привесть,
Я благодарность их мечтал бы приобресть
Но, право, смысла нет в сем слове: благодарность,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
78 От века сих вельмож оставшийся один,
84 Внимать ему любил монарх великодушный,
85—88 Из благодарности, о нем у тех и тех
Какие толки шли? — «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
92 Придумать силится дурное побужденье;
99 Сказать, хоть на ухо, журнальным забиякам:
100 Утихнуть бы пора печатным вашим дракам!
101 Не стыдно ль ремесло бесславить на подряд
103 Когда в отечестве все тихо и спокойно,
104 Одни писатели воюют непристойно!
107 Сказать Паясину: болтун еженедельной!
110 С любовию даришь услужливым листком.
111—112 *отсутствуют*

120 Хоть жалкий рифмоплет, душой предобрый малый.
121 Шушилов, например, знакомец давный мой,

122 В журнале пошлый шут, ругатель площадной,
125 В свой имянинный день, вином разгорячон,
128 И, верно, во сто крат милей своих идиллий.
129 Их много таковых. Зачем же голос мой
133—143 Нет, нет! разумный муж идет путем иным
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
145—150 Меж тем, как странны мы! меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

---

14 И звуки легкие затейливой свирели
52—53 От века сих вельмож оставшийся один,
Но смело дух его хранивший в веке новом

Изд. 1835

XXXIV. «Неизвинительной ошибкой...»

(с. 45)

13—14 В толпе соперников моих?
Еще ли нужно размышленье
17 Но с негой страстной поклоненье

ПЗ, Изд 1827

12 И строгой быть, как прежде были

Изд. 1884

XXXV. «Дало две доли Провиденье...»

(с. 46)

6 Кто бодр душою, бодр умом
28 Для боли тяжкой прежних ран

НЛ, Автограф ПД

6 Кто сердцем бодр и бодр умом

Изд. 1827

15 Вы, знанье бытия принявшие

Автограф ПД

XXXVI. «Один, и пасмурный душою...»
(с. 47)

1–3 Один с любимою мечтою
В светлице я сидел,
Свистала буря надо мною
13 Грущу сегодня — завтра тоже,
19 И легкомысленная Лила
23 Оперся на руку главою
27 И звучной песнью громкий петел

Сор.

1 Один за чашей пуншевою

РИ, «Рецензент»

2 В светлице я сидел

РИ

3 Свистела буря надо мною

РИ, «Рецензент»

15 Давно ль покинул вас... и что же?

РИ

После 16 Опустошенный смертью злобной,
Печален дом отцов,
И заменяет плач надгробный
Веселый шум пиров

РИ, «Рецензент»

22 Знать, горе мой удел

РИ

22 Знать, горе мне удел

«Рецензент»

2 Я близ окна сидел
8 Мечта в душе моей

Изд. 1827

7 О дальнем детстве пробудилась
14 Меж тем бледнеет свет

Изд. 1884

XXXVII. «В борьбе с тяжелою судьбой...»

(с. 48)

3—8 Души холодною тоской
Стихи холодные дышали.
Когда б в то время знал я вас,
Равно страдала бы, Темира,
Душа моя, но во сто раз
Была бы пламеннее лира

Автограф ПД, «Урания»

3—4 Холодные стихи дышали
Души холодною тоской

Изд. 1884

XXXVIII. Лутковскому

(с. 48—49)

15—16 Вы мчитесь грозно — дым столбом!
Оружий блеск! оружий гром!
Разбитый враг покрыт стыдом,
25 Счастливец! ты защитил их
28—30 Враги повсюду, милый воин,
Они поверены судьбе,
Благому небу и тебе,—
Но ты ль их веры не достоин!
Ты сна не знаешь,— сквозь туман
Неверный день едва проглянул,
Уж витязь мой на вражий стан
После 44 А я, любезный командир,
Молвой забытый, о досада!
Ношу свой унтерский мундир
Для щегольства и для парада!

ПЗ

15 Вы мчитесь... блеск, огонь и гром!
27 Толпа красавиц городских
43 И ты не раз увенчан был

Изд. 1884

XXXIX. «Когда печалью вдохновенный...»

(с. 50)

1—4 Когда печаль свою поет
Страдалец, ею вдохновенный,

В чьем сердце отзыв умиленный
Своей он лире не найдет?
8 Плач неестественный досаден
14 В борьбе с враждебною судьбою
20 И чтим людскими племенами
22—24 А ваша муза выписная
Питомцы вымышленных бед
Растрогать чающая свет,
Печаль заемную лаская,—
В его догадливых глазах

МВ, Автограф ГПБ

XL. «Нет, обманула вас молва...»
(с. 51)

7 Молился новым красотам,

«Северная звезда»

XLI. «Поверь, мой милый! твой поэт...»
(с. 51—52)

4 На пламенной заре ты юности прекрасной

ПЗ, Изд. 1827

13—15 Ей видеть хочется начальное волненье
Души неопытной твоей,
И счастлива она, когда заметит в ней
17—18 Тебе ль завидовать смешной моей судьбе,
Что, что я приобрел, красавиц воспевая?

ПЗ

XLII. «Тебя из тьмы не изведу я...»
(с. 52—53)

О смерть! твое именованье
Нам в суеверную боязнь:
Ты в нашей мысли тьмы созданье,
Паденьем вызванная казнь!
Непонимаемая светом,
Рисуешься в его глазах
Ты отвратительным скелетом
С косой уродливой в руках.
Ты дочь верховного Эфира,

Ты светозарная краса:
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
Когда возиикнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храпенье Всемогущий
Его устройство поручил.
И ты летаешь над созданьем,
Забвенье бед везде лия
И прохлаждающим дыханьем
Смиряя буйство бытия.
Ты фивскнх братьев примирила,
Ты в неумерепной крови
Безумной Федры погасила
Огонь мучительной любви...
Ты предстаешь, святая дева!
И с остывающих ланит
Бегут мгновенно пятна гнева,
Жар любострастия бежит.
И краски жизни беспокойной
С их певоздержной пестротой
Вдруг заменяются пристойной
Однообразной белизной.
Дружится кроткою тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.
Недоуменье, принужденье,
Условье наших смутных дней:
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

МВ

В сравнении с этим текстом редакция автографа ГПБ содержит следующие разночтения:

2 Нам в закоснелую боязнь *
26 И с упоительных ланит *

1–6 Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,

Не ополчу ее косой.
О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
22 Чтоб не покрыл гигантский лес

Изд. 1884

XLIII. «Как много ты в немного дней...»
(с. 54)

6—9 Как покаянье плачешь ты,
И как безумье ты хохочешь

Изд. 1827

8 *отсутствует*

Изд. 1835

XLVI. «Незнаю? Милая Незнаю!..»
(с. 55)

1—2 Не знаю! милое не знаю,—
О, с кем могу сравнить тебя?

НЗ, НЛ

XLVII. Богдановичу
(с. 56—59)

5—6 И, надоев живым посланьями моими,
Несчастным мертвецам теперь скучаю ими.
19—21 Всего усерднее поют свою тоску:
На свете тошно жить, так бростеся в реку!
Иной бы молвил им. Увы, не в этом дело!
39—45 И видим мы его в пример себе и срам,
Непонимающим бессмысленным писцам;
Я думаю, в садах, где вечно зелень блещет,
49—51 Екатерина, двор, семьею торопливой
Так лестно встретили, из Душеньки игривой
Отрывки целые читая наизусть!
59—62 Судей особенных на то имеем мы,
Свой вкус услужливый пускающих в наймы
И, способов других не зная к пропитанью,
Торгующих у нас хвалой своей и бранью;
64 Голодным бешенством внушенный приговор
72 Избрать в советники кота иль петуха

78 Как нежный Батюшков, Жуковский живописной
88 Между мохнатых пел поверье старых дней
91–94 В замену красоты даю стихам моим
Я силу истины — а в них на блажь людскую
Не ловко, может быть, но смело негодую
96 Я славил на заре моих цветущих дней

СЦ

20 И как-то в мире сем все очень не по них
36 У века хилого испортилось чутье
49–50 Она, друзья ее, условясь потаенно,
Так лестно приняли, ему попеременно
98–99 Другие времена — другие упражненья;
Теперь зрелей мой ум, черствей душа моя,

Изд. 1827

39 Венцы свои дарил и прост, и толковит
86 Не могут победить высокого влеченья

Изд. 1884

XLVIII. «Очарованье красоты...»

(с. 60)

5 От дольной жизни, как луна

СЦ

2а В тебе не странно нам
б Твоей во благо нам
5 От дольной жизни, как луна,
7а И при тебе душа полна
б С тобой, как ты, душа полна
8а Священной тишиной
б Святою тишиной
в Прекрасной тишиной
г Высокой тишиной

Автограф ПД

L. «Идиллик новый на искус...»

(с. 62)

1 Певец какой-то на искус

Автограф ПД

LI. «Так! отставного шалуна...»
(с. 62—63)

1—13 Отставного шалуна
Вновь шалить не убеждайте,
Иль златые времена
Юных шалостей отдайте!
Изменяют годы нас,
Заодно и наши нравы:
От души люблю я вас,
Но не прежние забавы.
Вакх, увенчанный плющом,
Со мной по улицам не бродит
И, шатаясь вечерком,
К нашим нимфам не заводит.
Я гулякам запер дверь.
17—20 В первом буйстве юных дней
Неудержны наши страсти:
И тогда мы не в своей,
В неоспоримой их власти.

Копия А. Л. Баратынской (ПД)

LII. «По замечанью моему...»
(с. 64)

1—5 Альбом, заметить не грешно,
Весьма походит на кладбище:
Он точно так же, как оно,
Всем отворенное жилище;
Он также множеством имен
9—10 Идет с надеждой жизни вечной,
С боязнью строгого суда

«Галатея»

1—4 Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище,

Изд. 1884

13—14 И знаю я, и понимаю
Я все ничтожество мое

Недошедший автограф.— Изд. 1884, прилож., с. 30

LIII. «Шуми, шуми с крутой вершины...»
(с. 65)

5–12 Я слышу грохот вод твоих:
Свистя, сливает ветр порывный
Свой вопль глухой и заунывный
С однообразным шумом их.
С каким-то смутным ожиданьем
В их говор вслушиваюсь я;
Куда-то вдаль душа моя
Летит надеждой и желаньем
16 Музыку важную твою.

Cop., Автограф ЦГАЛИ

LIV. «Она придет! к ее устам...»
(с. 66)

3 Приют надежный будет нам
8 Мы ими нежности вредим

«Урания»

LVI. Элизийские поля
(с. 67—68)

12 Веселой юпости моей!
15–16 И там я буду от безделья
Хвалить забавы и вино
18 И там порой на тихой лире
22–27 О Д... слезы мпе не нужны;
Любим я жребием — и весь
Я не умру ни там, ни здесь:
Со мною музы были дружны.
Не жалки мне земные дни
У тихих вод спокойной Леты
47 И вам, известною порой
49 Велит оставить мир земной

ПЗ

2 И каждый час готовлюсь я
40 А к вам прошенье об одном:

Изд. 1827

27 У струй, где нежатся поэты,

Изд. 1884

LVII. «Сей поцелуй, дарованный тобой...»
(с. 69)

5–7 Случайным сном забудусь ли порой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Блаженствую, обманутый мечтой,
Но в тот же миг встречаю пробужденье,
Обман исчез, один я, и со мной

Благ.

LVIII. «Тебе на память в книге сей...»
(с. 69—70)

Пускай измаранный листок
Тебе напомнит о поэте!
Кто знает, друг, какую в свете
Ему тропу назначил рок?
Увы, с растерзанной душою
Не раз я милых покидал
И руку друга пожимал
В прощанье трепетной рукою!
Ты помнишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали,
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали?..
Ручей покинул я родной,
Побрел пустынною тропою;
Провесть, быть может, и с тобою
Мне суждено лишь день-другой!
Быть может, друг, путеводимый
Своей блуждающей звездой,
Я кончу век в стране чужой
И не увижу кров родимый!
А ты, к отеческим полям
С полей победы возвращенный,
Хваля покой уединенный,
Сожжешь мастики в честь богам.
Но где ж певец тобой любимой? —

Он совершил судьбы завет,
Судьбы враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи его найдешь —
Залог простой, но дружбе милой,—
Прочтешь с улыбкою унылой
И тихо лист перевернешь.

СО

В сравнении с этим текстом редакция Сор. содержит следующие разночтения:

1 Пускай измаранный листок
17 И может быть путеводимый

1—9 Земляк в стране чужой, суровой,
Сошлись мы вновь, и сей листок
Ждет от меня заветных строк
На память для разлуки новой.
Ты любишь милую страну

Копия А. Л. Баратынской (ПД), Изд. 1884

18 А ты увидишь дом отцов

Изд. 1884

LX. «Окогченная летунья...»
(с. 72)

2 Эпиграмма-хлопотунья

МВ

LXI. Н. И. Гнедичу
(с. 73—76)

19 Искусства пылкие и благодарный труд
21 Податель счастья — труд, искусства — наслажденья.
46 Напев томительных протяжных песен финна
55 Судьбе покорствовать учуся я моей;
62—64 На час обворожен, на час обманут ими,
Дышу свободно я и, лиру взяв мою,
И дружбу, и любовь, и счастие пою.
71—72 Кто рад своей казне, кто псарне рад своей,
Кто наслаждается, гоняя голубей...

76–77 Там к хорам чистых дев прислушивался я
И сердцу уступил — влюбился я в искусство
79 И презря сборище взыскательных судей,
87 Ни песни мирные, ни резвые мечты
92 Увидеть бы хотел я пышный Петроград
94–95 В кругу друзей искусств и неги просвещенной
Апелла, Фидия порою навещать

Копия ГПБ

1–4 Столицей шумною в изгнаньи позабыт,
Я не забыл тебя, любимец Аонид!
8 Не праздной суеты, прославленной толпой,
19–21 Искусства пылкие и деятельный труд,
Заняв, украсили свободный твой приют:
Живитель сердца — труд, искусства — наслажденья!
28 Уже отвыкнувшим от грубого труда.
32–38 Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпленья,
Не постигает он души употребленья;
В дремоту грубую всечасно погружен,
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он,
Клянет он дни свои и ропщет он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.
41 И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
45–46 Залива бурного свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна,
53 Всемирных перемен читаю в них причины;
67–69 Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет желаю дать.
63 Дышу свободнее — и лиру взяв мою,
76 Там к хорам чистых дев прислушивался я;
91 И тихой грустию повременно объят,
93–94 Вести желал бы вновь мой век непринужденной
В кругу друзей искусств и неги просвещенной;
99 За то не в первый раз взываю я к Судьбам:

НЛ

1–3 Так! для отрадных чувств еще я не погиб,
20–21 Заняв, украсили свободный твой приют
Живитель сердца труд; искусства наслажденья.

32–38 Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпленья,
Не постигает он души употребленья,
В дремоту грубую всечасно погружен
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он
На собственных пирах вздыхает он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.
41–42 И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать свое уединенье.
45–46 Чужих безбрежных вод свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна
53 Всемирных перемен читаю в них причины,
55 Учусь покорствовать судьбине я своей
57–59 Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
63 Дышу свободнее, и лиру взяв свою,

Изд. 1827, Изд. 1835

76 Там к хорам чистых дев прислушивался я,

Изд. 1827

100 Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!

Изд. 1827, Изд. 1835

LXIII. «Прощай, отчизна непогоды...»

(с. 77—78)

2–3 Угрюмая страна,
Где мрачен вид нагой природы,
5 Где солнце пасмурно сияет
13 Где шумным светом позабытой
15 Своею музой домовитой
После 16 Порой печальны песни были:
Хвала, о музы, вам —
Вы благосклонные любили
Внимать моим струнам!
24–27 И шум немолчный их
Я вспомню с грустным сладострастьем
Пустынную страну,

Где я, в размолвке с милым счастьем,
29 Но где порой властитель неба

Сор.

LXIV. «Чувствительны мне дружеские пени...»

(с. 78)

3—8 И, признаюсь, закоренелый в лени,
Не каюся: люблю мой праздный сон.
Охота петь владеет слабо мною,
Она прошла, как первая любовь,
Желал бы я воспламениться вновь,
Но утомлен и сердцем и душою
10 Я заключил с бездействием союз

НЛ, Автограф ЦГАЛИ

LXV. «Я посетил тебя, пленительная сень...»

(с. 80—82)

11 Хрустела под ногой морозная трава
16 А прошлых дней воспоминанья

«Библиотека для чтения»

50—51 Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безыменной неги жаден,
53 Кто, преклоняя слух к таинственному шуму,

Изд. 1884

65 Где я наследую бессмертную весну

Изд. 1835

LXVII. «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...»

(с. 84)

1 Напрасно мы, Делий, мечтаем найти
10 Томиться болезненной жизнью
22 Сияя красою над нами

Сор.

LXVIII. «О своенравная София!..»
(с. 85—86)

1 О своенравная Аглая!
3—4 Хотя, другим не подражая,
Довольно редко вас хвалю.
9—11 Где для глупца или невежды
Слов не размериваем мы
19 И притеснительную моду
33 От упоения слепого

ПЗ, Изд. 1827, Изд. 1835

8 Ни на безумье, ни на ум;
13 И счастье будущей зимы
16 Рассудку, шалости, уму
32 Самолюбивее другого

ПЗ

8 Нам ни на сердце, ни на ум,
12—13 Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы
16 И остроумью, и уму,
32—34 И щекотливее другого
От упоения слепого
Спасти рассудок свой желал.

Изд. 1827, Изд. 1835

LXX. «В своих стихах он скукой дышит...»
(с. 87)

1—2 Его творенье скукой дышит
На бедных нас наводит сон

Благ.

2 Их слушая, не спи, а сильно клонит сон

Изд. 1827

LXXI. «Рука с рукой Веселье, Горе...»
(с. 87)

4—5 Противнонравные друзья
Лишь перекресток увидали
7 Недолго розно поблуждали

МТ, Автограф ПД

LXXII. «Решительно печальных строк моих...»
(с. 88—89)

Я силился счастливой старины
Возобновить счастливые мечтанья;
Взывал к тебе, взывал от глубины
Души моей, исполненной страданья.
Вотще, увы! печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежностию их
И презрела мне сердце успокоить.
Виновен я — и в памяти твоей
Не оживу! Прощенья у жестокой
Не вымолю! Я был неверен ей,—
Нет жалости к тоске моей глубокой,
Вниманья нет к мольбам любви моей.
Виновен я! Я нежные признанья
Твердил сто раз красавицам другим;
Я к ним спешил на тайные свиданья,
Я расточал живые ласки им:
Но все дышал Доридою одною,
В объятьях их мечту о ней тая;
В объятьях их был верен ей душою
И отдавал им только чувства я.
В собраниях, веселью посвященных,
На празднествах столичных богачей,
При пламени бесчисленных свечей,
При гуле струн, смычками оживленных,
Как бешеный в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим, объемля жадной дланью
Их стройный стан: так, в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
Принадлежал я новому мечтанью.
Но к ним ли я любовию пылал?
Нет, милый друг, когда в уединенье
Себя потом я строго поверял,
Их находя в моем воображенье,

Тебя одну я в сердце обретал.
40 Доверчивых вертушек обольщая,
С восторгом пел я чувство к ним мое;
Но жар любви, но голос я ее
Как находил? — тебя воображая!
Не внемлешь ты и, мук моих жадна,
По правилам прелестниц хладнокровных,
Все памятью обид своих полна.
Прости ж навек; но знай, что двух виновных,
Не одного — найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных!

СЦ

3 Не тронулась ты нежным слогом их
30—31 Виновен я: послушных без ужимок
Призванию проказы молодой

Изд. 1827

27 Сердечную я совесть вопрошал:
29 Тебя одну в душе я обретал!

Изд. 1869

LXXIII. «Ты ропщешь, важный журналист...»

(с. 89)

1—2 Не любишь, важный журналист,
Ты наше модное маранье;

«Литературный Музеум»

LXXIV. Дельвигу

(с. 90—91)

3—4 Дай руку мне,— я чувствую, мы оба
Родилися под тою же звездой.
Нас не вотще судьба соединила,
Суровая двух добрых полюбила
И, слабая от бедствий их спасти,
Опорою друг другу быть судила,
Чтоб с ней самой могли борьбу вести.
От детских дней знакомы мы с бедами,

Казалося, у люльки ждал нас рок:
Что ж гневный он свершить над нами мог?
И не всегда ль он побеждался нами?
6 На дружбу мне ты руку дал впервые
И, думая: по сердцу мы родные,—
Стал навещать мой скромный уголок?
9—10 Не ты ль тогда мне бодрость возвратил?
Не ты ль душе повеял жизнью новой?
12 Деля досуг меж ними и тобою,
15—18 Когда ты сам носил в душе печаль,
Кому вверял признанья в грусти тайной,
Не мне ль, скажи? и дружба не всегда ль
Тебя ждала с отрадой обычайной?
36—37 Участие в судьбе моей тяжелой.
Что ж страшно мне на жизненном пути

ПЗ

LXXV. «*Мы пьем в любви отраву сладкую...*»

(с. 92)

8 Он душу, обнятую им

Автограф ПД

14 Тебе предаться мог бы вновь

Автограф ПД, СЦ

LXXVI. «*Приятель строгий, ты не прав...*»

(с. 92—93)

1 Нет, нет, Булгарин! ты не прав
5—6 Из своеволия страстей
С себя мы правил не слагали
13—14 Младую жизнь боготворили
В кругу веселых шалунов
16—17 Мы пели негу, шум пиров,
Не замечая крикунов
23—24 Душа приметно отцветала,
В усталом сердце пламень гас
26 Беспечных Опытность застала
29 И, пред суровой онемев,

После 30 Так разрезвившихся детей
Средь их младенческих затей
Приводит вдруг в остолбененье
Со строгой важностью очей
Педанта школы появленье
33 Смиренно жизнь свою ведем

СО

1 Нет, нет! мой ментор, ты неправ,
5 Из своеволия страстей
После 30 Так, расшалившихся детей
Среди веселых их затей
Приводит вдруг в остолбененье
С угрюмой важностью очей
Германца дядьки появленье

Изд. 1827

LXXVII. К‹нягине› З. А. Волконской

(с. 94—95)

12 Где в юной, чистой красоте
22 Стесняет сердце поневоле!
31 Груди стесненной тяжело

«Подснежник»

LXXVIII. «Не бойся едких осуждений...»

(с. 95)

3—4 Не раз в чаду их пылкий гений
Сном непробудным засыпал

Автограф ГПБ

LXXX. «Поэт Писцов в стихах тяжеловат...»

(с. 96)

Хоть глуповат подчас Дамон,
Люблю я милого собрата;
Не виноват пред светом он,—
Пред ним природа виновата!

НЗ

1 Поэт Графов в стихах тяжеловат

Изд. 1827

LXXXI. «Чтоб очаровывать сердца...»
(с. 97—98)

1–4 Кто жаждет славы, милый мой!
Тот не всегда себя прославит:
Терзает Комик нас порой,
Порою Трагик нас забавит.
7 Равно и Притчею и Одой,
9 Что не даровано природой.
11–13 Утех любовник постоянной,
Толпой красавиц окружен,
С главою, розами венчанной,
Веселой пел бокалов звон,
Смеясь над мудростью жеманной
15 Для гармонической услады
19–24 И волокиту-старика
Венцом бессмертья увенчали.
Неисповедим Фебов суд
К чертогу муз, к чертогу славы
Одних ведет упорный труд,
Других ведут одни забавы!
34–35 Приятно петь желаешь ты?
Когда влюблен — бери цевницу!
39 С бессмертной музою Омира
41 Твоя возвышенная лира

РИ

45 Но полюби ты Феба прежде

Изд. 1884

LXXXII. Разуверение
(с. 99)

9 Тоски души моей не множь

Автограф ЦГАЛИ

10–11 Прелестным призраком былого;
Воображения больного

Сор.

11 Друг попечительный, больнова

Изд. 1827, Автограф ЦГАЛИ

LXXXIII. А. А. Ф...ой

(с. 100—101)

1—2 Вы ль дочерь Евы, как другая,
Вы ль перед зеркалом своим
17—21 *отсутствуют*

Изд. 1884

LXXXIV. «Живи смелей, товарищ мой...»

(с. 101)

4 Пренебрегай молвы болтливой
10—11 Что жизнь? — медлительный недуг,
Условный дар скупого неба;
Врата туманного Эреба
Для всех отверсты, милый друг!
Поглотит всех немая Лета
14—15 И в шумном свете шалуна,
И в пустыне анахорета
17 Лови пролетные мгновенья:
22 Зачем чиниться с жизнью нам,

СО

LXXXV. «Не трогайте парнасского пера...»

(с. 102)

2 Не трогайте, смазливые вострушки
МТ, Автограф в письме к Н. В. Путяте (ЦГАЛИ)

LXXXVII. «Хвала, маститый наш Зоил!..»

(с. 103)

3а Тебя счастливым вдохновеньем
6 Тебя счастливыми струнами

Автограф РОБЛ

3 Тебя счастливыми струнами

МТ

5—6а И ныне Пушкина бесим
Ты лучезарным восхожденьем
6 Вот бесит Пушкин: как любим

Ты дальновидными судьбами

Автограф РОБЛ

6 Ты дальновидными судьбами

МТ

LXXXVIII. Подражание Лафару

(с. 104)

1 Заснули рощи над потоком,

НЗ

1 Дремала роща над потоком;

СО

2 Легла на холмы тишина,
Дремало все,— но тщетно сна
Я ждал на ложе одиноком.
Сыны души моей больной,
Сыны полуночного бденья

НЗ, СО

3 Вокруг, мешаясь с темнотой

НЗ

3 Кругом неясною толпой

СО

4 Мелькали смутные виденья

НЗ, СО

5—7 И так исчезли, думал я,
Весенних лет мечты златые,
Часы приспели роковые

НЗ

8—9 И вянет молодость моя!
Невольник истины угрюмой

НЗ, СО

10 От неги с праздною душой

НЗ

12 Мне заменится хладной думой

НЗ, СО

13 И мертвой сердца тишиной
16—18 Об чем вздыхаешь, молвил он,

Об чем грустишь, неблагодарной?
Оставь печальные мечты

НЗ

20 Еще младенец сердцем ты;

НЗ СО

LXXXIX. «Я безрассуден — и не диво!..»
(с. 105—106)

30 Иль все досель в безумном сне
47 Останусь я в углу моем

ПЗ

51 Шутить с любовью, как она
55 Мне не пошлет в отраду рок

Изд. 1827

XC. Д. Давыдову
(с. 107)

5 Пока ценю я честь прямую
7—8 Когда десной пожал десную
Давыдов радостному мне

МТ

1—3 Пока с восторгом я внимаю
Повествованью славных дел,
Ношу любовь к родному краю
9 О ты, который в дым сражений
11—12 И гласом пылких песнопений
Сердца томил и волновал!
18—19 В том лирой Фебу дорогой,

Изд. 1835

7 В который дружеской рукою
14 И трепетать ему не лень

Изд. 1884

XCI. «Твой детский вызов мне приятен...»
(с. 108)

После 4 Что нужды в том? утешься, Лида!
Ты без учености мила,
И все мы знаем, что Киприда

В Цитере школ не завела!
Тебе ль заняться важным чтеньем?
Читать не любит Купидон:
Всегда за книгой дремлет он
И тяготится размышленьем.
Его пример тебе закон

СО, Недошедший автограф — Ак. (I, 24—25)

7 В веселый час рука с рукой

Автограф

7 На мураве рука с рукой

Изд. 1884

14 Воскликновеньями живыми

Изд. 1827

19—28 Питомец Муз равно безгласен
В толпе вертушек молодых.
И верь, мой друг, в мечтах своих
Он был бы странен и не ясен.
Душой высокое любя [1],
Он воздаянья ждет от Феба
И дар святой благого неба
Хранит для муз и для себя

СО, Автограф

XCII. «Взгляните: свежестью младой...»

(с. 109)

1—4 И в осень лет красы младой
Она всю прелесть сохраняет.
Старик крылатый не дерзает
Коснуться хладной к ней рукой

Благ.

XCIII. «Притворной нежности не требуй от меня...»

(с. 109—110)

9—37 Спокойна будь: я не пленен другою;
Душой моей досель владела ты одна;

[1] *В автографе:* Одно высокое любя

Но тенью легкою прошла моя весна:
Под бременем забот я изнемог душою,
Утихнуло волнение страстей,
Промчались дни; без пищи сам собою
Огонь любви погас в душе моей.
Верь, беден я один: любви я знаю цену,
Но сердцем жить не буду вновь,
Вновь не забудусь я! Изменой за измену
Мстит оскорбленная любовь.
Предательства верней узнав науку,
Служа приличию, фортуне иль судьбе,
Подругу некогда я выберу себе
И без любви решусь отдать ей руку,
В сияющий и полный ликов храм
Обычаю бесчувственно послушной
Введу ее, и деве простодушной
Я клятву жалкую во мнимой страсти дам...
И весть к тебе придет; но не завидуй нам:
Не насладимся мы взаимностью отрадной,
Сердечной прихоти мы воли не дадим,
Мы не сердца Гимена связью хладной,—
Мы жребий свой один соединим.
Прости, забудь меня; мы вместе шли доныне;
Путь новый избрал я, путь новый избери,
Печаль безмолвную рассудком усмири,
Как я, безропотно покорствуя судьбине,
39–40 И слишком ветрено в младые наши лета
Даем нескромные обеты,

ПЗ

3 Ты права, в нем уж нет небесного огня

Недошедший автограф — К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч. М.; Л.: Academia, 1934, с. 465

33 Мы только жребий свой соединим

Изд. 1884

XCIV. Авроре Ш......

(с. 111)

1–4 Соименница Авроры,
О царица красоты!
Не сама ль Аврора ты?

Для тебя все наши хоры
И куренья и цветы!

Изд. 1827. Автограф ПД

XCV. «*Чудный град порой сольется...*»

(с. 111)

2 Из блестящих облаков

«Радуга»

2 Из румяных облаков

Недошедший автограф.— Ак. (I, 113)

XCVI. «*Я не любил ее, я знал...*»

(с. 112)

1–8 Я не любил ее, я ведал, что другая
Нужна для счастья моего,
Зачем же в ней искал его,
Роптанью сердца не внимая,
Ее восторженной хвалой
Зачем стихи мои звучали
И малодушно возвещали
Ее владычество и жар безумный мой?
16–17 Приветствуем его с растроганным лицом,
В восторге жалком изливаем
21 Бессильным разумом своим

Недошедший автограф.— Н. Сушков, Воспоминания о Московском университетском благородном пансионе. М., 1848, с. 58

XCVII. *Из А. Шенье*

(с. 113)

4 Гляжу с любовию на сладкую могилу

Недошедший автограф.— Ак. (I, 272)

6 И цепи отрясти я сам себя молю

СЦ

XCVIII. *«Взгляни на звезды: много звезд...»*

(с. 114—115)

13—15 В звезде любезной чувство есть
И с думою глядит
И взору шлет ответный взор
17 И с милой звездочки своей

Автограф ПД, СЦ

17 С нее в торжественную ночь

Изд. 1827

21—22 Себе звезду избрал ли ты
В безмолвии ночном?

СЦ, Изд. 1827

C. *«Пора покинуть, милый друг...»*

(с. 116—117)

5—6 Прошла пора слепых мечтаний,
И мы лишились наших прав
11 Теперь ни в чем, друг милой мой,

Сор.

13 Оставим буйным шалунам

Сор., «Славянин», Изд. 1827

16 Теперь искать уж время нам

Сор.

17 Пресытясь грубым наслажденьем

Сор., «Славянин», Изд. 1827

32 Мою усталую главу

Сор.

CII. *«В глуши лесов счастлив один...»*

(с 118)

Перед 1 О чем ни молимся богам,
Что дать нам боги ни во власти,
Ничто не даст отрады нам,
Когда ошибочные страсти
Вредят сердечной тишине,

Когда господствуют оне.
Ко счастью способов одних
Для счастья истинного мало;
Употреблять с уменьем их
Еще бы людям надлежало,
И не на то ль своим творцом
Одарены они умом?
А мы, мы ум свой обрекли
Господству детских своенравий.
Достиг владычества земли
Счастливец ветреный Октавий,
Достиг, и что ж? — всемирный трон
Покинуть замышляет он.
Все суета! Мудрец прямой
Далеких благ не жаждет праздно,
Но дух воспитывает свой
Случайной доле сообразно;
Для счастья надобное в ней
Дарует он душе своей

ПЗ

10 Как наслаждаться нам прилично

Изд. 1884

CIII. «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...»

(с. 119—120)

16 Печаль души своей заботливому другу
21–23 Вы ищете в любви занятие одно,
Восторг проходчивый, минутное забвенье,
Нам благо лучшее богами в ней дано
25 Нам будет сладко, милый мой,
27–29 Все нужды, всю тоску, все раны, все недуги,
Все размышление души твоей больной
Забыв и век, и рок суровой
31 И с жаждою любви в ее дыханье пить

СО

CIV. «На звук цевницы голосистой...»

(с. 120—121)

14 И, разорвав оковы хлада,
18 Певцов крылатых голоса,
22 Лишь ты в тоску облечена!
26 Роптанье в грудь тебе теснится;
28 Ах, если б щедростью богов

ПЗ

CV. «Не ослеплен я музою моею...»

(с. 121)

10—12 Достоинством обдуманных речей
С ней, может быть, скучает обхожденьем,
Но с похвалой относится о ней

СЦ

CVI. Череп

(с. 122—123)

22 О суетный и жалкий изыскатель!

25—28 *отсутствуют*

29 Отрадно здесь, что в гробе? — гроб молчит

Автограф ЦГАЛИ

10 Ребячески вкруг ямы хохотала
20—30 Нам, почитать издавна повелевшим,
Гроб вопрошать дерзает человек —
О суетный, безумный изыскатель!
«Живи живой, тлей мертвой!» — вот что рек
Всего ясней таинственный издатель.
Его судьбам покорно гроб молчит.
Зачем же нас несбывшееся мучит?

СЦ

10 Ребячески над ямой хохотала

Изд. 1827

21—30 Живи, живой, тлей, мертвый! восскорбит,
Кто до поры открытый взор получит

Изд. 1827, Автограф ГИМ

CVII. «О мысль! тебе удел цветка...»

(с. 123)

2 Сегодня манит мотылька
6 Утратил свежесть молодую

Изд. 1884

CVIII. «Судьбой наложенные цепи...»

(с. 124—125)

1 Самовластительные цепи
19—21 Но находило разделенье *
В немногих братиях оно *,
И то восторги молодые *
23 Далече странствуют иные
35 Других урочищев вселенной
38—40 В любовь последнюю мою
Не многих добрых восприму я,
И семью милую мою

Недошедший автограф.— Ак. (I, 99—100)

1 Обременительные цепи
15 Я наблюдал людское племя
17 Ко благу чистое стремленье

21—24 *отсутствуют*
31 Мою подругу молодую
34 С ней милый быт мой утая
38—40 В любовь последнюю мою
Немногих добрых восприму я
И семью малую мою!

МТ

23 Далече странствуют иные

Изд. 1835

CIX. «Есть грот: наяда там в полдневные часы...»

(с.125)

6 Склонясь челом, венчанным осокой,

Изд. 1827

CX. Мадона

(с. 126—127)

1 В Италии где-то, но в поле пустом,
22 Дочь плачет и ропщет, старушка молчит.
47—48 Так веру и гений в едино сливая,
Равно оправдала их дева святая

Изд. 1884

47—48 Искусство высокое, вера простая
Равно оправдала вас дева святая,
Вас чудно сроднила Мадона святая

Недошедший автограф.— Изд. 1884, прил., с. 35

CXI. «О верь: ты, нежная, дороже славы мне...»

(с. 128)

5 Я, сердцем преданный сердечному союзу,

Недошедший автограф.— Ак. (I, 288)

CXII. «Мой дар убог, и голос мой не громок...»

(с. 128)

4—5 В стихах моих далекой мой потомок
Узрит его: как знать! душа моя

СЦ

2 Но я живу, и на земле мое

Изд. 1884

CXIII. «Мой неискусный карандаш...»

(с. 129)

После 6 Там, там, без друга, без подруги,
Мои тоскливые досуги
Мятежным песням посвящал...
10 И другу, милой их рисуя

Автограф ПД

CXIV. Последняя смерть
(с. 130—133)

9 Как будто бы своей отчизне давней
33 Он рассекал небесные равнины
56 Привыкшие к обилью дольних благ
74 Явилася ужасная картина:
77 Где люди? где?.. Сокрылися в гробах.
78 Как древние столбы на рубежах,
86 Задумчиво повсюду воцарилась,
93 Но на земли ничто его восходу

СЦ

CXV. К. А. Свербеевой
(с. 134)

1–4 Я слыхал: звезда иная,
Неба нашего краса,
Исчезает, востекая
На другие небеса;

Автограф ПД

5 Но навеки ль с ней проститься?

Автограф ЦГАЛИ

9–12 Покидая, забывая,
Ей подобно, край родной,
Скоро, прелесть кочевая,
Озаришь ты край иной.

«Царское село»

12–16 Заблистаешь навсегда?
Светлой божией звездою
Новым людям покажись,
Но, пленив своей красою,
Рано ль, поздно ль воротись...

Автограф ПД

CXVI. «Слыхал я, добрые друзья...»
(с. 135—136)

3 Бывало бесе призывали
5–8 Но, жажды к злату не имея,

К себе не кличу Асмодея,
Кому пожертвовал душой
За деньги древний Громобой
16 Случится ль горесть иль беда
21 Страстями свергнутый закон

СЦ

8 На помощь беса призывали

Изд. 1884

CXVII. «Есть милая страна, есть угол на земле...»

(с. 136—138)

1—4 Есть вожделенный край, есть угол на земле,
Куда, где б ни был я, во граде ли блестящем,
В веселом лагере, на быстром корабле,
Под нами море бороздящем
5а Всегда уносимся мы любящей мечтой
б Всегда уносимся мы томною мечтой
6—9 Где нашим странствиям предел мы назначаем,
Где от забот мирских, от суеты мирской
Найти мы пристань уповаем,
Где мы надеемся забыть когда-нибудь
10а Людей и страсти их, где очи мы сомкнуть
б Людей и страсти их, и очеса сомкнуть
12—18 Рисует память мне веселый гладкий пруд,
На нем, осенены березами густыми,
Глядятся в водный ток, три острова цветут,
За ним подъемлется уступами крутыми
Зеленая гора; пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница; деревья, луг широкий,
Над ним блаженный дом — туда душа моя —

Автограф Архива Академии наук

CXVIII. При посылке «Бала» С. Э.

(с. 139)

6 Он не займет твоей мечты
9—10 Так близ отеческого луга
В дар принимает домосед

Автограф на экз. К. В. Пигарева

CXXI. «Не славь, обманутый Орфей...»

(с. 142)

2–4 Мне залетийские селенья,
Элизий в памяти моей,
И в нем не льется вод забвенья
Там жив ты, Дельвиг, там за чашей

Автограф ЦГАЛИ

CXXII. «Где сладкий шепот...»

(с. 143—144)

33 Метели вой
36 Утишу я

Недошедший автограф.— Ак. (I между с 128 и 129)

CXXIII. «Как ревностно ты сам себя дурачишь!..»

(с. 145)

5–7 Бессовестен и простодушен вкупе,
Презрение и жалость ты родишь:
Как за грехи, толчешь ты уголь в ступе

СЦ

5–6 Эпитимьей, смешной и жалкой вкупе,
Без умысла ты сам себя казнишь

Недошедший автограф. — Изд. 1884, прил., с. 30

CXXIV. «Старательно мы наблюдаем свет...»

(с. 145)

8 Что? старый смысл народной поговорки

Автограф ПД

CXXVI. «Своенравное прозванье...»

(с. 147—148)

22–23 К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу

Изд. 1884

CXXVII. «Хотя ты малый молодой...»
(с. 148)

12 Себе дивиться не спеши

«Литературная газета»

CXXVIII. «Дитя мое,— она сказала...»
(с. 149—150)

13 Свет, к ней суровый, не заметит
19 Свет их оставит без вниманья

Автограф ЦГАЛИ

26 Мое заветное кольцо
36 Всезабывающей любви

Автограф ЦГАЛИ, «Новоселье»

CXXIX. «В дни безграничных увлечений...»
(с. 151)

14 Страстей нечистые мечты

Автограф ЦГАЛИ, «Европеец»

CXXXI. «Бывало, отрок, звонким кликом...»
(с. 156)

8 Пора стихов, пора златая

Недошедший автограф.— Ак. (1, 283)

Часть вторая

Поэмы

ЭДА

(с. 159—180)

On broutte là ou l'on est attache.
Proverbe *.

Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году, перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии.

Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытною природою, совершенно отличною от русской. Обильная историческими воспоминаниями, страна сия была воспета Батюшковым, и камни ее звучали под конем Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины.

Жители отличаются простотою нравов, соединенною с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает Библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев.

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская, и нравы ее жителей глубоко напечатлелись в его воображении. Что ж касается до остального, то сочинитель мог ошибиться; но ему казалося, что в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бах-

* Где привязан, там и пасется. Поговорка (*франц.*).

чисарайского фонтана». Поэмы Пушкина пе кажутся ему безделками. Несколько лег занимаясь поэзиею, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою, собственною дорогою.

ЭП

5—8 Верь, неспособен я душой
К презренным умыслам разврата,
Ты, как сестра, любима мной,
О, полюби меня, как брата.
В родной далекой стороне
Сестру я милую имею,
Черты лица у вас одне
10—15 Но что? ты видишь: воин я;
Всегда кочует рать моя;
За нею по свету блуждая,
Бог весть уже с какой поры,
Я не видал родного края,
Не целовал моей сестры

ЭП, Автограф ПД

21 Делить с тобою жажду я
24 Оставь, красавица моя;

Автограф ПД

К чему пустая боязливость

ЭП, Автограф ПД

К чему?..
Питая чувства жар,

Автограф ПД

Во мне пылает чистый жар

ЭП

25 Так говорил младой гусар

ЭП и автограф ПД

26 Финляндке Эде. Взоров живость

Автограф ПД

26 Финляндке Эде. Взглядов живость

ЭП

27—29 Из-под фуражки по щекам
Два черных локона к плечам
Виясь, бегущие красиво

ЭП, автограф ПД

Одевший ловко ловкой стан
Щеголеватый доломан.
И без речей красноречиво
Все было в нем. Но кто бы мнил,
Любуясь на его ланиты,
Легчайшим пухом чуть покрыты,
Что бы умел... Он русской был,
И завела в отчизну финна
Его походная судьбина

Автограф ПД

Гусарский щегольский убор.—
И без речей для девы гор
Все было в нем красноречиво.
Ему отчизной Русь была.
Полков бродящая судьбина
Его недавно завела
В пустыни пасмурные финна

ЭП

30 Чудесный край! его красам

МТ

38—39 Там холм очей не веселит,
Он лавой каменной облит

ЭП, Автограф ПД

47 Нежданный цвет в пустыне той

ЭП

48—51 Красой лица, красой души
Уединенно расцветая,
Отца простого дочь простая
Являлась Эда в сей глуши
Очей отрадою нежданной.
Так на нагих ее скалах
Растет цветок благоуханный

Автограф ПД

49—51 Красой лица, души красой
Блистала Эда молодая,

Прекрасней не было в горах:

ЭП

54 В роскошных кольцах по щекам

Автограф ПД

57—59 Готовность к чувству в сердце чистом,—
Вот Эда вам!
На камне мшистом
Пред хижиной своей одна

ЭП, Автограф ПД

60 Сидела невзначай она,
Сходил на землю вечер томный
Как миг такой не подстеречь?

Автограф ПД

60 Сидела под вечер она

ЭП

63—65 Увы! красотка молодая
Прервать не думала ее,
И, сердце нежное свое
Ей с верой детской открывая,
В сетях не видела сетей!
69—70 Его лобзаньем открывает
Благоуханный свой листок

Автограф ПД

69—71 Благоуханный свой шипок
Его лобзаньем открывает
И не предвидит близкий хлад

ЭП

72—75 От севера дохнуть готовый
В руке гусара моего
Давно рука ее лежала.
Стыдом красавица пылала
Меж тем, забывшись, у него

Автограф ПД

72—75 Давно рука ее лежала
В руке его. Потупя взгляд,
Она краснела, трепетала,

Но у Владимира назад

ЭП

75 Но у предателя назад

Автограф на экз. ЭП

76 Руки своей не отнимала

Автограф ПД и ЭП

81–82 Любовь, одна любовь дышала
В ее неопытных очах

Автограф ПД

84 Она лукавцу отвечала

ЭП, Автограф ПД

108–112 «Я твой губитель? Вечный бог
Мне да готовит наказанье!
Я друг твой, верный друг, в залог
Прими нежнейшее лобзанье!»
«Что, что, зачем? Какой мне стыд!»
119–120 Нет, я тебя не покидаю:
Мое забвенье мне прости!»
122–127 «Я гнев в очах твоих читаю,
Уверь меня, что он погас;
Поцеловать еще мне раз
Позволь себя».— «Пусти, несчастной!»
«И за ребяческую блажь
После 131 Нет, боле ей не верю я!
133–138 Тебя ль не тронет сердца боль,
Слов убедительнейших сила?
Одно лобзанье мне позволь!»
И отвращенное дотоль
Лицо тихонько обратила
К нему бедняжка.
О злодей!
150 Полна с поры мятежной сей
186–189 «Друг, поздно!» — девица шепнула;
Оставив друга своего,
Пошла в свой угол, но взглянула
Дорогой дважды на него

После 189 *Часть вторая*

ЭП

208 Горячих слез на них заметны!
210 С красоткой хитрый постоялец,

Мнем.

210 С малюткой хитрый постоялец
213 Когда же бусы подарит

ЭП

213 Когда ж ей серьги подарит

Мнем.

214—215 Или платок повеса ловкой
Она красивою обновкой.

Мнем., ЭП

217 Потом его благодарит
219 На сонного его норой
222 И долго слышен детский смех

223—229 *Заменены многоточием с примечанием:*

«Точки поставлены самим сочинителем»

Мнем.

234 Теперь уж нет! Простых речей
240 К груди лукавца, вся в огне

Мнем., ЭП

241 Сама бедняжка припадает
244 К лобзаньям страстным обращает

Мнем.

262 Но только хитрый мой шалун
280—281 У бедной Эды. «Что ворчать?» —
Тогда промолвилася мать:
После 287 Из спора этого ни слова
Владимир мой не проронил.
Ему он умысел внушил:
Все как-то злому учит злого.
316 Лукавца слушала она

348—350 К устам красавицы моей
И полдуши оставлю ей
Я в лобызании прощальном.
Решись!»
Волнения полна
353—354 Ему довериться она
366—370 Ты дух нечистый, вижу ясно.
Жестокий! Сердце Эды ты
Лишил уж первой чистоты.
Что вновь замыслил? Нет, ужасно!
От друга сердце далеко,
Я без надежд, без утешений
С тоски моей умру легко,
Умру без новых прегрешений».
375 Злодея стало деве милой:
428 Сама себя не разумея,
430 Уже в объятиях злодея

ЭП

После 430 Ему, злодею, в эту ночь
Досталась полная победа:
Чувств упоенных превозмочь
Ты не могла, бедняжка Эда.

Автограф на экз. ЭП

431—434 *отсутствуют*

После 456 *Часть третья*

ЭП

470 То приютит безмолвный бор
473—476 Но чаще в ближний дол они
Нисходят разными путями.
Там над прозрачными струями
Ручья веселого, в тени
Густых берез, рябин узорных,
Обросших, вести нет когда,
Два камня,— падшие туда
С высот соседственных нагорных;

480—487 Кладет усталую главу,
Беспечным сном глаза смыкает.
Она от друга своего
Докучных мошек отгоняет,
Власами мягкими его
Рукой младенческой играет!

Мнем.

484 Древесной ветвью отвевает
486 Его кудрявыми власами
488 Когда ж подъемлется луна

ЭП

497—498 Они воссели молчаливо.
Глазами в тихом забытьи
Шалун следил его струи

Мнем.

499 Владимир в тихом забытьи

ЭП

499 Лукавец в тихом забытьи

Автограф на экз. ЭП

507—509 У добродушной красоты
Уста в то время улыбнулись,
Но тут же скорбь взяла свое

Мнем.

510 И на глазенках у нее

ЭП

515 «Нет, нет, не кстати мне тоска!

Мнем.

522—530 Ужели не был тронут он
Ее любовию невинной?
До сей поры, шалун бесчинной,
Он только знал бокалов звон,
Дым трубок, шумные беседы
Соратных братиев своих
И за преступные победы
Слыл удальцом промежду них.
Наукой жалкою обманов
Гордился он — и точно в ней

Другого был посмышленей.
Успел он несколько романов,
Зевая и крутя усы,
Прочесть в досужные часы
От царской службы и стаканов.
Собой пригож был, нравом жив,
Едва пора самопонятья
Пришла ему наперерыв,
Влекли его к себе в объятья
Супруги, бывшие мужей
Чресчур моложе иль умней.
И жадно пил он наслажденье,
И им повеса молодой
Избаловал воображенье.
Не испытав любви прямой,
Питомец буйного веселья,
В пустыне скучной заключен,
За милой Эдой вздумал он
Поволочиться от безделья
И, как вы видели, шутя,
Увлек прелестное дитя.
Увы, мучительное чувство
Его тревожило потом!
Не раз гусарским языком
Он проклинал свое искусство;
Но чаще, сердцем увлечен,
Какая дева, думал он,
Ее прелестней в поднебесной,
Душою проще и нежней?
И Провиденья перст чудесной
Он признавал во встрече с ней.
Своей подругой неразлучной
Уж зрел ее в мечтах своих,
Уже в тени дерев родных
Вел с нею век благополучной...
Вотще!
Коварный швед опять

ЭП

После 570 Очнувшись, долго грустный взор
Кругом себя она водила:
Неутешительный позор!

За летом осень наступила;
Тяжелая, седая мгла
Нагие скалы обвила.
Все мертво было, лист дубравный
Крутил уж вихорь своенравный.
С природой вместе расцвела
Ты для любви, младая дева!
Жила в ее восторгах ты:
Вся отлетела, как со древа
Летят поблеклые листы!
Жестоко сердце обманула
Любви коварная мечта!
Как дней весенних красота,
Тебе на миг она блеснула:
Исчезло все — земля пуста!
Сил на роптанье не имея,
Вошла бедняжка в угол свой
И зрит письмо перед собой,
Письмо от милого злодея.
«Прости,— несчастный пишет ей,—
Прости! Быть может, сон мятежный,
Что ты была в любви своей,
А не казалась прямо нежной;
Что с Эдой счастлив был бы я,
Когда б умел я в счастье верить...
Бог нам обоим судия!
Ваш пол умеет лицемерить!
Меня зовет кровавый бой;
Не знаю сам, куда судьбой
Я увлечен отселе буду;
Но ты была любима мной,
Но ввек тебя я не забуду.
Забудь меня; в душе своей
Любовь другую взлелей.
Всяк будет пленником послушным
Твоей цветущей красоты.
Легко воспользуешься ты
Моим советом добродушным.
Легко... но если из очей
Слезу уронишь в самом деле
Ты на листок заветный сей,

Утешься: жребий мой тяжеле
Судьбины бедственной твоей

Остафьевский архив

574 Из-под сугробов снеговых
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют: снег буграми
576–578 Лежит на соснах вековых
Кругом все пусто. Зашумели,
591–592 Давно увянул счастья свет,
Что ж для меня кончины нет?
595–598 Но сон желанной, сон глубокой.
О скоро ль гроб меня возьмет,
И на него сугроб высокой
Дыханье бури нанесет

Мнем.

После 598 Но тщетно дева молодая
Кончину раннюю звала:
Уж Эды нет! Кручина злая
Ее в могилу низвела.
Кто б думать мог? В ее обитель
Меж тем лукавый соблазнитель
Неожидаемый летел.
Какой он умысел имел,
Бог весть. Но прибыл он,— и что же? —
Узрел ее на смертном ложе.
В слезах пред милою упал:
«Постой,— отчаянный взывал,—
Тебе ль назначена могила!
О жертва милая любви,
Я твой навек, живи, живи!
Ты ль голос друга позабыла?»
Но меркнул свет в ее очах;
На леденеющих устах
Уже душа ее бродила...

ЭП

Пиры

(с. 181—187)

Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Сервантa. Стерн.

Сия небольшая поэма писана в Финляндии. Это своенравная шутка, которая, подобно музыкальным фантазиям, не подлежит строгому критическому разбору. Сочинитель писал ее в веселом расположении духа: мы надеемся, что не будут судить его сердито.

ЭП

2–4 На все взглянул я верным глазом,
Любовник, воин и поэт,
Трем божествам служил я разом

Сор., ЭП

5–9 Искал я счастья, как другой,
Волшебный сон и мне приснился,
Но, разуверенный душой,
Вздохнул, заплакал и простился
С моей несбыточной мечтой.
Непрочно то, что сердцу мило;
Кто сердцу верит, тот глупец.
А поэтический венец?
Никак оно же мне сулило!
Но что скажу вам наконец?
Не все мне в жизни изменило:

Сор.

5–8 Досталось много мне на часть
Душе любезных заблуждений
Прошла их временная власть:
Утихла жажда наслаждений
И охладела к славе страсть.
Мне что-то взоры прояснило,
Но, как премудрый Соломон,
Я не скажу: все в мире сон!

ЭП

12 Но никогда, мои друзья,

Сор.

14–15 В наш век накладно быть певцом,
Смешон любовник, жалок воин
23 Зато не грустно: сладкой сон
Недуг минутный успокоит,—
Здоров и весел встанет он,

И отдых силы в нем удвоит,
Пирует он,— и, горя чужд,

Сор., ЭП

26—34 От лишних прихотей своих
Почти всегда мы страждем, други!
Кому не стоят мук живых
Любви роскошные досуги?
Кто, возвратясь в отцовский дом
Калекой жалким с поля славы,
Не называл себя слепцом
И про военные забавы
Словца не вымолвил тишком?
Хвала тебе, веселой Ком!

Сор.

32 Пришед уродом с поля славы

Изд. 1827

36—40 Красив, не спорю, бранный шлем;
Победный лавр еще прекрасней,
Приятно драться — между тем
Обедать, право, безопасней

Сор.

36—40 Прекрасно, други, рифмы плесть,
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться: слаще есть
И право, право безопасней

Изд. 1827

43 Не позлащенные главы

Сор.

46 Пленили ум мой своевольный

Автограф ПД

68 Но так весною ряд курганов
70 Сияет в пурпурных лучах
72—75 Садятся гости; без чинов
Усердно потчуют друг друга
И наливают до краев
Бокалы сладкого досуга

Сор.

79 Там речи остры, но не колки

Сор., ЭП

80 И вот начлися чудеса

Автограф ПД

После 104 Воображенье позлащало
Судьбу неведомых годов;
Игрушки тешили певцов

Сор., ЭП

Пусть не роскошен был прибор,
Пусть не богаты брашны были,
Все приправлял веселый вздор,—
И сладко ели мы и пили.
Поверхность шаткого стола,
Благословенного забавой,
В большие праздники была
Прикрыта скатертью диравой;
И между тем, друзья мои,
В простые чаши бог похмелья
Роскошно лил сынам веселья

Сор.

После 114 В нем укрывается отвага

Сор., ЭП

116–118 Души божественной полна,
Свободно искрится она,
Как гордый ум не терпит плена,

Сор.

117–119 Она отрадою кипит,
Как дикий конь, не терпит плена

Изд. 1827

118–119 Как страсть, как мысль она кипит
В игре своей не терпит плена

Изд. 1835

После 131 Потупя сумрачные взоры,
В печали робкой и немой,
Не слушал радостные хоры,
Не трогал чаши круговой.
144–148 Знакомо мне ее страданье,
Но я страдать желал бы вновь!
И где же вы, душе родные,

Друзья, делившие со мной
И заблужденья молодые,
И радость жизни молодой?
Разлучены богиней строгой:
158 Смягчив насильно гнев судьбины
173 Уж в мире нет отцов моих,
Безмолвен терем опустелый,
В тени прохладной лип густых
Таится ряд могил немых,—
Там скрыт их пепел охладелый;
Дом счастья мрачен и угрюм.
Но что к унынью нас принудит?
Пиров бывалых новый шум
В нем голос радости пробудит!
178—183 Ты, поневоле милый льстец,
Очаровательный певец
Любви, свободы и забавы,
Ты, П...... ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы,—
Молитву радости запой,
Запой: соседственные боги,
Сатиры, фавны козлоноги
Сбегутся слушать голос твой,
Певца внимательно обстанут
И, гимн веселый затвердив,
Им оглашать наперерыв
Мои леса не перестанут

Cop.

180 И страсти дикие и шалость
182—183 Быть сердца чудным знатоком
И, что по-моему не малость,
Быть прелюбезным за столом!
Друзья камен и пированья

Изд. 1827

187 Упиться радостью свиданья!
Толпой сберитеся опять
Шуметь за чашей круговою,
Былое время вспоминать
И философствовать со мною.
193—207 Не будет роскошный,— но сытый
Мы соберемся! — но не те,

По легковерной простоте
Сыны любимые надежды,
Которым в полной красоте,
Во блеске праздничной одежды
Являлась жизнь: прозрели вежды,
Предстала в скудной наготе.
Так в школе опытов суровых
Учились многие из нас —
И приготовили рассказ
Своих открытий тяжко-новых!
За полной чашей кто ни есть,
Быть может, вздумает прочесть
Свои игривые творенья,
В которых дань свою принесть
Успел богиням вдохновенья,

После 211 Прочтем! — Унынием немым
Все, думой тяжкою объяты,
Считают горькие утраты,—

После 212 *восемь стихов заменены точками*

214 Пирам! в болезненные лета

Сор.

Бал

(с. 188—208)

Перед 1 Умеют жить в Москве богатой
И для себя и для других,
У знатных бар, сынов прямых
Столицы праздной, тароватой,
Одно веселье на уме,
Одно занятие — банкеты.
Как рады жители зиме!
Теперь — бог весть,— а в прежни леты
Зимой у них за пиром пир.
Ношу ли фрак я иль мундир,
Женат ли я, хочу ль жениться,—
Мне всякий рад. Когда не лень,
Вальсировать иль волочиться
В Москве могу я каждый день.

Недошедший автограф.— Ак. (II, 42)

5 Блистает тысячью огней

МТ, Д, Автографы ПД и ЦГАЛИ

5 Сияет тысячью огней
7–12 Ревут смычки, толпа гостей
И пестрота и блеск уборов.
С улыбкой сонной на устах,
В роскошных перьях и цветах
Обыкновенной рамой бала
Старушки светские сидят
И на безумный вихорь зала
С тупым вниманием глядят.

Автограф на экз. К. В. Пигарева

7–8 Гудят смычки; толпа гостей
С приличной важностию взоров

МТ, «Звездочка», Д, Автографы ПД и ЦГАЛИ

9 В чепцах узорных, распашных

«Звездочка», Автографы ПД и ЦГАЛИ

9 В чепцах узорных, вычурных

МТ, Д

10–13 Ряд пестрый барынь пожилых
Сидит. Причудницы от скуки
То поправляют свой наряд,
То на толпу, сложивши руки,

МТ, «Звездочка», Д, Автографы ПД и ЦГАЛИ

16–22 Пылают негой взоры их,
Огнем каменьев дорогих

«Звездочка», Автографы ПД и ЦГАЛИ

18 Блестят уборы головные

МТ, «Звездочка», Автограф ЦГАЛИ

26 С волненьем ловят каждый взгляд

Автограф ЦГАЛИ

27–28 Из них несчастных и счастливых
Шутя волшебницы творят

Автограф ПД

28 Из них волшебницы творят

«Звездочка», Автограф ЦГАЛИ

31–32 Кавалерист крутит усы,
Франт штатский чопорно острится

«Звездочка», Автографы ПД и ЦГАЛИ

31—32 Герой крутит свои усы,
Политик чопорно острится

МТ

33—36 *отсутствуют*

Недошедший автограф.— Ак. (II, 244)

39 Выходят тучные бояры

«Звездочка»

42 Под гул порывистых смычков
44 Вся зала ропотом полна
52—54 Мигрень... Не знаю... В сюрах шесть.
«С княгиней рядом вы стояли,
Графиня, знать желал бы я...

МТ

53—54 «Графиня, вы тогда стояли
С княгиней рядом, что виной?
56 Она страдает тошнотой?»
61—64 *отсутствуют*
73 Чьи пурпуровые уста
75—80 Кто между скромниц городских,
Между Людмил самолюбивых
Сиянья взоров голубых
И даже роз ланит стыдливых
Ей не отдал бы сей же час
За глянец яркой черных глаз
87 Как остроумна и нежна!
102—103 Вокруг нее заразы страстной
Исполнен воздух! беден тот
108 Страшися пламенных речей
113 Нет, не сочувствия прямого
122 Мертвела вдруг мечта ее
143 Когда Цирцея так легко
145—148 *отсутствуют*

Недошедший автограф.— Ак. (II, 224)

271 Безмолвствуй! не нуждаюсь я
285 Мое унынье не вини».
293 Меж тем на карточке визитной
327—332 Я к ней способна! Погляди,
Вот любопытное колечко,

Его ношу я на груди.
Не все, постой!.. еще словечко
Арсений, знай, одарено
Волшебной силою оно;
336 Дивишься! Яд оно таит

Д

483 Ее чело жемчуг облег
488 И в томной прихоти своей

СЦ

527 Или насмешливо взглянуть
539 Кругом глубокий, смертный сон!

Д

538—546 То на окладе заиграет;
Кругом глубокий, мертвый сон!
Но час за часом утекает,
Перед рассветом ночи мгла
На город пуще налегла.
Слабее теплится лампада,
И вовсе свет ее заснул.
Из лона дремлющего града
Стал возникать заутрень гул

Автограф на экз. К. В. Пигарева

551 Вот чья-то дряхлая рука
578 К тому же званья ты большого;
592 Прости, дай руку мне». Вздыхая

Д

598 Глаза недвижны, в пене рот

Автограф на экз. К. В. Пигарева

598 Глаза распухли, в пене рот...
615 Обыкновенными словами

Д

Телема и Макар

(с. 209—212)

1 Телема пламенна, игрива

Автограф ПД

1 Телема ласкова, игрива

СЦ

2 Но чересчур нетерпелива

Автограф ПД, СЦ

3 Попеременно прельщена

Автограф ПД, «Славянин»

4 То тем, то этим: беспокойства
Всегда душа ее полна

Автограф ПД, «Славянин»

6 Совсем другого с нею свойства
Открытый радостным лицом
24 Без друга в горести и скуке
27—30 Жить не умея с ним в разлуке,
Приходит в княжеский чертог

«Славянин»

28а Надеждой сладостной полна
б Надеждой детскою полна
29 В Эскуриал пришла она

Автограф ПД

29 Приходит ко двору она

СЦ, Изд. 1835

38 *отсутствует*

«Славянин»

40—41а Разумен он, добросердечен,
Веселонравен и беспечен
б Благоразумен, доброхотен,
Веселонравен, беззаботен

Автограф ПД

40—41 Разумен он, добросердечен,
Всегда шутлив, всегда беспечен

«Славянин»

43—44 Не ненавидя никого,
Он сам никем не ненавидим

Автограф ПД, «Славянин»

49 Моя бедняжка молодая

«Славянин»

50 Зашла в обитель по пути

«Славянин», СЦ

52 Игумен ей: «Признаться вам

Автограф ПД

52—54 Игумен ей: «Признаться вам,
Мы с ним увидеться желали,
Но, на беду, по пустякам

«Славянин»

54а Но, на беду, по пустякам
б Но, признаюсь, по пустякам
55а Посты, раздор и скуку нам
б Укрытие от бурь житейских

Автограф ПД

55 Приют от бурь житейских нам

Изд. 1835

58 Болтливый маленький чернец *

Автограф ПД

58 Один задумчивый чернец

СЦ

58 Но бледный и сухой чернец

«Славянин»

59 «О чем вы слепо возмечтали?
61—62а На том он свете, может статься!»
Телему стриженый наглец
б На том он свете, мы слыхали»
Телему набожный мудрец

Автограф ПД

77 Один из них сказал ей так

«Славянин»

81 Его поем мы кое-как

Автограф ПД

83—85 Вот Магистрат. Она пред ним
Глаза зажмурила и дале;
О нет, с возлюбленным моим

«Славянин», СЦ, Изд. 1835

86 Не встречусь я в судебной зале

«Славянин»

86 Не встречусь я в судейской зале

СЦ, Изд. 1835

109–110 От сходства истинного с ним
Тем очевидней удалялись

Автограф ПД

118 Со мною в радостной любви

«Славянин»

Переселение душ
(с. 213—224)

7–8 Где душу парную найти?
Где? — разлилося в наше время
Так далеко людское племя,
Так многочисленны пути!
13–15 Не все... приводит в искушенье
Еще другое затрудненье:
Порою с родственной душой
Столкнешься, по свету блуждая
17 Душа родная — рот чужой
22–23 Об этом, добрые друзья,
Вам предлагаю повесть я
26 В Египте славном жил-был царь
37–42 И полк царей иноплеменных
К ней женихами привела.
В Мемфисе древнем уступали
Одни пиры пирам другим,
В прикрасу блюдам дорогим
Красивый череп подавали.
В кругу любовников своих
Светла, прелестна, восседая
85–91 Вот с важным видом наконец
Так молвил дочери отец:
«Я негодую совершенно.
Не все ль возможные цари
Перед тобою, говори?
Чрез трое суток непременно
Ты жениха мне избери,

Не то... клянуся бородою,
Шутить не буду я с тобою».
Такая речь была ясна.
Что стало с милою царевной?
На что в судьбе своей плачевной
166—167 Какая страшная измена!
Уже дрожат ее колена,
219 Иноземельных, чудных птиц
223 Порфирой радостной блистая
277 Другое чудо: бытие

СЦ

Цыганка
(с. 225—267)

Сочинение, представляемое теперь публике, одно из тех, которые журналисты наши обыкновенно называют безнравственными, хотя обвинение в безнравственности довольно странно в государстве, имеющем цензуру, и где «печатать позволяется», являющееся на первом листе книги, уже ручается за безвредность ее содержания.

Странно также, что г-да журналисты, позволяя себе столь неприличные обвинения, называя развратными произведения: «Руслана», «Онегина», «Цыган», «Нулина», «Эду», «Бал», и потому, имея полное право поместить в тот же разряд и «Наложницу», до сих пор не определили, в чем, по их мнению, состоит нравственность или безнравственность литературных произведений.

Постараемся решить вопрос, равно важный для писателей и для читателей.

Журналисты наши выразили некоторые положительные требования. Воспевайте добродетели, а не пороки, говорили они; изображайте лица, достойные подражания; пишите для назидательной нравственной цели, не замечая, что каждое из сих требований противоречит другому.

Изобразить какую-либо добродетель — значит заставить ее действовать, следственно, подвергнуть испытаниям, искушениям, т. е. окружить ее пороками. Где нет борьбы, там нет и заслуги. Следственно, лицо, достойное подражания, не может высказаться иначе, как меж-

ду лицами ему противоположными. Что такое нравственная цель литературного произведения? В чем состоит она? Есть люди, называющие нравственными сочинениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель. Мнение это некоторым образом противно нравственности, истине и религии. Ежели бы добродетель всегда торжествовала, в чем было бы ее достоинство? Этого не хотело провидение, и здешний мир есть мир испытаний, где большею частию добродетель страждет, а порок блаженствует. Из этого наружного беспорядка в видимом мире и феологи и философы выводят необходимость другой жизни, необходимость загробных наград и наказаний, обещаемых нам откровением.

Нравственное сочинение не состоит ли в выводе какой-нибудь философической мысли, вообще полезной человечеству? Но чтобы в самом деле быть полезною, мысль должна быть истинною, следственно, извлеченною из общего, а не из частного. Как же, изображая только добродетель, играющую довольно второстепенную роль в свете, и минуя торжествующий порок, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но необходимо ложную, следственно, вредную.

Нет, скажут наши противники, мы не требуем, чтобы вы изображали одну добродетель: изображайте и порок, но первую привлекательною, второй отвратительным.

Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны шуточные стихи Панара:

Trop de froideur est indolence,
Trop d'activité turbulence,
Trop de rigueur est dureté,
Trop de finesse est artifice,
Trop d'économie avarice,
Trop d'audace témérité,
Trop de complaisance est bassesse,

Trop de bonté devient faiblesse,
Trop de fierté devient hauteur, etc. *

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями; но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины, следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного.

Характеры смешанные, именно те, которые так нелюбы г-дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает. Федра, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федра, ей уступающая,— две противоположные Федры: мы любим добродетельную, ненавидим порочную, и здесь мы не можем ошибиться, не можем принять добродетель за порок и порок за добродетель: действия не смешаны, как характеры; действие добродетельное совершенно прекрасно, действие порочное совершенно безобразно, и нравственный вывод, о котором так хлопочут г-да журналисты, хлопочут до того, что ради оного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные,— этот нравственный вывод внушает нам, без всяких посторонних соображений, всякое лицо, верно снятое с природы. Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое

* Избыток холодности — это равнодушие, избыток деятельности — неугомонность, избыток суровости — черствость, избыток тонкости — лукавство, избыток бережливости — скупость, избыток смелости — безрассудство, избыток услужливости — низость, избыток доброты превращается в слабость, избыток гордости превращается в высокомерие и т. д. (*франц.*).

возбуждает в нас герой трагедии, романа, поэмы даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению? Не говорит ли нам наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие? Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участия; не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей на победу преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало под силою обстоятельств, превышающих нравственную его силу.

Побежденные трояне возбуждают наше участие потому, что они защищались до последней крайности; побежденные, они не ниже победителей; расчетливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей Трое, и никто не сравнивает ее коменданта с божественным Гектором.

Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противостоять им.

Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственною. Что, например, хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательно неистового честолюбца, жадного битв и побед, стоющих так дорого роду человеческому; кровь его не ужасает; чем больше ее прольет, тем он будет счастливее; чем далее прострет он опустошение, тем он будет славнее; а эту книгу будут читать юные властители! — Что хуже Гомера? В первом стихе «Илиады» он уже показывает безнравственную цель свою, намерение воспевать порок:

«Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!»

Раскроем даже «Ивана Выжигина», творение г. Булгарина, писателя, который всех настоятельней требует нравственной цели от современных сочинений. Найденыш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью, помогает какому-то удальцу увезти дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом

ведет жизнь бродяги, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам; получает толчок от одного офицера, за который не сердится; присваивает себе чужое имя; наконец, наследует два миллиона денег, женится по любви и живет в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечете, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придет вам на ум, кроме старой русской пословицы: не родись ни хорош, ни умен, а родись счастлив; но что в ней назидательного?

Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочинения и, из следствия в следствие, заключить с логическою основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу.

В таком случае должно запретить и человека. Но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой незваный критик решится воспретить ему дозволенное провидением и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться своим разумом значит унизить его до животных, его лишенных. Сами г-да журналисты, вероятно, на это не согласятся: их постигла бы общая участь человечества.

Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно, на уничтожение человека, не благоразумнее ли взглянуть на нее с другой точки зрения: не требовать от нее положительных нравственных поучений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней *сведений,* а ничего иного?

Знаю, что можно искать в ней и прекрасное, но прекрасное не для всех; оно не понятно даже людям умным, но не одаренным особенною чувствительностью: не всякий может читать с чувством, каждый с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествие. Странствователь описывает вам и веселый юг, и суровый север, и горы, покрытые вечными льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота, поросшие тиною, и целебные, и ядовитые растения. Романисты, поэты изображают добродетели и по-

роки, ими замеченные, злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, в географах: известий о любопытных вам предметах; требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний.

Читайте землеописателей, и, не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятие об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне или совсем не испытанные, нравы, выражение которых, может быть, вы бы сами не заметили; узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели; приобщите к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше.

Ежели показания их верны, впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней провидением, конечно, не развратительно, и мир действительный никого еще не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!

Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?

Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное попятие.

Иностранные литературы имеют книги, по счастию, неизвестные в нашей: это подробные откровения всех своенравий чувственности, подробные хроники развращения. Несмотря на то что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания не полны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжелой усталости; какое отвращение возбуждают тогда в развратнике воспоминания нечистых его наслаждений!

Выразите так же полно чувство последующее, как полно выразили предыдущее, и картина ваша не будет безнравственною: одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастие, злоупотребляющее силами юности, опишите и следствия злоупотребления. Представьте нам раннюю, болезненную старость, раннюю неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, позволенным, ранний упадок умственных его способностей. Что будет поучительнее изображения преждевременно поседевшего разврата, в страданиях благоприобретенного недуга, смешащего не природным, но заслуженным тупоумием? — и в этом изображении не будет ничего насильственного.

Невоздержность телесная приемлет мзду свою еще в здешней жизни; временное тело обретает ее во времени, между тем как неумирающий дух находит ее только в вечности.

С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения, вакхические и застольные песни. Не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата, в эротической поэзии чувственность уравновешивается чувством, и большая разница — живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать своенравия разврата, которые нельзя удовлетворить без преступления. Славить вино и обеды — не значит проповедовать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевавший иногда красоту и пиршества, Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях; Богданович, который

«Киприду иногда являл без покрывала»,

Батюшков, Пушкин, написавшие несколько эротических элегий и вакхических песней, конечно, не безнравственные писатели. Не говоря уже о том, что сии писатели не ограничивались выражением одного чувства; что подражатель Анакреона в то же время певец «Фелицы», певец «Бога», что автор стихотворения «Счет поцелуев» в то же время творец «Ермака» и преложитель высоких песней Давида; что «Душенька» изобилует не одни-

ми сладострастными картинами; что между шаловливыми стихотворениями Батюшкова есть и унылые, есть и высокие; что автор «Руслана» в то же время автор «Годунова»; и что никто не принуждает читателя в целой книге стихотворений твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое, впечатление которого исправит впечатление первого: вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку; и ежели действие не вредит доброй славе одного, еще менее его описание может вредить доброй славе другого.

Тем менее, что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований; что упрекать в разврате эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакреон не желал быть Гомером, Проперций — Вергилием, Шолье — Расином и т. д.? Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность, и тем он нравственнее. Но только Гомеры, Шекспиры являют нам полный мир в своих творениях. Дарования односторонние обрекают других на изображение частностей. Произведение одного имеет нужду быть поясненным, пополненным произведением другого, и писатели сего рода только в своей совокупности доставляют нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель.

Или не читайте или читайте все: иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием все равно, что читать одну страницу в писателе многообъемлющем. Раскройте Шекспира на монологе злодея, искусными софизмами ободряющего себя к преступлению, остановитесь на нем,— и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния; но прочтите все творение, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна: так и книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке.

Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Но

нянька не позволяет ребенку играть с ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, не сообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет и можем все видеть и все слышать, мы можем и все читать; и как не мир, а мы сами виновны, когда злоупотребляем жизнию, так не писатели, а мы сами виновны, когда злоупотребляем чтением.

До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвященных изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений, но не говорили о книгах, писанных для доказательства того или другого мнения, книгах, писанных с положительною нравственною целью.

Книги сего рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Мнение только тогда полезно и нравственно, когда оно справедливо; но всякий чувствует (не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием, и который нельзя сравнить со вредом, причиняемым неверным изображением характера, страсти или картины), всякий чувствует, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особо пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от превратных нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие! Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин неотносительных; следственно, мало книг, писанных с нравственною целью, т. е. посвященных выражению одной избранной мысли, которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравновешивать чтением других, им противоречащих.

Заключим и, надеемся, так заключит с нами и читатель, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противоречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги.

Просим читателя судить о нравственном достоинстве «Наложницы» по правилам, нами изложенным, а не по правилам, исповедуемым г-дами журналистами, по нашему мнению, довольно необдуманным.

Н

11—13 Хмель разобрал тебя совсем,
Она с дремоты побледнела.
«Ты, Сара, спать поди! Зачем
До утомленья ты сидела?
В другое время, господа!

Н, Изд. 1835

Поздно, господа

«Денница»

Прощайте».— Буйная орда
Восколебался. Гуляки

«Денница», Н, Изд. 1835

23 Докончить дело! — Недвижим

«Денница», Н, Изд. 1835

38—43 Спешит он дверь свою замкнуть.
Один оставшийся Елецкой
Суровым оком обозрел
Покой, где только что гремел
Пир разливной и молодецкой.
Двояко взор он поражал,
Двойное чувство возбуждал
46—48 Меж окоп зеркало большое,
Но с середины все в лучах,
В пыли богатые завесы
51—53 Ночного пированья след
К тому ж оставили повесы,
Зола из трубок здесь и там

«Денница»

52—53 Вот опрокинутые стулья,
Табачный пепел тут и там,

Н, Изд. 1835

54 Ряды стаканов по столам

Н

54 Стекло по окнам, по столам

«Денница», Н, Изд. 1835

56—58 И вот докучливый глазам
Полк догорелых до бумаги

«Денница»

После [60] Елецкої с думою немою
Поник печально головою

Н, Изд. 1835

Но скоро поднял бодрый взор:

Н

Но вдруг, очнувшись, поднял взор;

Изд. 1835

«Гей! — закричал он.— Черномор!»
Явился карлик. Понемногу

Н. Изд. 1835

Лицо Елецкого совсем
Уж прояснилось между тем.

Н

Туман, который покрывал
Лицо Елецкого, пропал

Изд. 1835

«Ну что соседи?» — Слава богу!

Н, Изд. 1835

Все хорошо: дружна со мной
Служанка барышни самой.
Ну, мой красавец, это славно;

Н

Знаком мне в доме стар и мал
«Вот, мой красавец, это славно;

Изд. 1835

Смотри ж теперь, когда, куда
Пойдут, поедут господа,
Что скажут,— все ты знай исправно».
— Об вас-то был уж разговор.—

Н, Изд. 1835

«Не лжешь?» — Застал меня вечор
У них в передней старый дядя;

Не позабуду я в мой век,
Как гаркнул он, медведем глядя:
«Откуда? чей ты человек?»
Я доложил.— «Что ж он?» — «Не смею...» —
«Эх говори, не размышляй».—
«Ну, братец,— молвил он; — жалею,
А уж твой барин негодяй! —
Елецкой громко засмеялся,
Но тут же на его чело
Густое облако нашло:
Вновь грустной думе он предался,
Тихонько вышел Черномор

Н

«Прекрасно! Что же говорили?»
Что говорили! Всякий вздор;
А молвить правду, не хвалили.
Покой оставил Черномор;

Изд. 1835

62—64 Окно, меж тем уставил взор
97 В нее вступил он, и сначала
102—103 К дядям и к теткам с поздравленьем
И в Рождество, и в Новый год
105 У них в беседах самых чинных
Без нетерпенья заседал
И на обедах именинных
Прибор всегдашний занимал.
Но волей полной насладиться
107 И вскоре начал он томиться
110 Ему досадно и смешно
В них показалося одно,
Другое глупо, третье скучно
113—114 Между буянов и повес
Житьем он новым зажил вскоре
Товарищ скромный их сперва,
Потом решительный глава.
Он и уму (что вдвое хуже)
Дал со страстями волю ту же.
Одушевлен в речах своих
Враждою к мнимым предрассудкам,
Подвергнул дерзновенным шуткам
Он все святое для других

123—124 Но, сам не ведая о том,
Он был в разврате хвастуном.
Его пословиц вольнодумных,
Ничуть не новый, впрочем, род
Им в свете дал обширный ход,
И от людей благоразумных
Чудовищем со всех сторон
Елецкой был провозглашен
149 Народной живости кумир
155 Там клепер чует чёт и не́чет
172 К забавам шумным страсти полон
С утра бродил Елецкой мой,
И вот в один из них вошел он,
На то имел он все права,
И под Новинским час и два
С полудня начиная, мода,
По снисхожденью своему,
Делить веселости народа
Не запрещает никому.
174 Остановил свое вниманье
179 Столь благородным выраженьем
189 Елецкой тронулся душою
192—194 Как бодрость в путника ночною
На небе утреннем горя,
Вливает алая заря,—
Так точно, жизнью обновленной,
Страстями долго омраченной
Душе его дохнул тогда
Румянец нежного стыда
201—214 И незнакомку молодую
С тех пор он в сердце заключал
И скоро Веру Волховскую,
Свою соседку, в ней узнал.
Ей дядя, после объяснилось,
Служил заботливым отцом
И, как бывало говорилось,
Держал в Москве открытый дом.
Что пользы, что отрады в этом?
Сношенья все с враждебным светом
Прервал он давнею порой:
Кого и как ему заставить

В почтенный дом его представить,
Его, гонимого молвой?
Что скажет дядя оскорбленной,
Против него предубежденной?
Как он предстанет даже ей?
Но слишком свет его бесславил.
С тех пор, как он его оставил,
После 226 Вседневно нашему герою
Усердный карлик намекал,
Где вероятна встреча с тою,
К которой пламенной мечтою
Он непрестанно улетал.
228 Ходил, бродил за ней он следом
239 В которой Вера Волховская
261 Приближась, поднял он ее

Н, Изд. 1835

266 Внимательный и робкий взор

Н

266 Встревоженной, но долгой взор

Изд. 1835

292—298 Театр? — И тот в разладе этом
Забыт для балов модным светом.
Елецкой сердцем унывал,
Но в зимний холод, как и летом,
Проворный карлик не дремал.
Донес он нашему герою,
Что Вера едет в маскарад
К таким-то. Ожил он душою.
«Спасибо,— молвил,— крайне рад!»
Елецкой незван: что за горе?
На то и маска. Веру вскоре
Увидит он, и почему
С ней в безымянном разговоре
Не познакомиться ему?
И вот уж вечер маскарада
Им ожидаемый настал.
Москва ли тешиться не рада?
Кипит народом светлый зал;
300—307 В лад упоительным смычкам
Кадрили вьются здесь и там.

Кругом, волнуяся, мелькает
Толпа гуляющих гостей,
И половина их большая,
Наряд привычный соблюдая,
Тем выдает еще живей
Бродящих рыцарей, шаманов,
И арлекинов, и брахманов,
Диан, весталок, Флор и фей,
Народов всех веков и наций.
311 «Здоровы ль вы?» Для продолженья
319—324 Смеются наши образцы:
Живых не дразнят мертвецы.
Скрывать лицо под маской душной,
Как ведает читатель мой,
Нельзя девице молодой,
Закону светскому послушной.
И Веру милую тотчас
Нашел Елецкой. Этот раз
На мертвеца он не походит
И чуть с ума ее не сводит,
От Черномора знал о ней
Он много этих мелочей,
377—386 Еще в последнее желал
Взглянуть на Веру он и встретил
Ее невинный, тихий взор,
Прочел в нем дружеской укор,
Мольбу немую в нем заметил —
И скинул маску. Вере зрим
Он был единое мгновенье:
Толпа сгустилась перед ним,
И он исчез, как привиденье.

Н, Изд. 1836

После 386 Когда из блеска жизни светской,
В котором с Верою своей
На миг так близок был Елецкой,
Отшельник, снова чуждый ей,
В своих стенах он очутился,—
Казалось грустному ему,
Что вновь, как узник, погрузился
Он в ненавистную тюрьму,
Из коей на одно мгновенье

Его исторгло сновиденье;
И Веры милый идеал
С тех пор его воображенье
Еще сильнее волновал.
Часы летучие мелькали
И в томном сердце заставали
Все ту же думу, тот же лик.
Чего надеяться могу я?
Порою мыслил он тоскуя;
Нет, заглушу сердечный крик! —
Напрасно: о единой Вере
Мечта в душе его жила
Одна внимаема была.
Когда бы мог, по крайней мере,
Свободно видеться он с ней,
Как всякий светский дуралей!
И предан грустному томленью,
Досадой тайною язвим,
Он ищет способов к сближенью,
Но недоволен ни одним.
Мысль наконец ему блеснула,
Душа в нем весело вздрогнула:
Прекрасно! — шепчет,— я решон!
В театр они, сомненья нету,
Хоть раз поедут в зиму эту...
«Гей, Черномор!» — Явился он.
«Послушай-ка,— сказал Елецкой:
Подъезд у нас точь-в-точь соседской,
Вход не походит ли?» — А что ж?
Ведь и поистине похож!
Да что вам в этом? — «Пригодится:
Незнанье тьма, а знанье свет;
Предупреди, когда случится
Им для театра взять билет».
Не слишком долго ждал Елецкой.
Один предмет беседы светской,
Сердец чувствительных кумир,
Любимец лож, райка, партера,—
Жоко влечет к себе весь мир.
В театр сегодня едет Вера,
Захлопотал Елецкой наш;

Кровь заиграла в нем живее,
Зовет людей: «Найти скорее
Точь-в-точь соседский экипаж.
Теперь смотрите: слушать слово!
С ним у театра ближе стать,
К подъезду прежде всех подать,
Крича: карета Волховского!
В миг посадить господ потом
И привезти ко мне их в дом».
Давно громада городская
Покрылась ночи темнотой;
Давно, прохожих окликая,
Раздался буточников вой;
У моего повесы в доме,
Чтоб обмануть ему верней
Глаза ожиданных гостей,
Давно нигде нет света, кроме
Того покоя, в коем он
Один развязки приключенья
Ждет, полный странного волненья.
Невнятным стуком поражен
Кареты дальной, вспыхнет духом,
Вскочив к окну, приникнет ухом:
Они!.. Неправда! Стихнул гул
Иль в переулок повернул.
Вот наконец пред самым домом
Карета покатилась с громом;
Затрясся, зазвенел весь дом,—
И тишина тотчас потом.
«Да осветите, бога ради!»
Раздался в зале голос дяди;
И наш услужливый герой
К нему выходит со свечой.
Гостям с притворным удивленьем
В глаза он пристально глядит:
«Чему обязан,— говорит,—
Я вашим лестным посещеньем?»
И осмотрелся дядя:
«Ба!
Какая странная судьба!
В чужом мы доме! Извините.

Обеспокоили мы вас.
Домой уедем сей же час!
Вы, негодяи! поглядите,
Куда заехал с вами я!..
Вот славно! Странности какие:
И люди у меня чужие!
Карета верно не моя?» —
Елецкой мнения того же:
«Ужель?» — «Да, так! на то похоже!»
Теперь и чуда в этом нет
В его карету сел сосед.
Своим жильцам, мужчине с дамой,
Он дал ее в тот вечер самой.
(Уж эта басня у шалуна
Была давно сочинена).
Он разговор не опускает;
Свой экипаж он предлагает
Доехать до дому; пока
Садиться просит старика;
Осведомляется учтиво,
С кем так случайно и счастливо
Он познакомлен? — Боже мой!
Иван Петрович Волховской!
Елецкой давнего почтенья
Исполнен к гостю своему
И, безо всякого сомненья,
На днях представится ему.
Пока беседу вел такую
Со старым дядей наш герой,
Он на племянницу младую
Украдкой взглядывал порой.
Бесценный взор он думал встретить,
Узнанье думал в нем заметить:
Напрасная надежда! Он
Не на него был обращен:
Дверь в глубине туманной зала
Вниманье Веры привлекала.
Под ярко-пурпурным платком,
Оттуда, смуглая лицом,
Сверкая черными глазами,
Блистая белыми зубами,

Глядела Сара. Взоры их
Какая сила сопрягала?
В соображениях каких
Мысль у обеих утопала?
Елецкой, проводив гостей,
Был вне себя от восхищенья:
Ему не будет затрудненья
В свиданьях с Верою своей!
Зачем же способ этот странной
К знакомству с ней был избран им?
Иль он не мог путем другим
Достигнуть цели, им желанной?
Зачем со светом не искал
Он понемногу примиренья? —
Он срок желанного сближенья
На долго этим отлагал;
К тому ж однажды, свет оставив,
Свою вражду к нему ославив,
Он изменить себе краснел
И вновь искать в нем не хотел.
Но, может быть, причиной главной
Был дух природно-своенравной,
Противший завсегда идти
Ему по битому пути;
Сей дух, который отступленья
Незрелых лет его рождал,
Мог даже в годы размышленья
Им обладать — и обладал.

Н

В Изд. 1835 вышеприведенная глава имеет следующие сокращения и изменения:

26—45 И помогла ему судьбина.
Не хуже, чем герой Расина
47 Любимец лож, восторг партера
50—60 Вздрогнул душой Елецкой наш,
Разъезд безумный, торопливый;
Немного сходный экипаж...
Чего и думать? план счастливый!
Людей, не медля, он зовет
И приказанья отдает

66–67 *отсутствуют*
105 Была вперед сочинена).

---

388 День новый окна золотил
406–408 Она их не смыкала сном,
Рукой сердитою чесала
Цыганка черные власы,
435 Любимых песней петь не просишь
478–479 Забавить племена чужие
Из пропитанья мы должны
542–543 И хладным ядом проникала
Грусть роковая в сердце ей

СЦ

542–543 И бесполезно призывала
Она свободу прежних дней

Н

546–554 Едва забывшись, пробудился
От грезы счастья наш герой;
Но от того своей душой
Для Веры он не изменился,
И Волховскому отдал он
Ему обещанный поклон.
Однако вряд бы согласился
К себе принять его сосед,
Когда б случайно в самый след
Других гостей он не явился,
Елецкой строгим стариком
Был встречен вовсе не приветно:
Он показал ему заметно,
Что поневоле с ним знаком.
Елецкой в доме Волховского
Уже ногою б не был снова,
Когда б в нетерпеливый миг
С владычицей своих мечтаний
В нем независимых свиданий
Он своенравно не постиг.
Открыто жил сосед почтенной
И балы частые давал,
Меж тем, годами удрученной,
Участья в них не принимал

И сам в палате отдаленной
За мирным вистом заседал.
Все это ведая подробно,
Елецкой наш весьма удобно
Мог всякий раз являться в дом
Совсем не видим стариком

Н

В Изд. 1835 вышеприведенный фрагмент имеет следующие разночтения:

7—10 *отсутствуют*

11—12 Елецкой вовсе неприветно
Был встречен строгим стариком

15—20 Да мало нужды было в том.

---

580 С ней языком открытой страсти

Н

580 С ней языком безумной страсти

Изд. 1835

594 Когда глаза мои у вас

После 703 В сии недели покаянья
У Волховского балов нет;
Затворит дом ему сосед...

Н, Изд. 1835

774 Я, давний ужас всей Москвы

Н

774 А мненье общее Москвы

Изд. 1835

850 Но тот же час его внушенье

897—898 Как с Фимкой Павел Удальской,
А там меня ты не обидишь

Н

После 898 Тут трав-то! трав-то! босиком,
Весь день не пив, не ев, колдунье
Сбирать их надо в полнолунье,
Да нашептать еще потом

Н, Изд. 1835

968 Теперь довольна ли ты мною?

Н

После 1091 Погиб жених ее мгновенный.
Слугами вынесенный в зал,
Труп на столе уже лежал,
Их смутным роем окруженный,
Который сброд обыкновенный
Зевак захожих умножал.
Цыганка в вечер тот несчастной
Внезапно скрылась. Лекарь частной
С двумя квартальными стоял
И подозрительной рукою
Перед встревоженной толпою
Труп посинелый осязал.
Но должностной обряд исправлен;
Для любопытства пищи нет;
Зал полицейскими оставлен,
Все разбрелись за ними вслед.—
Зал опустел. Псалтирь читая,
Дьячок остался с мертвецом,
Да горьки слезы кулаком
Ежеминутно отирая,
В углу стоял, потупя взор,
Осиротелый Черномор.

Н

В Изд. 1835 вышеприведенный фрагмент имеет следующие разночтения:

8 Из дома скрылась. Лекарь частной
15 Дом полицейскими оставлен

1174–1176 В непродолжительное время
К приезжим шумно собралось
И двадцать свеч кругом зажглось

Н

Сумерки

Князю Петру Андреевичу Вяземскому

(с. 271—272)

44 Хоть вам я прозою почтовой

ЦЭ

Последний поэт
(с. 274—276)

5–6 Исчезнули пред светом просвещенья
Поэзии младенческие сны
14 Дышит роскошь, дышит вкус
31–32 Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля
40 От ненастной пучины вод морских
43–44 Жарким сердцем предадимся
Думам хладным, а не им
49 Хладный смех ему ответом... Персты
52 Но пред толпой главы не преклонил
54 В безлюдный край, в немую глушь... Но свет
66 На ней певец, неясной думы полн
68 Сия скала!
77 Но в смятение приводит

Автограф ЦГАЛИ

6 Поэзии младенческие сны

МН

14 Дышит роскошь, блещет вкус

МН, С, ЦЭ, Недошедший автограф.— Изд. 1884, прилож., с. 35

23 Последний сын аттической природы

МН

40 От пенистой пучины вод морских
43 Гордым сердцем покоримся

Изд. 1884

43 Жарким сердцем покоримся

С

43 Вещим сердцем покоримся *

Автограф на экз. С

44 Думам хладным, а не им!

С

52 Но пред толпой главы не преклонил
54 В безлюдный край, в немую глушь... но свет
66 На ней певец, неясной думы полн

МН

68 Сия скала... тень Сафо!.. голос волн...
С

77 Но в смятение приводит
МН

78 Человека глас морской
С, Изд. 1884

«Предрассудок! Он обломок...»
(с. 277)

3–4 Прах остался: а потомок
Смысл его не разгадал.
6 Не признав его лица,
10 Дней ему не сокращай;
ОЗ, Недошедший автограф.— Ак. (I, 302)

Новинское
(с. 277)

1–4 Когда поэта красота
Своей улыбкой оживила,
Не думай, чтоб любви мечта
Его глаза одушевила
ЦЭ, Недошедший автограф.— Изд. 1884, прилож., с. 36

1–4 Как взоры томные свои
Ты на певце остановила,
Не думай, чтоб мечта любви
В его душе заговорила
6 Сей чудный сон воображенья
Недошедший автограф.— Изд. 1884, прилож., с. 36, Список (Мурановский архив)

Приметы
(с. 279)

9 Со древа, пред тайно-грозящей бедой
11–12 Ширяясь над ним в высоте голубой
Орел ободрял дерзновенье;

18 Блаженство любви предрекала
20 Приветная жизнь в ней дышала

«Утренняя заря»

«Всегда и в пурпуре и в злате...»
(с. 280)

6 И ночь твоя светлей, чем день:

ОЗ

«Увы! Творец непервых сил!..»
(с. 280)

2 На двух романах утомил

Недошедший автограф,— см. Изд. 1884, прилож., с. 36, Копия Н. Л. Баратынской (ЦГАЛИ)

11 Уставши от державных дум

ЦЭ, Недошедший автограф

Недоносок
(с. 281—282)

3—4 Долетев до облаков
Опускаюсь я, слабея

МН

3—4 Подымусь до облаков
И паду, крылом слабея

ЦЭ

После 8 Весел я небес красой,
Но слепец я. В разуменье
Мне завистливой судьбой
Не дано их провиденье.
Духи высшие, не я,
Постигают тайны мира,
Мне лишь чувство бытия,
Средь пустых полей эфира.

34—37 *отсутствуют*

МН

45 В тучу кроюсь я, и в ней

Изд. 1884, ЦЭ

47 Страстный глас людских скорбей

ЦЭ

55—56 *отсутствуют* *МН*

56 В тягость твой простор, о вечность!

С

Алкивиад

(с. 283)

1 Облокочен перед медью, образ его отражавшей

3 Юный красавец сидел гордо задумчив и смехом

МН

Ропот

(с. 283)

3 Кто одарил тебя жалом, властным прервать своевольно

ОЗ, ЦЭ

Мудрецу

(с. 284)

3 Нам, изволеньем Зевеса брошенным в мир коловратный,

С

Бокал

(с. 285—286)

35 Пошлой жизни ощущенья
39 Или грезы преисподней
45 Не в беспутном развлеченьи

МН

«Были бури, непогоды...»

(с. 287)

5 Бойкой песнью разольется

С

9 Крупный груз с груди усталой

С, ЦЭ

«На что вы, дни! Юдольный мир явленья...»

(с. 288)

1 На что вы, дни! Знакомый свет явленья
3 Все ведомо, и только повторенья
9 И бедный круг подлунных впечатлений
ОЗ

1 На что вы, дни! Юдольный свет явленья
3 Все те ж они, и только повторенья
9 И бедный круг подлунных впечатлений
ЦЭ

Коттерие
(с. 288)

[Братайтеся к заботливой защите *
Бездарные писцы-хлопотуны *,
Но в свой притон таланта не зовите,
Наоборот, достойные друзья
Реченного, союзным на благое
Воистину вещал он вам, где трое
Вы будете, не буду с вами я]

ЦЭ

Ахилл
(с. 289)

2—5 Древней силы полноту
И кипящего Ахила
Сопротивником явила

Совр.

«Еще, как патриарх, не древен я; моей...»
(с. 290)

6 Под этой розою челом склонись, о ты
Совр.

«Толпе тревожный день приветен, но страшна...»
(с. 291)

1 Толпе — стогласый день приветен; но страшна
3 Раскованной мечты владений своевольных,

6 Земных сует, забот юдольных.
12 Счастливый баловень, и там, в духовном мире,
15–16 Перед заботою земною
Мужайся, не робей изнеженной душою;
18 Призрака грубого коснись твоей рукою,—

ОЗ

18 Виденья грозного коснись твоей рукою

ЦЭ, Недошедший автограф.— Изд 1884, прилож., с. 38

20 Заочной области откроются врата

ОЗ, Недошедший автограф

«Здравствуй, отрок сладкогласной!..»
(с. 292)

4 Честь расцветшему пииту

ЦЭ, Недошедший автограф.— Изд. 1884, прилож., с. 38

4 Честь грядущему пииту

Недошедший автограф

8 Кто тебе мой [отрок] равен *

ЦЭ

«Все мысль да мысль! Художник бедный слова!..»
(с. 293)

4–5 И жизнь, и смерть, и правда без покрова
Резец, клавир, кисть! счастлив, кто влеком

Совр.

Скульптор
(с. 294)

10 И в неге сладостно туманной
14 Пока невольно пламенея

Совр., ЦЭ

17–18 Осмелит страстного творца

Совр.

17–18 Осмелит страстного творца *

ЦЭ

Осень

(с. 295—300)

15 Подымется ненастливый Эол
29–30 Своих холмов и рощей зимний вид
Свинцовый ток туманно отразит
56 Труд, дольний подвиг награждая
62–63 Как он, и ты с надеждой сеял;
Как он, и ты о дальнем дне наград
73 Изведана тобою глубина
После 74 Алкаемых неопытным тобой,
Сердечных нег вкусив отраву,
Ты, может быть, любовью мировой
Пылая, звал и ведал славу?
О, для тебя уже призраков нет,
Их разогнал неодолимый свет!
Кругом себя взор отрезвелый ты
С недоумением обводишь;
Где прежний мир? где мир твоей мечты?
Где он? — ты ищешь, не находишь!
107–110 Угомонит и поздних жалоб в нем
Удушит недостойный лепет
И примешь в грудь, как лучший жизни клад,
Ты дар его, мертвящий душу хлад
114 Вдруг умиленной, вдруг покорной
118–120 Всесильным гласом примиренным
Внимающий в веселье и тиши
Лучам небес раскрывшейся души
126 Не передашь живому звуку
127 И темных чад житейской суеты
128 Знай, дольная иль горняя, она
137–140 Глас, дикий глас, вещатель общих дум,
И страстный отзыв в ней находит,
Но высшего понятия глагол
Дол носится, не отзываясь дол.
143–144 Звезда небес в бездонный мрак падет,
Пусть загорится в них другая:

147—148 **Далекого ее паденья вой**
Как в беспредельности эфира

Совр.

30 **Недвижный ток в тумане отразит**
112 **Порывом муки животворной** *

ЦЭ

125—126 **Знай внутренней твоей вовеки ты**
Не передашь живому звуку

ЦЭ, Недошедшего автографа.— Изд. 1884, прилож., с. 39

136 **Из умиления выводит** *

ЦЭ

151 **Зима идет, а тощая земля**

Недошедший автограф.— Там же.

150 **Познай, тебе грядущей жатвы нет**

ЦЭ

«Благословен святое возвестивший!..»
(с. 301)

10 **Нас иногда чуть явственный намек**

Совр.

10 **Нас в страх ему один намек**

ЦЭ

Рифма
(с. 302—303)

12 **И лиру звучную певца**

Совр.

14—23 *отсутствуют*

Совр.

2 **На стогнах древних городов**
6 **И вольным и широким метром**
41 **Одна с восторженным порывом**

Недошедший автограф.— Изд. 1884, прилож., с. 40

24—27 **Но нашей мысли торжищ нет,**

Но нашей мысли нет форума!..
29 Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума
31 Скажи: твой беспокойный жар
33 Реши вопрос неразрешимый

Изд. 1884

Дополнения

Стихотворения, не вошедшие в издания 1835 и 1842 гг.

3. Портрет В...
(с. 305)

Тебя ль изобразить и ты ль изобразима?
Вчера задумчива, я помню, ты была,
Сегодня ветрена, забавна, весела.
Понятна сердцу ты, уму непостижима.
Не все ль противности в характере твоем?
В тебе чувствительность с холодностью совместна,
Непостоянна ты во всем,
И постоянно ты прелестна.

Автограф ПД

6. К Креницыну
(с. 307—308)

16 *отсутствует*

СО

7. Дельвигу
(с. 309—310)

5 Сыну резвому Венеры
8 Вечный лавр и мирт веселый
12 Скука томно дни прядет
16 Феба луч едва блеснет
18–19 В строй к оружию зовет,
Пробужденный грозным боем.

[21] Твой поэт летит героем
[23—34] Трудно, верь, с душой унылой
Счастье, радость воспевать;
В карауле трудно, милой,
Об Аркадии мечтать!
Ты, ведущий дни в забавах,
На лугах у светлых вод,
Ты, с кем резвятся в дубравах
Музы, нимфы и Эрот,—
Пой, бессмертных сын любимых!
Глас внимать я буду твой,
Как язык страны родимой
Слушают в стране чужой!

СО

15. В альбом
(с. 322)

[2—3] Знать наизусть их имена
Чересчур обязанность трудна

Сор.

[2—3] Всех невозможно помнить вам,
Я справедливость им отдам;

Автограф ПД

[6—7] В тот грубый век, в тот век холодный
Не знали дружбы новомодной

Сор.

[7] Тогда, как знать? иной дикарь

Автограф ПД

[9—10] Почли бы выдумкой негодной,
Что толковать об старине

Сор.

После [10] Мы современники вполне

Автограф ПД

17. Эпиграмма
(с. 324)

[1] Везде бранит поэт Глупон
[8] Поэт Глупон смешной злодей

Недошедший автограф.— Изд. 1884, прилож., с. 27

18. *Размолвка*

(с. 324)

1–4 Прости, сказать ты поспешаешь мне,
И пылкое любви твое начало
Предательски безумца обласкало.
Все видел я — я видел все во сне!
Ты, наконец, мне взоры прояснила;
В душе твоей читаю я теперь.
Проснулся я,— и мне легко, поверь,
Тебя забыть, как ты меня забыла.

НЛ

21. *Эпиграмма*

(с. 328)

1 Свои стихи Дренцов-пиит

Недошедший автограф — Изд. 1884, прилож., с. 27

25. *Эпиграмма*

(с. 330)

1 Что ни толкуй, а я великий муж!
5 Я знаю свет: не все держусь я беса:
9 Макар, мой друг, Макар, душа моя.

МТ

27. *Эпиграмма*

(с. 331)

2–4 Но разницу меж вас находят —
Его стихи выходят в свет,
Твои стихи в печать выходят.

Автограф ПД

36. *«Там, где парил орел двуглавый...»*

(с. 337—338)

5–6 Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень
8 Для русской кисти первый день

Изд. 1884

8–9 Для русской кисти первый день.
Привет тебе Москвы радушной
16 А здесь и слава, и любовь

«Московские ведомости»

37. *«Мою звезду я знаю, знаю...»*
(с. 338)

5 Гоненьям рока, злобе света

«Утренняя заря»

38. *Обеды*
(с. 339)

2–3 Содом гостей, не ведая беседы,
Жует у вас, зевая полным ртом
6–8 И дух играл с играющим вином?
В том древности забытой руководят
Нас знатоки: да гости за столом
10 Числа камен у вас не превосходят

Автограф ПД

42. *На посев леса*
(с. 341—343)

2 Блистает лес одеждой обновленной
17–20 Толкал Глупца души моей порыв,
Он вызвать мог меня на бой кровавый
Но, подо мной подземный ров изрыв,
Свои рога венчал он подлой славой

Автограф ПД I

19 Но, подо мной незримой ров изрыв,

Автограф ПД II

20 Свои рога венчал он грозной славой

«Вчера и сегодня»

22 Высок, но пуст племен новейших колос
23 Я дни извел, стучась к сердцам людей
21–24 Ласкал душой все любящей моей,
Всяк на земле имущий тощий колос.
Извел я дни, стучась в сердца людей,
Всех дум благих я подавал им голос.

26 Но не мечту; печальный, но не злобный
25—28 А между тем не песнями весна
Мной встречена; мне лиры строй несносен,
Рука моя бросает семена
Не спелых дум, но елей, сосен.

Автограф ПД I

43. «Люблю я вас, богини пенья...»
(с. 343)

1—8 Над дерзновенной головою,
Как над землей скопленный пар,
Нависли тучи надо мною,
И за ударом бьет удар.
Я бросил лирную порфиру,
Боюсь явленья бога струн,
Чтоб персты, падшие на лиру,
Не пробудили бы перун

Автограф ПД

46. Дядьке-итальянцу
(с. 346—350)

16 Ты дал мне благодать нерусского надзора

Изд. 1884

99—100 Но чтоб вполне забыв о страстном и мирском
Дремоту лени слить с последним, вечным сном

Недошедший автограф — Изд. 1884, прилож., с. 440

106 Все беззаботному дыханью благосклонно

Изд. 1884

128 Чем вздохи южные с полуденным алоем

Недошедший автограф.— Ак. (I, с. 309)

61. «В своих листах душонкой ты кривишь...»
(с. 358)

6 Какой срамец, все вопиют — Вот известье! *

Автограф ЦГАЛИ

79. *«Наш приятель, Пушкин Лев...»*
(с. 371—372)

1 Наш приятель Пустяков
5 Вам докажут лучше слов

«Русский вестник»

81. *Журналист Фиглярин и Истина*
(с. 373)

3а Марающий позорно *
6 Марающий упорно *
9—11 На бешеные враки
Чутьем приведена
Бесстыдному мараке *

Автограф Пушкина

4 Свой оглашенный лист
12 Мешать пришла она

МТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Л. Г. Фризман

ПОЭТ И ЕГО КНИГИ

Книги имеют свою судьбу,— говорили древние; но судьба книги по-разному сказывалась на судьбе ее творца. Для Радищева судьба его книги определила его судьбу как человека. У Гоголя каждая из его книг — от «Ганса Кюхельгартена» до «Выбранных мест из переписки с друзьями» — веха его пути художника и мыслителя. А Веневитинов умер в 22 года, и его книга вышла в свет, когда ее автора уже не было в живых. Вяземский дожил до глубокой старости, но ему так и не удалось выпустить книгу стихов, которая соответствовала бы его месту в истории русской поэзии.

Сложные соотношения судьбы автора с судьбой его книг уже давно привлекали к себе внимание. «История русской поэзии,— писал полтора века тому назад издатель сочинений Катенина Николай Бахтин,— представляет уже нам довольно разнообразных случаев. Мы имеем стихотворцев, которые при жизни насладились громкою славою, но после смерти преданы забвению. Имеем и таких, которые были почти неизвестны современникам, но ныне уважаются потомками. Есть у нас также примеры, что поэты сохраняют доброе о себе имя публики только потому, что сочинения их рассеяны в журналах и никогда не были собраны и напечатаны отдельно, но едва ли кто-либо из наших стихотворцев изданием полного собрания своих произведений приобрел от современ-

ников похвалу, которою его скупо наделяли прежде» [1].

Судьба Баратынского нерасторжимо связана с судьбой его книг. Каждая из них знаменовала определенный этап жизненного и творческого пути писателя, каждая несет на себе печать чего-то важного и неповторимого: одна позволяет видеть новую грань поэтической индивидуальности автора, другая — этап его творческого роста, третья дает представление о его месте в литературном движении своей эпохи.

Восстанавливая судьбы этих книг, сравнивая их друг с другом, можно по-новому, вернее и глубже ощутить эволюцию их автора как человека и как художника. Вместе с тем такие наблюдения способны дать материал и для более широких выводов. Разные принципы, которые Баратынский в разное время брал в основу построения своих поэтических сборников, несут на себе печать своеобразия не только его творческого облика, но и печать времени, соответствующего этапа литературной эволюции. Эволюционировал тип поэтического сборника в русской и европейской литературе. Изменения эти связаны в конечном итоге с определяющими тенденциями литературного развития. Поэтому интересно сопоставить то, как решал эти вопросы Баратынский, с решениями, которые принимали его современники, а также поэты предшествующей и последующей эпох. Такое сопоставление позволяет яснее увидеть и глубже оценить своеобразие поэзии Баратынского.

---

[1] *Бахтин Н.* От Издателя.— В кн.: *Катенин П.* Сочинения и переводы в стихах. СПб., 1832, ч. I, с. III.

Эпоха, господствующая система эстетических воззрений налагает отпечаток и на тип поэтического сборника, на его состав, на принципы его построения, даже на его название. В XVIII в. заглавие обычно указывает на жанр, потому что и сами сборники строились по жанровому принципу: «Элегии любовные», «Притчи», «Оды торжественные», «Стихотворения духовные» Сумарокова, «Нравоучительные басни» Хераскова и т. п. Когда же в следующую эпоху поэты стремятся акцентировать не жанр, а авторское «я», то и заглавия сборников становятся иными: «Бытие сердца моего», «Сумерки моей жизни» И. Долгорукого, «Мои безделки» Н. Карамзина, «И мои безделки» И. Дмитриева, «И я автор» И. Бахтина, «Плоды моего досуга» Н. Брусилова, «Плоды моей музы» А. Розанова, «Плоды трудов моих» К. Калайдовича, «Мое кое-что» П. Пельского и многие другие [2].

Тип поэтического сборника отражает не только своеобразие литературной эпохи, но и неповторимость творческого лица того или иного автора. Необычность книги Жуковского «Für Wenige», где на каждом развороте читатель видел слева оригинальные тексты немецких поэтов, а справа — русские переводы, объясняется своеобразием места, принадлежащего поэту, который во многом открыл для России немецкую романтическую литературу.

«Опыты в стихах» Батюшкова отразили направление его творческих поисков. Состав раздела «Элегии», открывающего книгу, непосредственно связан с целью, которую ставил перед собой поэт,— «область

---

[2] См. об этом: *Гуковский Г. А.* О русском классицизме.— В кн.: «Поэтика». Л.: Academia, 1929, вып. V, с. 64—65.

элегии расширить». И сборник стихотворений Дельвига, выпущенный в 1829 г., самим построением своим запечатлел своеобразие творческого пути именно этого поэта. Его открывает отдел «Идиллии» — стихи, которыми так восхищался Пушкин («Идиллии Дельвига для меня удивительны», XI, 58). Далее шли «Песни и романсы», «Сонеты», к которым Дельвиг обратился одним из первых в России и для которых «забывал Гекзаметра священные напевы», и лишь последней была обычная рубрика: «Разные стихотворения». Подобных примеров можно привести немало. Изучая книгу, ее построение, ее состав, ее путь, мы полнее, глубже представляем себе ее автора. Это в полной мере относится и к книгам Баратынского.

* * *

Евгений Абрамович Баратынский родился 19 марта 1800 г. [3] в имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Имение это было частью большого села Вяжля, которое Павел I в 1797 г. подарил братьям Боратынским — Абраму Андреевичу и Богдану Андреевичу. В 1802 г. Вяжлю разделили между братьями, и Абрам Андреевич поселился в той части села, которая называлась Мара. Название это татарского

[3] До недавнего времени общепринятой считалась другая дата — 19 февраля. Но несколько лет тому назад В. Г. Шпильчин обнаружил в метрической книге Покровской церкви села Вяжля Кирсановского уезда, находящейся в государственном архиве Тамбовской области, следующую запись, сделанную священником Ларионом Федотовым: «У князя Аврама Андреева Баратынского сын Евгений родился 7 марта. крешен 8 марта. Воспреемник помещик Иван Егоров». См.: *Шпильчин В. Г.* Когда родился Баратынский. — Тамбовская правда, 1976, 27 февр.

происхождения и в переводе означает «овраг». Мару действительно рассекал глубокий овраг. Когда-то в этих местах существовало много татарских поселений, что дало повод Баратынскому однажды назвать Мару своей «татарской родиной». Поэт и беллетрист Н. Ф. Павлов, посетивший ее в 1832 г., писал:

Там, где толпилися татары,
Где веки замели их след,
Где буйный вихорь их побед
Едва нам слышен в звуках Мары...[4]

Баратынский надолго сохранил теплые чувства к Маре. С посещением родных мест, с воспоминаниями детства связаны такие стихи, как «Я возвращусь к вам, поля моих отцов...», «Судьбой наложенные цепи...», «Я посетил тебя, пленительная сень...».

Сведения, которыми мы располагаем о детстве и юности будущего поэта, относительно скудны. Он получил обычное для юношей из дворянских семей домашнее образование. Среди его учителей был итальянец Джачинто Боргезе, природный ум и доброта которого произвели на Баратынского неизгладимое впечатление. Нежную привязанность к «дядьке-итальянцу» он сохранил на всю жизнь и посвятил ему свое последнее стихотворение.

Боргезе сопровождал своего питомца, когда в 1808 г. семья переехала в Москву. Здесь ее ждал тяжелый удар: скоропостижно скончался Абрам Андреевич Боратынский, оставив вдову с семью маленькими детьми. Современники вспоминали его как человека, наделенного незаурядным умом, тактом и

[4] *Павлов Н. Ф.* Повести и стихи. М.: Гослитиздат, 1957, с. 304.

терпением. Даже не щедрый на добрые слова Ф. Ф. Вигель характеризовал Абрама Андреевича как «человека благонамеренного, ласкового, с столь же приятными формами лица, как и обхождения» [5]. При Павле I отец поэта сделал стремительную карьеру, дослужился до генерал-лейтенанта, но, чем-то не угодив капризному царю, неожиданно ушел в отставку и больше на службу не вернулся. Его вдова, Александра Федоровна, с достоинством и большой силой духа вынесла все тяготы, выпавшие на ее долю. Баратынский очень любил свою мать, постоянно писал ей, до конца дней делился с нею самыми задушевными мыслями и дорожил ее мнением. Благодаря энергии и настойчивости А. Ф. Боратынской ее сын в 1812 г. был зачислен в петербургский Пажеский корпус. Это событие, казавшееся тогда радостным, обернулось бедой, наложившей тяжелый отпечаток на всю последующую жизнь поэта.

Обстановка бездушия и формализма, безразличие воспитателей к интересам и занятиям их питомцев делали пребывание в корпусе унылым и тягостным. Баратынский тосковал и томился. Им владела мечта о морской службе, полной опасностей и романтики. Книги о разбойниках «во всех возможных лесах и подземельях» и в особенности Карл Моор Шиллера разгорячили воображение юноши. Разбойничья жизнь стала казаться ему «завиднейшею в свете» (*Изд. 1951*, с. 465). Вместе с товарищами он создал «Общество мстителей» и участвовал во всевозможных проделках, досаждавших корпусному начальству. В феврале 1816 г. «мстители» тайком отперли бюро в доме

[5] *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1891, т. I, с. 91.

отца одного из воспитанников, вынули оттуда черепаховую табакерку и деньги, часть которых истратили на сладости.

За этот проступок Баратынский был исключен из корпуса и отправлен в провинцию на попечение родственников. Александр I запретил принимать его на какую-либо службу, кроме военной, и только рядовым. Пойти на военную службу рядовым, заслужить производство в офицеры, а вместе с ним реабилитацию — таков был для Баратынского единственный путь к тому, чтобы вернуть себе положение в обществе, и спустя два года, оправившись от нервного потрясения, вызванного происшедшим, он вернулся в Петербург и вступил здесь в лейб-гвардии егерский полк.

В столице начинающий поэт быстро завязывает широкие литературные связи. Он сближается с Дельвигом, который стал одним из его ближайших друзей. Дельвиг (как позднее Станкевич) сыграл в истории литературы роль, несводимую лишь к значению его собственных произведений. Он был одним из умственных центров своей эпохи, пользовался большим влиянием на всех или почти всех, с кем постоянно общался. Дельвиг укрепил в Баратынском веру в его призвание, по его собственным словам, «певца Пиров... с музой подружил» [6], познакомил его с Пушкиным, Кюхельбекером, Гнедичем, Ф. Глинкой.

Но пребывание Баратынского в Петербурге оказалось недолгим. В январе 1820 г. он был произведен в унтер-офицеры с переводом в Нейшлотский полк,

---

[6] *Дельвиг А. А.* Полн. собр. стихотворений. Л.: Изд-во писателей, 1934, с. 157.

расквартированный в Финляндии, в которой поэту довелось провести почти шесть лет. Именно в эти годы имя Баратынского стало известно всей читающей России. Элегия «Финляндия» и ряд других последовавших за нею стихотворений закрепили за Баратынским репутацию «певца Финляндии». Заочно он был принят в «Вольное общество любителей российской словесности». Нередко произведения поэта приходилось обсуждать в его отсутствие. В таких случаях в протоколах появлялась запись: «Не присутствовал по известным причинам».

Хлопоты друзей Баратынского, добивавшихся у Александра I смягчения его участи, долго оставались безуспешными. Настойчивый отказ царя произвести Баратынского в офицеры не без основания связывали с неблагонадежными дружескими связями поэта, с независимым, оппозиционным характером его творчества. Сосланного в Финляндию Баратынского считали жертвой произвола и охотно сравнивали с другим опальным поэтом — Пушкиным. В «Вольном обществе» Баратынский примыкал к левому крылу, его стихи фигурировали в известном каразинском доносе, антиправительственные разговоры, которые он вел, были известны, декабристские темы и настроения широко и многосторонне отразились в его творчестве. Организационно он не был декабристом, но и его захватил поток идей, которые получили свое прямое и полное воплощение в деятельности тайных обществ.

Не случайно, когда в 1823 г. возникла мысль о подготовке первого сборника стихотворений Баратынского, которую живший в Финляндии поэт, естественно, не мог осуществить, он обратился за помощью к «любезным братьям» — Рылееву и Бестужеву. Не слу-

чайно, однако, и то, что идея эта так и не воплотилась в жизнь. 5 сентября 1823 г. Бестужев писал Вяземскому: «Здесь был Баратынский, у которого мы купили его сочинения за 1000 рублей» [7]. Но книга требовала кропотливой подготовки, а близость между Баратынским, с одной стороны, и издателями «Полярной звезды» — с другой, оказалась непродолжительной. Будущие декабристы охладевали к Баратынскому; они еще были заинтересованы в его стихах, чтобы поддержать «Полярную звезду», но не жаждали взять на себя роль издателей его сочинений. Их настойчивые попытки привлечь его к гражданской тематике терпели неудачу. Об этом свидетельствовали и стихи «Г⟨неди⟩чу», и отказ Баратынского от участия в переводе тираноборческой трагедии Александра Гиро «Маккавеи» [8].

Необходимо учитывать и то, что 1823—1825 гг.— период постепенного, но неуклонного перехода Бестужева и Рылеева на более радикальные политические позиции и соответствующих изменений в их отношении к литературе, усиливающегося внимания к ее общественному звучанию и воспитательному воздействию на современников. Новым литературным и общественным воззрениям будущих декабристов импонировал иной тип книги. Сборником стихотворений подобного типа были, например, «Думы» Рылеева с

[7] Литературное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1956, т. 60, кн. 1, с. 207.

[8] См. вдумчивый анализ этого эпизода биографии Баратынского в книге Гейра Хетсо «Евгений Баратынский. Жизнь и творчество» (Oslo; Bergen; Tromso; Universitetforlaget, 1973, с. 78—79).

их откровенно агитационной установкой и ярко выраженным политическим пафосом.

Так случилось, что первая книга поэта еще не вышла в свет, а ее судьба уже отразила одну из наиболее значительных сторон идейно-творческой биографии поэта — сложность его взаимоотношений с декабристами. Это наложило свой отпечаток и па отдельное издание его первой поэмы.

Весной 1824 г., когда Баратынский еще считал, что его издателями будут Рылеев и Бестужев, он написал им письмо, где, в частности, говорится: «Возьмите на себя, любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны» (*Изд. 1951*, с. 469—470).

Мы не располагаем тетрадью, о которой идет речь, и не можем, сопоставив ее с изданием, которое в конце концов было осуществлено в 1827 г. самим Баратынским, установить тенденции «пересмотра», «классификации», о необходимости которых говорил поэт. Но ясно, что какой-то порядок в этой тетради уже был: так, элегии делились на книги; но Баратынский подчеркивал, что порядок этот несовершенен, что расположение стихотворений в недостаточной степени делает зримой для читателя ту их соотнесенность друг с другом, которая в них объективно заложена. Пользуясь позднейшей терминологией, Баратынский говорит здесь о циклизации своих стихотворений.

Произведения каждого писателя всегда в большей или меньшей степени поясняют друг друга, потому что углубляют представления о своеобразии его творческого облика, о специфике форм выражения его авторского сознания, о его литературной манере. Способность произведений пояснить друг друга особенно возрастает, когда речь идет о вещах, связанных жанровой или тематической общностью. Эта способность не планируется автором — она представляет собой следствие объективного свойства литературы — целостности творчества каждого писателя.

Но иногда писатель сознательно использует это свойство, создавая ряд произведений, связанных друг с другом, дополняющих друг друга, причем каждое из них решает не только свою задачу, но и часть более общей и широкой сверхзадачи. Тогда и возникает явление, которое правомерно назвать циклизацией произведений. При этом несущественно, предшествует ли замысел цикла созданию отдельных составляющих его частей, или автор сводит воедино ранее написанные им произведения. Важно, что предметом рассмотрения и изучения должен быть творческий акт, а не произвольно отобранные нами связи между разными литературными произведениями данного автора. Исследователь вправе формировать любые ряды литературных произведений, контекстное рассмотрение которых помогает решению стоящих перед ним задач. Он может рассматривать стихотворение «Любви, надежды, тихой славы...» в соотнесении с «Вольностью», или с «Деревней», или с другим посланием к Чаадаеву («К чему холодные сомненья...»), или с какими-то другими произведениями Пушкина. Но если каждый такой ряд именовать циклом, этот термин

утратит определенность, конкретный историко-литературный и теоретико-литературный смысл.

Баратынский создал на протяжении своего творческого пути один несомненный лирический цикл — «Сумерки». Но создание его не было ни случайностью, ни изолированным творческим актом — это был в известном смысле итог тех исканий, которым он отдал всю жизнь. Три собрания стихотворений Баратынского — 1827, 1835 и 1842 гг.— это три попытки воплотить единый в своих основах замысел. Мы называем его единым с некоторой долей условности — в чем-то он и менялся и уточнялся. Но это был замысел создания сборника, реализующего ту связь между стихотворениями Баратынского, которая, по его убеждению, была в них заложена.

Этот замысел, осуществляемый на протяжении всей жизни, был одной из определяющих особенностей творческой биографии Баратынского. Но важно рассмотреть его и в более широкой историко-литературной перспективе. Он выразил объективную закономерность литературного движения, и действие этой закономерности можно видеть в творчестве разных поэтов XIX в. *От собрания стихотворений к лирическому циклу* — этой формулой можно охарактеризовать эволюцию принципов построения поэтического сборника у Баратынского, и не только у Баратынского.

«Стихотворения Евгения Баратынского», вышедшие в Москве в 1827 г., по типу издания были близки к «Опытам в стихах» Батюшкова и к «Стихотворениям Александра Пушкина» (1826). Однако в книге Баратынского мы видим одно интересное и важное решение, продиктованное, по-видимому, стремлением об-

новить структуру поэтического сборника в сравнении с той, которую приняли Батюшков и Пушкин. Это группировка элегий в три книги.

Не подлежит сомнению, что Баратынский подходил к ней очень тщательно и с продуманными критериями. Стихотворения «Пора покинуть, милый друг...» и «Отъезд» («Прощай, отчизна непогоды...»), напечатанные когда-то в «Соревнователе просвещения и благотворения» рядом и под общим заголовком «Элегии», оказались здесь в разных книгах. Из двух элегий — «Разуверение» и «Нет, не бывать тому, что было прежде!..» — в сборник вошла только первая. Расчленение элегий Баратынского на книги объясняется, по-видимому, тем, что поэт отдавал себе отчет в расширении рамок элегического жанра, охватывавшего в поэзии его времени разные и нередко непохожие друг на друга стихотворения, и ощущал необходимость внутренней классификации элегий, выделения определенных групп в рамках соответствующего жанра.

Русская элегия пережила в середине 20-х годов острый кризис, ее место в литературе и перспективы ее развития послужили темой ожесточенной полемики, последовавшей за выходом в свет статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» [9]. Баратынский во многом солидаризировался с Кюхельбекером, но не принял сурового приговора, вынесенного критиком элегическому жанру, и попытался самим построени-

[9] См.: *Фризман Л. Г.* Жизнь лирического жанра: Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. М.: Наука, 1976, с. 60—76.

ем своей книги показать, что элегия отнюдь не так однообразна, как это представлялось Кюхельбекеру.

Интересно отметить, что и Пушкин, готовя издание 1826 г., разделил свои элегии на две группы: элегические фрагменты, написанные под влиянием К. Батюшкова и А. Шенье, были отделены от крупных элегий и составили самостоятельный отдел «Подражания древним». Вместе с тем есть разница между решениями, к которым пришли Пушкин и Баратынский. Уже тем, что Пушкин избрал для своих элегических фрагментов иное жанровое наименование, он дал понять, что не считает эти стихи элегиями в полном смысле слова. Баратынский же пытался классифицировать именно элегии, установить некие идейно-тематические стержни, объединяющие группы стихотворений внутри жанра. Не следует видеть в этих попытках более того, что они действительно собой представляют. Баратынский не мог бы сказать о своем сборнике так, как позднее скажет о своем Блок: «...Каждое *стихотворение* необходимо для образования *главы*; из нескольких глав составляется *книга*, каждая книга есть часть *трилогии*; всю трилогию я могу назвать «романом в стихах»...» [10]. Баратынский только отметил, что его стихи «до известной степени способны» и по расположению представить между собой «некоторую связь». Эта связь и объединяет каждую из трех книг отдела «Элегии» в самостоятельное целое, что и хотелось бы проследить.

В первой книге собраны философские элегии. Она открывается «Финляндией», за которой следует «Во-

[10] *Блок А. А.* Собр. соч.: В 8-ми т. М.: Худож. лит., 1960, т. 1, с. 559.

допад», «Истина», «Череп», «Рим», «Родина», «Две доли» и, наконец, «Буря». Сквозь эти стихотворения явственно проходит ведущая тема книги — тема судьбы. Обращает на себя внимание полное и, конечно, предусмотренное авторским замыслом отсутствие в ней любовных стихотворений, которых немало во второй и третьей книгах.

Элегии подобраны так, что традиционная для романтической поэзии тема судьбы получает своеобразное освещение. Это не тема «неизбежимого рока», фатально стерегущего нас «на всех путях», столь характерная для Жуковского и его последователей. Такая трактовка темы судьбы не была чужда Баратынскому и нашла воплощение в некоторых его произведениях, например в стихотворении «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...». Но это стихотворение не попало в первую книгу «Элегий», где оно прозвучало бы диссонансом, а было включено в «Смесь». Тема судьбы, как она звучит в элегиях первой книги,— это тема индивидуальной судьбы человека и судеб разных людей. Каждое стихотворение чем-то обогащает эту тему. В начальной и наиболее общей постановке тема задана первой элегией книги — «Финляндия». Стихотворение строится на контрастном сопоставлении двух идей, двух воззрений. Кажется, все его содержание, исторические размышления героя, его мысленные экскурсы в прошлое ведут к фатальному выводу:

О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвения!

Однако герой не соглашается покориться всесилию этого закона:

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!

Другое принципиальное стихотворение первой книги — «Истина». В нем ставится проблема выбора жизненного пути, выбора цели, пути к счастью. Один путь предлагает Истина — отрадное бесстрастье, отказ от всех прелестей бытия. Другой, противоположный путь, которому отдает предпочтение герой,— искания и надежды на счастье. В «Черепе» антитеза разных судеб оборачивается иной стороной: участь живых противопоставлена участи мертвых: «Живи живой, спокойно тлей мертвец!»; «Не подчинишь одним законам ты / И света шум и тишину кладбища!»; «Пусть радости живущим жизнь дарит, / А смерть сама их умереть научит».

Но это противопоставление не абсолютно. Ведь и судьба живых — стать мертвыми. Об этом — элегия «Рим». Некогда «земли самовластитель», некогда «свободный Рим», «град пышный», «родина мужей» — ныне — «в позорище племен, / Как пышный саркофаг погибших поколений», «призрак-обвинитель».

Проблема разных судеб, проблема поисков пути в жизни, поисков не призрака счастья, а счастья подлинного лежит в основе элегии «Родина»:

Пускай другие чтут приличия законы,
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд...

Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
Науке размерять окопы боевые,

Герой стихотворения видит свою судьбу, свое счастье в ином — в уединении под «кровлею родимой», в отказе от погони за почестями и богатством, в удалении от «толпы взыскательных судей» и «бурь света», «в сладчайших трудах», на «мирных пажитях» и в творчестве.

Завершается книга двумя стихотворениями, в которых воплощены два взгляда на судьбу, на проблему выбора жизненного пути. Мысль, выражаемая первым из этих стихотворений: те, кто познал истинную мудрость, «тщету утех», «печали власть», должны отказаться от волнений и надежд, жить «в тиши», беречь «хлад спасительный / Своей бездейственной души». Однако последнее стихотворение страстно оспоривает эту философию:

В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Во второй книге элегий философская проблематика, тема судьбы получают иное освещение. В первой книге сосредоточены элегии, где философские проблемы ставятся наиболее обобщенно, элегии философские в прямом смысле этого слова. Во второй эти проблемы переплетаются с темами любви и дружбы. Первое стихотворение книги — «Разлука» задает минорный тон всем собранным здесь элегиям (исклю-

чение составляет только одна элегия «Бдение»). Каждое стихотворение второй книги — это жизненная или психологическая коллизия: печаль героя, разлученного с «полями родными», осужденного «в стране чужой» окончить «век унылый» («В альбом»), глубокое разочарование в жизни и чувствах, неспособность «больной души» наслаждаться радостями жизни («Ропот», «Уныние»), неверие в жизнь и любовь, в нежность и обольщения («Разуверение»), прощание «младого певца» с юностью, с радостями жизни и, наконец, его гибель («Падение листьев»).

Элегия «Подражание Лафару», открывающая третью книгу и определяющая тональность включенных в нее стихотворений, содержит явную полемику со второй книгой. Первые стихи этой элегии рисуют ретроспективную картину тех чувств, которые анализировались в предыдущей книге:

Свободу дав тоске моей,
Уединенный, я недавно
О наслажденьях прежних дней
Жалел и плакал своенравно.
Все обмануло, думал я,
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой,
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердца мертвой тишиной!

Но здесь — как это нередко бывает у Баратынского — следует резкий поворот лирической темы. Представший герою Купидон призывает его «воскреснуть сердцем»:

О чем вздыхаешь,— молвил он,—
О чем грустишь, неблагодарный?
Забудь печальные мечты:
Я вечно юн, и я с тобою!

И сосредоточенные в третьей книге «эротические» элегии развивают, обогащают, по-новому аранжируют эту мысль.

Темы элегий третьей книги те же, что и во второй: любовь, дружба — но освещение их иное. В «Черепе», в «Падении листьев» смерть обрисована в трагических тонах — это воистину смерть, конец всех радостей, надежд, конец всего.

А в «Элизийских полях» о грядущей кончине говорится шутливо и беззаботно. Смерть иронически именуется «новосельем». «Урочные часы» кончины ничего не изменят во времяпрепровождении неисправимого эпикурейца:

Где б ни жил я, мне все равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.
Не изменясь в подземном мире,
И там на шаловливой лире
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

Он верит в «прием радушный», который ждет его «в закоцитной стороне», в то, что и «у врат Айдеса» звучат приветы, встречаются друзья, наполняются дружеские чаши.

Снимается трагизм и в любовных элегиях третьей книги. В стихотворении «Поцелуй» герой погружен в сладостный сон («Мне снишься ты, мне снится наслажденье...»), в «Делии», в «Оправдании» он вершит суд над «жестокой», обвиняет ее, уходит из-под ее

власти. Надежда на грядущие радости любви пронизывает «Ожидание» и «Возвращение». Этой же надеждой он делится с Коншиным:

Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души...

Заключительная элегия третьей книги — «Эпилог» — звучит как завершение всего отдела элегий. Она полемически перекликается и со стихотворениями первой книги, в частности с «Финляндией», создавая таким образом контрастное обрамление всего отдела «Элегий».

Герой «Финляндии» находит в «бренчании незвонких струн» источник внутреннего удовлетворения. Звуки — достаточная награда «невнимаемому» поэту. Они делают его «вечным для себя». В уединении «дома отеческого», воспетого в «Родине», поэт не расстанется со «свирелью и струнами», с «мирной цевницей». А «Эпилог» провозглашает решимость расстаться и с любовью, и с поэзией:

Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыпленьем,
Я не хочу притворным исступленьем
Обманывать ни юных дев, ни муз.

Органическое завершение отдела элегий, «Эпилог» представляет собой не менее органическую часть именно третьей книги с ее непринужденной, беззаботной

тональностью. Мы видим здесь образы, слова, знакомые по элегиям второй книги, но они наполняются иным смыслом. «Я сплю, мне сладко усыпленье»,—писал Баратынский в «Разуверении», и в этой строке звучала безысходная грусть. Это усыпление человека разочарованного, «больнова», неспособного на любовь, не верящего «сновиденьям», погруженного в «слепую тоску». А в «Эпилоге» усыпление — «счастливое». Оно лелеет. Оно — желанный отдых. И отказ от творчества провозглашается полушутливо — совсем не так, как позднее, в стихах «На посев леса», где его сопровождают минорные, трагические аккорды.

Разделение элегий на книги — наиболее существенная и принципиальная черта, характеризующая своеобразие издания 1827 г., определяющая его место в ряду многочисленных поэтических сборников, выходивших в России в первые десятилетия XIX в. В этом разделении проявилось убеждение Баратынского, что элегический жанр в поэзии его времени и в его творчестве, в частности, стал многообразным, что сложились, дифференцировались различные типы элегических стихотворений. В качестве таких типов Баратынский выделяет философские элегии, «унылые» элегии и «эротические» элегии. Это разделение помогло читателю лучше понять, ощутить многообразие элегического творчества поэта, уже завоевавшего, по мнению его современников, пальму первенства в элегическом роде.

Сборник 1827 г. был благожелательно встречен критикой. «Стихотворения Баратынского удовлетворяют всем требованиям самых разборчивых любителей и судей поэзии, — писал О. М. Сомов, — в них найдешь все совершенства, достающиеся в удел немногим ис-

тинным поэтам: и пламенное воображение, и отчетливость в создании, и чистоту языка, и прелестную гармонию стихов» [11]. Даже Ф. В. Булгарин относил Баратынского «к малому разряду отличных элегических поэтов не только в России, но и в других странах» [12].

Обстоятельства личной жизни как будто складывались благоприятно. Добившись долгожданного производства в офицеры, Баратынский вышел в отставку и вскоре женился. По многочисленным свидетельствам, брак оказался счастливым. Любовь и восхищение женой, которой посвящены многие стихи поэта, не покидали его до конца дней.

И тем не менее новый этап жизни Баратынского оказался для него тяжелее и безрадостнее лет финской ссылки. Разгром декабрьского восстания заставил с небывалой прежде остротой ощутить свое одиночество.

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

Раньше казалось, что люди, «не властные в своей судьбе», с оковами на ногах, могут быть духовно независимы от деспотизма. В финской ссылке поэт писал, что «не убит неволей,

Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую, для духа нет оков...

Теперь он убедился, что «самым духом мы рабы/Земной, насмешливой судьбы», что и душа отравлена, запятнана тлетворным влиянием «мира явного». С

---

[11] Сын отечества, 1827, ч. 116, с. 78.
[12] Северная пчела, 1827, № 145.

этого времени философия и поэзия Баратынского приобретают более трагическое звучание. Поэт пытался бороться: «Против партий должно действовать партиями»[13], — убеждал он Вяземского. Он был одним из активных участников пушкинского литературного круга, отстаивал его позиции в многочисленных эпиграммах, направленных против Булгарина, Каченовского, Полевого, Надеждина, сотрудничал в «Северных цветах» и «Литературной газете» — изданиях, вдохновителем и участником которых был Пушкин.

Решение И. В. Киреевского издавать журнал «Европеец» вызвало в нем новый прилив творческой энергии. Но «Европеец» был закрыт в 1832 г. на третьем номере, и это повергло Баратынского в состояние, близкое к отчаянию. «От запрещения твоего журнала не могу опомниться... — писал он Киреевскому. — Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным» (*Изд. 1951*, с. 516). Баратынский напомнил Киреевскому изречение Виланда, которое процитировал когда-то Карамзин, выступая с речью в Академии Российской: «Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитае-

[13] Старина и новизна, 1902, № 5, с. 48.

ма, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления» (*Изд. 1951*, с. 519).

С такими настроениями Баратынский принялся за подготовку нового собрания сочинений. Он подверг тщательной доделке и переработке значительную часть написанного ранее. В тридцать с небольшим лет поэт подводил итоги творческого пути. В отличие от сборника 1827 г. в новое издание включались и поэмы. «Кажется, оно в самом деле будет последним, и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не настало» (*Изд. 1951*, с. 520).

С каждым годом Баратынский чувствовал себя все более одиноким. Тесная дружба с Киреевским и Языковым сменилась взаимным отчуждением. По-видимому, оно было связано с эволюцией Киреевского и Языкова к славянофильству, которое всегда было глубоко чуждо Баратынскому. Столь же непрочными оказались связи Баратынского с кругом «Московского наблюдателя». Ухудшились отношения с Пушкиным. «Баратынский... очень мил, — замечает Пушкин. — Но мы как-то холодны друг ко другу» (XVI, 116).

Одиночество Баратынского было не только чертой его личной судьбы — это была судьба поколения, оказавшегося на историческом перепутье. О трагедии этого поколения поведали Чаадаев и Веневитинов, Грибоедов и Лермонтов. Пессимизм Баратынского явился осознанием противоречий окружающей действительности, обостренных разгромом декабристов и николаевской реакцией. М. Горький писал, что при капитализме общественный строй сводится «к бесчеловечному, грязному делу наживы», что порождает в душах наиболее талантливых и честных детей бур-

жуазии «склонность к «мировой скорби», к пессимизму и мизантропии». Среди писателей, охваченных такими настроениями, Горький назвал Баратынского [14].

«Железный век», наступление которого с таким отчаянием видел Баратынский,— это век пошлого расчета, его зло — в приверженности к «корысти», к «насущному и полезному»; люди отвернулись от поэзии во имя «промышленных забот», погони за золотым тельцом и этим обрекли себя на духовную гибель. Человечество существует, пока жива поэзия. Гибель последнего поэта — это гибель человечества. Не эта ли мысль, с необычайной силой развитая в стихотворении Баратынского «Последний поэт», запала в душу Пушкина и побудила его сказать: «... Славен буду я,/ Доколь в подлунном мире/Жив будет хоть один пиит»?

Но, глубоко и верно уловив болезнь своего времени, Баратынский не видел путей к избавлению от нее. В его лирике прозвучал крик боли и отчаяния, вырвавшийся у людей, которых, по словам Белинского, «разложение и гниение элементов старой общественности, продажность, нравственный разврат и оскудение жизни и доблести в современном — заставляют отчаиваться за будущую участь человечества» [15].

Второе собрание стихотворений Баратынского построено совершенно иначе, чем первое. Жанровый принцип отставлен. Напротив, произведения различных лирических жанров перемежаются друг с другом на протяжении всего сборника. Элегия («Притворной нежности не требуй от меня...») соседствует с мадри-

---

[14] *Горький А. М.* О «Библиотеке поэта».— В кн.: Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 26, с. 176.

[15] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. VI, с. 477.

галом («Взгляните, свежестью младой...»). Послание («Н. И. Гнедичу») располагается между эпиграммой («Окогченная летунья...») и надписью («Взгляни на лик холодный сей...»). Мысль расположить свои стихотворения так, чтобы они «представляли некоторую связь между собою», не была отброшена, но характер этой связи изменился.

Анализируя издание 1835 г., следует учитывать, что, когда Баратынский готовил эту книгу, обдумывал ее композицию, перед его мысленным взором была структура «Стихотворений Александра Пушкина»: две первые части этого собрания вышли в 1829 г., а третья — в 1832 г.

Творческий опыт Пушкина всегда оказывал большое влияние на направление и характер поисков Баратынского. Отдавая себе отчет в значении этого опыта, Баратынский сознательно заботился о том, чтобы не попадать «в след» своего великого современника. У Пушкина было множество подражателей, снизивших, измельчивших смысл его художественных открытий. Баратынский отдавал себе отчет в том, что поиски самостоятельных, независимых путей в литературе связаны со стремлением и способностью не копировать сделанное Пушкиным, как бы совершенно оно ни было. Раздумья над южными поэмами наложили отпечаток на замысел «Эды». 14-стишная строфа «Бала» родилась в попытках модернизировать онегинскую строфу [16], повесть «Перстень» явилась своеобразной реакцией на «Повести Белкина». Издание 1835 г., от-

[16] См.: *Розанов И. Н.* Ранние подражания «Евгению Онегину».— В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936, т. 2, с. 215.

нюдь не повторяя сборники Пушкина, строилось, однако, на тщательном анализе особенностей их структуры.

Построение сборников «Стихотворения Александра Пушкина» детально исследовано Н. В. Измайловым. Композиция этих сборников определялась двумя тенденциями: наряду с хронологическим принципом, распределением произведений по годам, была «проведена, хотя и непоследовательно, другая система, основанная на идейно-тематическом значении важнейших, определяющих и опорных произведений, выделенных почти в каждом году» [17]. Эта система проявилась и в тенденции начинать каждый год произведением значительным, характерным для того или иного периода творчества, и в том, что «расположение стихотворений внутри каждого года отнюдь не хаотично, а строго обдумано и имеет глубокий внутренний смысл»: в их расположении просматривается стремление группировать стихотворения «тематически и по смыслу», создавая из них своего рода циклы или смысловые ряды. Исследуя, в частности, списки стихотворений, предназначенных для включения в сборник 1832 г., Н. В. Измайлов отметил, что произведения большого общественно-политического, философского и психологического значения перемежаются с вещами менее значительными, с эпиграммами, но среди этого, может быть, рассчитанного «беспорядка» возникают контуры «кавказского цикла», который «можно по праву назвать... циклом в подлинном смысле слова, более заслуживающим такого определения, чем какие-либо

[17] *Измайлов Н. В.* Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20—30-х годов.— В его кн.: Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975, с. 216.

другие тематические ряды....» Наряду с «кавказским циклом» в издании 1832 г. были сгруппированы по идейно-тематическим и художественным признакам и другие стихотворения (антологические стихи, написанные в античных формах — «Поэту» и «Ответ анониму», стихи о польском восстании и т. д.) [18]. Настойчивое стремление Пушкина к циклизации стихотворений приводит в дальнейшем к известному замыслу «цикла» 1836 г., определяемого цифрами, поставленными на рукописях стихотворений «Отцы пустынники и жены непорочны», «Как с древа сорвался предатель ученик», «Мирская власть» и «Из Пиндемонти» [19].

Об этом замысле Баратынский почти наверняка ничего не знал, но первые три части «Стихотворений Александра Пушкина» были ему хорошо известны, и принципы композиции пушкинских сборников, конечно, учитывались им при подготовке издания 1835 г. Кое-какие попытки идейно-тематической группировки стихотворений внутри сборников встречаются и у других поэтов. Например, в построении «Стихотворений» Д. В. Давыдова (М., 1832) трудно усмотреть какую-то общую тенденцию, но пять элегий собраны вместе, рядом стоят два послания Бурцеву, группируются стихи, связанные темой 1812 г.

Построение сборника, выпущенного Баратынским в 1835 г., может быть в какой-то мере пояснено стихотворением, которое было написано как его поэтическое предисловие, но затем — по неустановленным причинам — в книгу не попало. Это стихотворение — «Вот

[18] Там же, с. 216—230.

[19] *Измайлов Н. В.* Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20—30-х годов, с. 243 и след.

верный список впечатлений...» Произведение это сложное, своеобразно отразившее смятение чувств, владевшее поэтом. Полифоничность его звучания — это полифоничность всего сборника. Оно писалось, когда издание было уже готово и должно было прояснить читателю цель и смысл книги.

Первое, что декларирует здесь поэт,— это «верность», правдивость создаваемого им «списка впечатлений». Этот «список» порожден самой жизнью: «Подобен он скрыжали той,/Где пишет ангел неподкупный...». Са́м автор не властен уже над этим списком. Много строк он хотел бы утаить «и от себя и ото света»:

Но уж они свое рекли,
А что прошло — то непреложно.

Что стало фактом жизни, у того не отнять места в искусстве. Потому «верный список», рожденный жизнью — не гением, так многообразен. Здесь и «легкое», и «глубокое», прекрасное и преступное — «все, что творим мы под луной». В глубоком сознании того, что этот «верный список» подводит черту годам волнений, поэт как будто чувствует себя вправе оставить перо, погрузиться в сладостный покой, вкусить домашние отрады...

Но нет. В душе живы и иные побуждения. «Бессонная душа», «душа чуткая поэта» не может примириться с отказом от творчества. И возникает иная перспектива:

Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая,

Каждый из этих двух путей — оставить творчество и «не утаивать струн» — мыслится здесь как возможный: «перо оставить можно», «проснуться может пламень мой», «еще, быть может, я возвышу...».

Завершающее сборник стихотворение «Бывало, отрок, звонким кликом...» возвращает нас к его поэтическому предисловию. Не случайно здесь эхо — «верный» отклик. Для поэтического языка Баратынского вообще употребление слова «верный» в значении «правильный, соответствующий истине» нехарактерно; обычно он пользовался этим словом в значении «надежный», «преданный» [20]. Появление этого слова здесь — вряд ли случайное совпадение со стихом «Вот верный список впечатлений...». Баратынский воскрешал в памяти читателей стихотворение, предназначавшееся как поэтическое предисловие к сборнику. Но каков был смысл этого воскрешения? Можно ли рассматривать «Бывало, отрок, звонким кликом...» как ответ на вопрос, заданный в стихах «Вот верный список впечатлений...»?

Небольшое стихотворение, заключавшее сборник, выпущенный Баратынским в 1835 г., — одна из загадок его поэзии. Что в нем? Отказ от поэзии? Или отказ от «поиска созвучий»? Равнозначна ли «игра стихов», о которой говорит здесь поэт, тому творчеству, о котором идет речь в стихотворении «Вот верный список впечатлений...», творчеству, которому внятны беды и слава родины? Может быть, речь здесь не об отказе от поэзии, а об ее переоценке? Но, с другой стороны,

---

[20] Из 24 случаев употребления слова «верный» в стихах Баратынского в 17 оно имеет это значение: «верный друг», «наша верная семья», «сын верный неги и прохлады», «я верен Ольге, верной мне» и т. п.

«созвучные слова» для Баратынского — не пустяк, не игра. В них «идеал прекрасных соразмерностей», противопоставляемый хаосу жизни. «Стройная красота» «мерных творений» поэта — непреходящая ценность и сила. Лишь так понимая их, можно было стремиться даровать жизни «согласье» поэзии.

О «гармонии» стихов говорится в «Бывало, отрок, звонким кликом...». Баратынский впервые употребил здесь это необыкновенно весомое, значительное для него слово. Позднее оно появится в стихах «Болящий дух врачует песнопенье»,

...Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.

А затем — в «Рифме», повествующей о поэте, в котором

Вера полная в сочувствие жила.
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.

Как бы то ни было, внутренняя перекличка стихотворения, заключавшего сборник, с тем, которое должно было его открывать, несомненна, и отказ от второго из них не мог не нанести известного ущерба единству книги. Впрочем, об обстоятельствах этого отказа мы ничего не знаем. Неизвестно даже, устранил ли Баратынский стихотворение «Вот верный список впечатлений...» по собственной воле или под посторонним влиянием.

Как справедливо утверждает Е. Н. Купреянова, «сняв «предисловие», Баратынский, однако, сохранил соответствующее ему построение сборника. От жанровых подразделений сборника 1827 г. Баратынский со-

вершенно отказался. Стихотворения шли под сплошной нумерацией, без заглавий (за единичными исключениями), как части, главки лирической автобиографии поэта. Рядом стоящие стихотворения часто контрастировали по теме и настроению. Не считаясь с прямой хронологией и перемежая стихотворения самых отдаленных годов, Баратынский все же отразил в сборнике общую линию развития своего творчества. Так, стихотворения из сборника 1827 г., преимущественно сгруппированные в начале, по мере приближения к концу постепенно вытеснялись стихотворениями последних годов. В заключение шли подряд 22 номера стихотворений конца 20-х начала 30-х годов» (*ПСС*, I, 353). Однако и эта закономерность, пусть даже не проведенная вполне последовательно, не позволяет говорить о «нарочитой перетасовке стихотворений». Размещение их было результатом поисков, характер и смысл которых хотелось бы в меру возможного уяснить.

Отказавшись от жанровых рубрик, которые мы видели в издании 1827 г., но и не располагая стихотворения по годам, как это делал Пушкин, не избегая помещения рядом стихотворений, контрастирующих друг с другом, Баратынский вместе с тем пытался группировать свои стихи, и эти попытки в какой-то степени соотносимы с поисками Пушкина. Идейно-тематические ряды, которые обнаруживаются в издании 1835 г., нельзя назвать циклами, но в них правомерно видеть связующее звено между изданием 1827 г., с одной стороны, и «Сумерками» — с другой.

Первые семь номеров сборника 1835 г. — философские медитации. Пять из этих семи стихотворений взяты из первой книги элегий в издании 1827 г., а два,

добавленные из числа позднее написанных («Порою ласковую фею...» и «Наслаждайтесь: все проходит...»), подобраны так, что они не нарушают единства, характерного для первой книги элегий. Эти семь стихотворений воспринимаются как философская интродукция сборника, и, хотя в дальнейшем мы найдем в нем немало философских стихотворений, они нигде более не образуют такого сгустка. Начиная с VIII стихотворения («Люблю я красавицу...») в сборник входит любовная тема, и последующую группу из пятнадцати стихотворений составляют стихи любовные, перемежающиеся с философскими. При этом количество философских стихотворений постепенно уменьшается, а любовных — возрастает. Начиная с XXIII стихотворения («Что пользы нам от шумных ваших прений?..») появляется еще одна — литературно-полемическая тема, которая также входит постепенно: посвященные ей стихи перемежаются с любовными, а отчасти и с философскими. Начиная с XLV стихотворения («Вчера ненастливая ночь...») — стихотворения, выдержанные в шутливой тональности, между которыми, вероятно, не случайно помещено послание «Богдановичу», апофеоз автору «Душеньки», который воспевается как

..поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты
И часто, наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Затем — переход к стихотворениям минорного, даже трагического плана: «Взгляни на лик холодный сей...», «Прощай, отчизна непогоды...», «Чувствительны мне

дружеские пени...», «Я посетил тебя, пленительная сень...», «Когда исчезнет омраченье...», «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...». Начиная с LXVIII номера («О своенравная Аглая...») идут стихотворения, подобные тем, которые в сборниках, разделенных на жанровые рубрики, обычно попадали в «Смесь»: эпиграммы, мелочи, лирические миниатюры, среди которых мы, однако, находим и «Разуверение» [21].

Следующая группа стихотворений, начиная с напечатанного под XCIII номером «Признания» и включающая примерно полтора десятка произведений,— наиболее пестра по тематическому составу. Здесь и тема творчества («Чудный град порой сольется...», «Болящий дух врачует песнопенье...», «Не подражай, своеобразен гений...», «Не ослеплен я музою моею...», «О мысль! тебе удел цветка...»), и любовные стихотворения («Я не любил ее, я знал...», «Взгляни на звезды: много звезд...»), и философские («В глуши лесов счастлив один...», «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...», «Череп»).

Номера от CXI до CXVIII отданы стихотворениям с ярко выраженным личным, биографическим подтекстом («О верь: ты, нежная, дороже славы мне...», «Мой дар убог и голос мой не громок...», «Мой неискусный карандаш...», «Есть милая страна, есть угол на земле...» и т. д.), и на этом фоне, контрастируя с остальными стихотворениями по масштабности за-

[21] По предположению, которым поделилась с нами А. И. Журавлева, включение стихотворения «Разуверение» в один ряд с «мелочами» объясняется генетически: написанное, видимо, по конкретному поводу, оно воспринималось автором как «стихотворение на случай». И лишь время выявило его принципиальный, общий характер.

мысла и построения, появляется «Последняя смерть», отчего «космическое» звучание этого произведения становится особенно ощутимым.

В последних стихотворениях сборника («На смерть Гете», напечатанное под CXIX номером и последующих) трудно было бы указать какую-то ведущую тему, и, по-видимому, они действительно сгруппированы здесь по времени написания. Все это стихи начала 30-х годов (кроме двух эпиграмм: «Как ревностно ты сам себя дурачишь...» и «Старательно мы наблюдаем свет...», когда́-то вместе напечатанных на одной странице «Северных цветов на 1829 год», а здесь помещенных подряд), причем некоторые из этих стихотворений появились в издании 1835 г. впервые и, возможно, были написаны уже после того, как основная часть книги оказалась собранной (т. е. в 1833—1834 гг.).

Разумеется, это деление условно. Возможно и иное, укрупненное или, напротив, более дробное. Те или иные темы могут быть определены иначе. Но важно не то, какие именно формулировки мы изберем, а то, что в лирическом потоке, призванном воссоздать «верный список впечатлений», выделяются определенные тематические единства. Отказавшись от группировки своих стихотворений по жанрам, Баратынский не отказывается от поисков такого их расположения, которое позволяло бы видеть, используя его выражение, «некоторую связь» между ними.

Сопоставляя издания 1827 и 1835 гг. и намечая, таким образом, линию творческих поисков Баратынского в области структуры лирического сборника, мы можем сравнить их с соответствующими поисками Гейне. Речь, конечно, может идти не о заимствовании или влиянии (Баратынский не знал немецкого языка, а пе-

реводы «Книги песен» стали появляться в России намного позднее), а о типологическом сходстве, позволяющем уловить характерное в индивидуальных творческих исканиях.

Первый сборник Гейне «Страдания юности» делился на группы по жанровому признаку: «Сновидения», «Песни», «Романсы», «Сонеты». Отдельные стихотворения имели названия: «Посвящение», «Кладбище», «Пробуждение», «Ожидание», «Нетерпение» и т. п. Затем, однако, Гейне снял эти заглавия, по обоснованному предположению Н. Я. Берковского, для того, «чтобы упразднить самостоятельность этих стихотворений и теснее связать их друг с другом»[22]. В дальнейшем — в «Лирическом интермеццо» и в «Возвращении на родину» — мы уже не видим жанровых рубрик: поэт ищет новые связи, объединяющие его стихотворения в единый лирический поток, который призван передать многообразие жизненных впечатлений, смену настроений и т. п.

А. И. Дейч выделяет в «Возвращении на родину» семь тематических групп, перемежающихся с короткими вставками (интермедиями): «Прелюдия»; «Встречи и впечатления на берегу моря»; «Утраченная любовь»; «Лирические воспоминания поэта»; «Возвращение в родительский дом, воспоминания детства, приготовление к отъезду»; «Новая любовь, новые признания»; «Путевые образы, любовные встречи, городские и сельские пейзажи»[23].

---

[22] *Гейне Г.* Собрание сочинений. М.; Л.: Гослитиздат, 1956. т. 1, с. 344.

[23] *Дейч А. И.* Поэтический мир Генриха Гейне. М.: Гослитиздат, 1963, с. 78—79.

Нет оснований преувеличивать сходство тематических сгустков в сборниках Гейне и Баратынского. Сходство это отдаленное, оно затемняется большим количеством различий, но оно есть, и оно помогает правильнее понять и оценить направление поисков Баратынского.

То, что в издании 1835 г. лишь намечалось, что мы видели там в процессе зарождения и становления, конкретизируется и приобретает законченность в следующем сборнике Баратынского, включавшем стихи, написанные после 1834 г., и вышедшем в 1842 г.,— в «Сумерках». Но, в отличие от «Сумерек», в издании 1835 г. нет единой темы, которая развертывалась бы на протяжении всей книги. У этого сборника и цель иная: создать «верный список впечатлений», но стихотворения, содержательность которых возрастает от их расположения, от взаимосоотнесенности разных произведений, стихотворения, внутренне подготовленные к циклизации, создаются уже раньше и в лирическом потоке, лишенном какой-либо строгой последовательности, порой более, порой менее отчетливо намечаются тематические связки, стиховые единства, элементы будущего цикла. В сборнике 1835 г. эти эксперименты не производили сколько-нибудь заметного художественного эффекта, но для творческой эволюции Баратынского они не прошли бесследно. Здесь впервые применены художественные приемы, которые более целенаправленно были использованы Баратынским в «Сумерках».

Издание 1835 г. включало, как известно, не только лирику, но и поэмы Баратынского. Они были собраны во второй части. Здесь мы видим «Эду», «Пиры», «Бал», «Телему и Макара», «Переселение душ» и

«Цыганку». Четыре из этих поэм выходили прежде отдельными изданиями, и каждое такое издание — веха творческого пути поэта, каждое запечатлело то, что в свое время было наиболее важным, что определяло тот или иной этап творческой биографии поэта.

В 1826 г. вышла в свет первая книга Баратынского. На ее титуле было написано: «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма». Эта книга готовилась в дни, предшествовавшие восстанию декабристов, и получила цензурное разрешение менее чем за три недели до кровавой драмы на Сенатской площади, и, хотя это, конечно, не планировалось автором, сочетание в ней этих двух произведений отразило сложность взаимоотношений Баратынского с декабризмом, то, что было определяющим для его жизни и творчества первой половины 20-х годов. «Пиры» — произведение, созвучное декабристской поэзии. Пиры, которые здесь воспеваются,— это дружеские сходки вольнодумцев [24]. Даже вино здесь — символ свободолюбия:

Его звездящаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена,
Рвет пробку резвою волной —
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.

Цензура правильно уловила бунтарский смысл этих строк и своим вмешательством изуродовала их. И здесь же, в одной книге с «Пирами», появилась

[24] Подробнее об этом см.: *Фризман Л. Г.* Творческий путь Баратынского. М.: Наука, 1966, с. 21—25.

«Эда», та самая «Эда», которая была принята декабристами резко отрицательно, прочтя которую Бестужев написал Пушкину, что «перестал веровать» в талант Баратынского, «его «Эдда» есть отпечаток ничтожности, и по предмету и по исполнению» (XIII, 150).

И тема «Эды», и подход к ней, пути ее творческого воплощения — все это определялось стремлением Баратынского учесть, осознать опыт пушкинских поэм и не идти по стопам Пушкина. То, что фоном действия является не живописный юг, а скупые краски финского края, объясняется не только биографическими причинами, но и желанием создать произведение по тональности, по колориту непохожее на южные поэмы. Подзаголовку «Кавказского пленника» — «Повесть» — Баратынский противопоставил свой — «Финляндская повесть». Видя в поэмах Байрона и Пушкина много «очень необыкновенного», поэт стремился воссоздавать «совершенно простое». Своеобразие «Эды» Баратынский искренне и с достоинством объяснил в предисловии к отдельному изданию поэмы — нежеланием вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана»: «следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, чем идти новою, собственною дорогою».

Пушкин оценил эту «собственную дорогу», найденную Баратынским в его первой поэме. Создалась ситуация, на первый взгляд не лишенная парадоксальности, но в действительности могущая получить логичное объяснение. Баратынский, стремясь уйти от Пушкина, шел к Пушкину. Он не хотел следовать за Пушкиным вчерашним, но благодаря этому оказался

близок Пушкину сегодняшнему и завтрашнему. Созданием «Эды» начинается период наибольшей творческой близости обоих поэтов, период, когда Пушкин видел в Баратынском союзника в литературных исканиях и литературной борьбе. В эти годы создаются пушкинские статьи о Баратынском. «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов,— писал Пушкин.— Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством» (XI, 185). Пушкин объяснял причины, по которым «более зрелые, более близкие к совершенству» произведения Баратынского имели меньший успех: «самое сие усовершенствование и зрелость его произведений», «отсутствие критики и общего мнения», гордая независимость подлинного художника, «неизменное равнодушие к успеху и похвалам»,— и нет сомнения, что за этими объяснениями крылись горькие раздумья о судьбе собственного творчества, об охлаждении к нему читателей. Общим был противник, общим было стремление объединиться в противодействии его влиянию на литературу и журналистику. Одним из наиболее колоритных результатов этого стремления явилась общая книга обоих поэтов — издание в 1828 г. «Бала» и «Графа Нулина» в одной обложке с заглавием — «Две повести в стихах».

О причинах, обусловивших появление этой книги, известно немного. Самое обстоятельное объяснение этого своеобразного факта дает Н. П. Смирнов-Со-

кольский. По его мнению, объединение обеих поэм в одной книге было продиктовано коммерческими соображениями: «...Продажа этого отдельного издания поэмы («Граф Нулин».— *Л. Ф.*) после появления ее в «Северных цветах» была уже более трудной, поэтому друзья Дельвига и Пушкина стали искать какой-нибудь облегчающий выход». Таким выходом им представилось объединение «Графа Нулина» с «Балом», отрывок из которого был напечатан в тех же «Северных цветах на 1828 год» и имел успех. «Тираж этого объединенного вида издания был, по всей вероятности, 600 экземпляров,— продолжает Н. П. Смирнов-Сокольский.— Я исхожу из соображения, что обе книги порознь печатались обычным тиражом по 1200 экземпляров каждая. Так вот, половину этого количества сброшюровали вместе и продавали как «Две повести в стихах», а вторую половину продавали каждой поэмой в отдельности. Пустили в продажу эти отдельные виды «Бала» и «Графа Нулина» чуть позже, чем «Две повести в стихах» [25].

Все эти факты, вероятно, соответствуют действительности, но их объяснение, на наш взгляд, не исчерпывает проблемы. На протяжении всей богатой, порой драматической истории пушкинских изданий не было ни одного случая, когда он воспользовался бы популярностью чужого литературного имени, чтобы обеспечить сбыт собственного произведения. Наименее вероятно, чтобы он сделал это в 1827—1828 гг., когда его популярность была едва ли не в зените. Только что с фантастической, невиданной быстротой

[25] *Смирнов-Сокольский Н. П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962, с. 199.

разошлось собрание его стихотворений. «...За Пушкиным библиографическое известие едва успевает,— констатировал «Московский телеграф»,— его творения раскупают прежде, нежели медлительный библиограф запишет их в реэстр современных произведений нашей литературы» (*МТ*, 1827, ч. XVIII, с. 219). Кроме того, очевидно, что если объединение «Графа Нулина» с «Балом» в одной книге сулило бы коммерческие выгоды Пушкину, то оно в той же мере было бы невыгодно Баратынскому. Трудно представить себе, что Пушкин рискнул бы интересами товарища по перу ради обеспечения собственных.

Может быть, в содержании, в проблематике обеих поэм крылось нечто, дававшее им право на появление в общей обложке? По мысли Б. М. Эйхенбаума, такая форма публикации пушкинской поэмы «подтверждает принципиальность и неслучайность ее создания» [26]. Речь должна идти, конечно, не о «создании» — «Граф Нулин» был создан раньше «Бала»,— а о том, что, познакомившись с поэмой Баратынского, не имеющей, казалось бы, ничего общего с его собственной, Пушкин уловил в них нечто общее — и это общее можно было ненавязчиво и тонко донести до читателя, выпустив оба произведения одной книгой, натолкнув современников на сопоставление той и другой поэмы. Пытаясь проникнуть в этот замысел, мы неизбежно вступаем в область догадок, но, быть может, не совсем беспочвенных.

---

[26] *Эйхенбаум Б. М.* О замысле «Графа Нулина».— В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937, с. 350.

Заметка Пушкина о «Графе Нулине» датируется 1827 г.[27] Вначале она, видимо, предназначалась для публикации в качестве предисловия или примечания к отдельному изданию поэмы и была призвана раскрыть читателю второй план произведения, показать, что «Граф Нулин» — не просто анекдот, не зарисовка происшествия, а двойное пародирование — истории и Шекспира. Мысль о том, чтобы от читателя не ускользнула многомерность авторского замысла, с самого начала занимала Пушкина. Отсюда — первое заглавие поэмы: «Новый Тарквиний». Отказавшись от этого заглавия, он тем не менее оставляет в тексте произведения стихи «К Лукреции Тарквиний новый» и «Она Тарквинию с размаха», причем последний стих был вписан уже в беловую рукопись.

Но и этого мало. И тогда Пушкин пишет предисловие к поэме, которое, однако, не доводит до конца. Перо замерло на загадочной фразе: «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения». «Если бы дело было просто в случайном совпадении ничем не сходных между собой явлений, вряд ли Пушкин стал бы об этом и говорить...— отмечает А. М. Гордин,— Пушкин говорит о «сближении», т. е. сопоставлении чем-то близких друг другу явлений. Сближение, о котором здесь идет речь, в данном случае не могло не казаться «странным», настолько оно было неожиданным, необычайным, но это все же было сближение»[28].

---

[27] Обоснование этой датировки см. в статье А. М. Гордина «Заметка Пушкина о замысле „Графа Нулина“».— В кн.: Пушкин и его время. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962, вып. I, с. 235 и след.

[28] *Гордин А. М.* Указ. соч., с. 245.

Итак, заметка о «Графе Нулине» остается незавершенной. И возникает другая идея — намекнуть читателю на второй план поэмы, выпустив ее в свет одной книгой с другим многоплановым произведением — с поэмой Баратынского «Бал». Если у Пушкина философские размышления вуалируются рассказом о комичном происшествии с молодым повесой, то Баратынский с той же целью вводит нас в атмосферу столичного света. То, что второй, скрытый, но очень важный, с точки зрения авторского замысла, план в «Бале» налицо, мы знаем из более чем авторитетного источника — от самого Баратынского. «Мне бы очень было досадно,— писал он Дельвигу,— ежели б в «Бале» видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойство каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее намерение автора, тому и книгу в руки» (ЛН, т. 58, с. 83).

Пушкин «отгадал настоящее намерение автора», об этом свидетельствует его статья о «Бале». Статья эта не дописана, и мы знаем далеко не все, что собирался сказать Пушкин, но первое, что он счел необходимым подчеркнуть,— это то, что «Бал» не просто шутка, что его автор «с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шутливый и страстный, метафизику (т. е. философию.— *Л. Ф.*) и поэзию» (XI, 74).

Но было еще одно обстоятельство, которое не следует упускать из виду, говоря о появлении «Двух повестей в стихах».

Ее выход совпал с периодом все более определенного идейного и литературного размежевания, с периодом, когда Пушкин настойчиво и целеустремленно

стремится сплотить все передовые силы для противодействия растущему влиянию булгаринского круга на литературу и журналистику. Общая обложка, в которой вышли в свет две поэмы, была символом этой сплоченности, демонстрацией единства позиций обоих поэтов. Общее издание «Бала» и «Графа Нулина» было общим знаменем, которое подняли Баратынский и Пушкин перед лицом врага.

В 1831 г. оба поэта как бы снова повторили ту же демонстрацию. В «Деннице» под общим заголовком «Эпиграммы» были напечатаны две эпиграммы на Булгарина. Первую из них («Не то беда, Авдей Флюгарин...») написал Пушкин, вторую («Поверьте мне, Флюгарин-моралист...») — Баратынский. В большинстве созданных в ту пору обоими поэтами эпиграмм, направленных против Булгарина, Каченовского, Надеждина, Полевого, отстаиваются позиции пушкинского круга. Не себя только, но определенную литературную платформу защищал Баратынский, когда писал:

Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье.

В предисловии к отдельному изданию поэмы «Наложница» он также адресовал свои обвинения журналистам, называвшим безнравственными не только его собственные поэмы «Эда» и «Бал», но и произведения Пушкина: «Руслан и Людмила», «Цыгане», «Граф Нулин», «Евгений Онегин». Как и пушкинские «Опровержения на критики», предисловие к «Наложнице» утверждало «истину показаний», верность жизненной правде как основной критерий в оценке художествен-

ных произведений, против рептильной «нравственности» романов Булгарина.

Сравнивая «Предисловие» с пушкинскими статьями «О новейших блюстителях нравственности», «Опровержения на критики», «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», можно отметить многочисленные совпадения не только точки зрения, но и аргументации, которой пользуются Пушкин и Баратынский. Так, Баратынский говорит о несостоятельности ссылок на «юных читателей и читательниц, которым может быть вредно такое-то произведение... Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, несообразные с их летами». Те же слова мы видим у Пушкина: «Вероятно, благоразумный наставник не дает в руки ни им, ни даже их братцам» книги, не подходящие для их возраста (XI, 156). Аналогичная мысль в другой статье: «Просвещенный отец семейства не даст в руки своим детям многих книг, дозволенных цензурою: книги пишутся не для всех возрастов одинаково» (XII, 74). Защищая право на существование эротических и вакхических стихов, Баратынский апеллирует к Богдановичу, Державину, Дмитриеву. Те же имена по сходному поводу упоминал и Пушкин (XI, 98—99).

Нам неизвестно определенно, как отнесся к «Предисловию» Пушкин. Отзыв о «Наложнице» («чудо» — XIV, 142) нельзя безоговорочно относить и к «Предисловию», так как к этому времени Пушкин мог познакомиться с поэмой лишь в рукописи, и мы не знаем, содержала ли она только текст или текст с предисловием. Текст без предисловия также распространялся среди друзей Баратынского: в таком виде поэма, в частности, была отправлена Н. М. Язы-

кову [29]. Но некоторые косвенные сведения могут пролить свет на этот вопрос. В 1836 г. П. А. Вяземский писал в рецензии на «Ревизора»: «О нравственности или нравоучении литературных произведений много было говорено. Кажется, г. Баратынский в предисловии к поэме «Цыганка» исследовал сей вопрос самым удовлетворительным и убедительнейшим образом. С нашей стороны, совершенно с ним соглашаясь, мы признаем безнравственным сочинением только то, которое вводит в соблазн и в искушение» [30]. Поскольку эта рецензия была напечатана во втором томе «Современника» за 1836 г., естественно предположить, что оценка, данная здесь «Предисловию», не противоречила мнению Пушкина, тем более что Вяземский определяет здесь безнравственное почти так же, как Пушкин в «Опровержениях на критики» («стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями» — XI, 157). Содержание «Антикритики», где Баратынский развивал основные положения «Предисловия», было Пушкиным одобрено («статья Баратынского хороша»), хотя ему не понравилось, как она написана («слишком тонка и растянута» — XV, 9).

---

[29] См. экземпляр «Наложницы», сохранившийся в бумагах Языкова (ПД, ф. 345, Н. М. Языкова, 19, 4, 40).

[30] *Вяземский П. А.* Ревизор, комедия, соч. Н. Гоголя. СПб., 1836.— *Совр.*, 1836, т. II, с. 298. Вяземский здесь не вполне точно излагает позиции Баратынского, который высказал в предисловии к «Наложнице» иную и более глубокую мысль: «...Творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противустоять им».

Ни предисловие к «Эде», ни предисловие к «Наложнице» Баратынский не включил в издание 1835 г.,— и это не случайно. Оба предисловия были для него не частями соответствующих поэм как художественного целого, но частями книг, выпущенных им в 1826 и 1832 гг. Отдельные издания «Эды» и «Наложницы» преследовали каждое свою цель, которая включала непосредственное участие в литературной борьбе своего времени, поддержку одних художественных тенденций, полемику с другими. Эту свою функцию книги, выпущенные Баратынским в 1826 и 1831 гг., выполняли полнее и эффективнее благодаря включенным в них предисловиям. Роль поэм в издании 1835 г. была, разумеется, иной. Оно мыслилось как книга итогов, которые, естественно, остались бы неполны, если б она не включала поэм. Готовя ее, Баратынский считал, что она будет последней. Но случилось иначе. Последней его книгой стали «Сумерки».

В литературе не раз обращалось внимание на необычность этого сборника для русской поэзии того времени, на то, что издания такого рода более в традициях западноевропейской поэзии (*ПСС*, I, 356). Не приходится сомневаться, что опыт западных поэтов в создании лирических циклов учитывался Баратынским и сыграл в его творческих исканиях заметную роль.

Это был и опыт Барбье, который, как показывают письма Баратынского, был предметом его размышлений. Это был и опыт Гюго — не только его цикла «Песни сумерек» (на что обращалось внимание в литературе), но и сборника «Лучи и тени», где усиливается внимание к философской и психологической проблематике. Однако этот опыт не механически пе-

ренесен Баратынским на русскую почву, а творчески осмыслен в связи с его собственными поисками, экспериментами, поэтическими устремлениями.

У западных предшественников Баратынского единство тона, воплощенное в лирическом цикле и закрепляемое его заглавием, вырастало из жанрового единства. Нередки случаи, когда заглавие содержит указание и на ведущую тему, тон и на жанр составляющих сборник стихотворений. Характерный пример — «Гимны ночи» Новалиса. Здесь и ночь — излюбленный элемент романтической символики, и жанровое обозначение, ориентирующее читательское восприятие на определенное понимание этого символа. Таковы же названия сборников Кольриджа и Вордсворта — «Лирические баллады», Ламартина — «Первые раздумья», «Новые раздумья», Фаллерслебена — «Неполитические песни» и многих других.

Но и в тех случаях, когда жанрового обозначения нет в заглавии сборника, налицо обычно сходство жанровых типов составляющих данную книгу стихотворений. Так, в «Il pianto» Барбье собраны сонеты (11 из 17 стихотворений цикла), а в «Ямбах» и «Лазаре» нет ни одного сонета; стихи, составляющие сборник «Лазарь»,— лирические монологи с элементами патетики и инвективы.

В «Сумерках» нет и следа жанрового единства. И отличие заглавия этого сборника от заглавия сборника Гюго «Песни сумерек» принципиальное. Единство «Сумерек» как цикла представляет собою сложный сплав западного опыта и собственных исканий Баратынского. Эта книга — своеобразное явление не только в русском, но и в европейском художественном контексте.

Идея смысловой соотнесенности стихотворений раз-

личных жанров, которая ощущалась уже в сборнике 1835 г., демонстрирует здесь все многообразие заложенных в ней выразительных возможностей. Антитеза одинокой, возвышенной, творческой личности и враждебной ей «толпы» по-разному раскрывается в произведениях разных жанров — и в одических строфах «Последнего поэта», и в элегической медитации («Осень»), и в антологической надписи («Алкивиад»), и в «мелочи», разрастающейся, наполняющейся многогранным смыслом, вбирающей в себя и философское, и социальное содержание («Ропот»).

Смысл каждого стихотворения, включенного в «Сумерки», постигается в соотнесении с другими стихотворениями, нередко вне такого соотнесения он вообще не может быть правильно понят. Например, «Здравствуй, отрок сладкогласный» может показаться на первый взгляд едва ли не инородным телом в философской и эмоциональной структуре цикла. Ни «сумеречного» тона, ни типичной для сборника коллизии: личность — толпа, ни мотивов одиночества, ничего, что характеризует идейно-эстетическое своеобразие цикла в целом, в этом стихотворении, если взять его изолированно, нет. Первые шаги «возникшего пиита» озарены Аполлоном, его лира тронула «малолетнюю хариту», счастливый и безмятежный, радуется он наступающей весне.

Но читатель переворачивает страницу — и, словно бездна, разверзается перед ним одно из самых трагических, безысходных стихотворений цикла, где острота коллизий, пронизывающих сборник, достигает предела.

Что за звуки? Мимоходом
Ты поешь перед народом,

Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

И это стихотворение возвращает нас к содержанию предыдущего. «Старец нищий и слепой» тоже был когда-то «отроком сладкогласным», тоже был безмятежно счастлив:

...С тобой издавна тесен
Был союз камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безымянной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Но не сбылись надежды, и не могли сбыться и не сбудутся никогда: «Попеченья гений твой / Да отложит в здешнем мире...». И мы возвращаемся мыслью к стихотворению «Здравствуй, отрок сладкогласный...», и смотрим на него уже иными глазами. Мы уже не верим ни «первому солнцу», ни «наступающей весне». Баратынский дал нам заглянуть в будущее «возникшего пиита», на безмятежность посвященных ему стихов пала черная тень...

Так используются Баратынским возможности лирического цикла, так одно стихотворение дополняется другим, оценивается в свете другого. И поэт обращался к использованию таких возможностей, к полифонии составляющих «Сумерки» стихотворений, чтобы раскрыть действительность в ее полноте и многообразии. чтобы самим построением сборника реализовать творческую программу, которая намечена в поэтическом предисловии,— «Князю Петру Андреевичу Вяземскому». Основа этой программы — установка на всеобъем

лющий, всесторонний охват действительности. Само обращение к Вяземскому мотивировано тем, что тому все понятно: «страстей порывы», «обаяние мечты», «все дуновенья, / Которым в море бытия / Послушна наша ладия». Сборник, открываемый посланием Вяземскому, это песнопенья,

Где отразилась жизнь моя,
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты
И между тем любви высокой,
Любви, добра и красоты.

Нельзя не увидеть здесь глубинного сходства с несостоявшимся поэтическим предисловием к изданию 1835 г.— «Сумерки» тоже были задуманы как «верный список впечатлений». И о сборнике 1835 г. Баратынский — пусть несколько иными словами — сказал: «жизнь родила его», жизнь во всем ее многообразии, со всеми ее противоречиями (прекрасное и преступное, слепота и любовь добра и красоты). Даже в лирической композиции обоих стихотворений есть общие черты. В первом из них поэт, казалось бы, решив погрузиться в «покой», в «домашние отрады», как бы пробуждается для окружающего мира и творчества. И во втором — «сын уединенья», усыпивший «праздные» стремления мысли, забывший «шумный свет», возвращается туда:

...покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.

Конечно, оба поэтических «предисловия» можно не только сопоставить, но и противопоставить. Но иначе и быть не могло: годы, отделяющие издание 1835 г.

от «Сумерек», не прошли для их автора бесследно. Общность обеих творческих деклараций позволяет правильнее судить о книгах, для которых они были предназначены. Она является дополнительным аргументом, подтверждающим, что создание «Сумерек» должно рассматриваться в связи со всей предшествующей творческой эволюцией Баратынского, со всем путем, который был им пройден к созданию не просто собрания стихов, но лирического цикла.

При всем — и жанровом, и тематическом, и эмоциональном — многообразии «Сумерек» Баратынский ощущал то, что сближает стихи, включенные в сборник. «Не откажись написать мне в нескольких строках твое мнение о моей книжонке,— писал поэт, посылая «Сумерки» П. А. Плетневу,— хотя почти все пьесы были уже напечатаны, собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта» [31]. Эти слова перекликаются с тем, о чем почти двадцатью годами ранее Баратынский писал Бестужеву и Рылееву,— о способности своих стихов к «некоторой связи между собою». Но они звучат иначе, тверже. «Некоторая связь» превратилась в единство, выражающее «общее направление, общий тон поэта».

В последние годы жизни у Баратынского возник замысел выпустить третье собрание своих сочинений. Если б он осуществился, единство «Сумерек» не должно было нарушиться: для стихотворений, написанных после 1834 г., предполагалось отвести отдельный томик [32]. Но безразличие, с которым были встречены «Сумерки», по-видимому, побудило Баратынского от-

[31] Русская старина, 1904, № 6, с. 521—522.

[32] Е. А. Баратынский. Материалы к его биографии: Из Татевского архива Рачинских. П., 1916, с. 54.

казаться от этих планов. Это безразличие объяснимо: «Сумерки» воспринимались как книга, далекая от проблем, находившихся тогда в центре внимания. Оно было приковано к развернувшейся полемике славянофилов и западников, к лекциям Грановского, к первым манифестам натуральной школы, к поэме Гоголя «Мертвые души». А книжка Баратынского, по позднейшему свидетельству М. Н. Лонгинова, «произвела впечатление привидения, явившегося среди удивленных и недоумевающих лиц, не умевших дать себе отчета в том, какая это тень и чего она хочет от потомков» [33].

Неспособность найти путь к сердцам молодого поколения была для Баратынского в начале 40-х годов и предметом безрадостных размышлений, и темой скорбных стихов.

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос,
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.
Ответа нет!

Но коллизия с «новыми племенами» была не столь неразрешима, как это казалось Баратынскому, и поэт смог убедиться в этом очень скоро, когда, путешествуя по Европе, он сблизился в Париже с людьми герценовского круга — Н. Огаревым, Н. Сатиным, Н. Сазоновым. По свидетельству Л. Е. Баратынского, на обеде, данном его отцом своим молодым русским друзьям, разговоры были посвящены «одной общей теме — *уничтожению крепостного права*» [34]. Атмосферу па-

[33] Русский архив, 1867, № 2, с. 262.
[34] *Бобров Е.* Дела и люди. Юрьев, 1907, с. 171.

рижских встреч и облик Баратынского, каким он виделся деятелям «Молодой России», сохранили для нас написанные по свежим следам событий стихи Сатина:

На жизнь смотрел хоть грустно он, но смело
И все вперед спешил;
Он жаждал дел, он нас сзывал на дело
И верил в бога сил!
О, сколько раз с горячим рукожатьем,
С слезою на глазах,
Он нам твердил: вперед, младые братья,
Пред истиной все прах! [35]

Та устремленность в будущее, готовность решительно пойти ему навстречу, которые уловил в Баратынском Сатин, отразились в одном из предсмертных шедевров нашего поэта — в стихотворении «Пироскаф».

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

«Пироскафу» не довелось стать началом нового этапа творчества Баратынского. 29 июля 1844 г. он скоропостижно скончался в Неаполе. Тело его было перевезено морем в Петербург и там в присутствии нескольких близких друзей предано земле.

Смерть Баратынского была едва замечена его современниками. «Северная пчела» мимоходом сообщила о ней в отделе «Смесь. Журнальная всякая всячина» [36]. Автор статьи, появившейся в «Библиотеке для чтения», говорил, что когда-то в Баратынском видели

---

[35] Русская мысль, 1890, № 10, с. 12.
[36] Северная пчела, 1844, № 183.

«одну из надежд самых блестящих», но что «ожидания от него уже давно прекратились», и призывал читателей отдать «себе отчет в однообразном, неопределенном, бесцветном выражении» [37] его поэзии. Самым глубоким и проникновенным из всего, что было сказано тогда о Баратынском, был отклик Белинского.

Отношения Белинского и Баратынского были далеко не безмятежны. При жизни поэта Белинский выносил ему приговоры, многие из которых не подтвердило время, а Баратынский отвечал ему злыми эпиграммами. Но, когда Баратынского не стало, выяснилось, что никто из его современников не понимал так глубоко существо его мысли и творчества и его историческое значение, как Белинский. Позиция, занятая Белинским в отношении Баратынского, была честной и самокритичной: он сам напомнил о своих прежних оценках его поэзии и объяснил их: «Увы! выходя на поприще жизни, мы все смело и гордо смотрим в ее неизведанную даль, и для нас падение есть преступление; но, перешедши сами лучшую часть своей жизни, мы при виде всякого падшего бойца с грустью обращаемся на самих себя...» [38]. «Падший боец» — в этих словах звучит уважение к борьбе, которую вел и в которой пал Баратынский. «...Мыслящий человек,— говорил Белинский,— всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них *человека* — предмет вечно интересный для человека» [39].

Пророчество Белинского исполнилось, но не скоро. Почти на всем протяжении XIX в. попытки привлечь

[37] Библиотека для чтения, 1844, т. 66, № 9, отд. 5, с. 2, 5, 19.
[38] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. VIII, 300.
[39] Там же, с. 448.

внимание к Баратынскому оставались безрезультатными. В 1854 г. Тургенев опубликовал в «Современнике» пятнадцать стихотворений Баратынского. В сопроводительной заметке он говорил о стремлении «оживить в памяти всех любителей русского слова образ одного из лучших и благороднейших деятелей лучшей эпохи нашей литературы» [40], о намерении подготовить к изданию его письма, написать о нем статью, спасти от забвения «биографические подробности». Однако эти намерения не были осуществлены.

В 50-х годах Тургенев не раз говорил «о необходимости возвращения пушкинского элемента» [41] в литературе. В поисках этого «пушкинского элемента» он обратился и к Баратынскому, в стихах которого слышал «отголосок великой, нашей классической (т. е. пушкинской.— *Л. Ф.*) эпохи» [42]. Но вскоре он убедился, что в основе охлаждения к Пушкину и поэтам пушкинской плеяды лежат потребности времени, бороться с которыми бесполезно. Об этом Тургенев говорил в лекциях о Пушкине, читанных в 1859 г., а позднее на открытии памятника великому поэту: «...Причины того охлаждения... достаточно известны. Нам приходится только воззвать их в вашей памяти. Они лежали в самой судьбе, в историческом развитии общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в политическую» [43]. И охлаждение к Пушкину, и забвение Баратынского были для Тургенева «необходимыми бо-

[40] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Сочинения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963, т. V, с. 429.
[41] Там же. Письма, т. III, с. 30.
[42] Там же, т. II, с. 223.
[43] Там же. Сочинения, т. XV, с. 73.

лезнями». Заметим, что и в статьях Писарева речь шла не об одном Пушкине: критик заявлял о намерении высказать «мнение, которое уже многие мыслящие люди составили себе о Пушкине и о всех поэтах и художниках его школы» [44].

Отчуждение читателей от поэзии Баратынского продолжалось несколько десятилетий. В конце XIX — начале XX в. она привлекла к себе напряженное внимание русских символистов. «Символисты были согласны в высокой оценке Баратынского,— писал позднее Вяч. Иванов.— Я думаю, что именно благодаря этой оценке широкие круги наконец признали в нем одного из величайших русских лириков, ибо одной из задач, а иногда и результатов деятельности нашей литературной группы было напомнить многое из того, что в эпоху Пушкина было очень хорошо известно и правильно освещено, но забыто критиками последующего периода» [45].

Внимание символистов к Баратынскому не случайно. Оно связано со стремлением показать, что их художественное мировоззрение имеет глубокие корни в истории русской литературы. Они охотно подчеркивали, что «лучшие произведения современных художников верны традициям старого доброго времени» [46], и напряженно искали предшественников. Баратынский был сочтен поэтом, которого можно задним числом зачислить в символисты. Наиболее прямолинейно это сделал Ю. Н. Верховский, утверждавший, «что

---

[44] *Писарев Д. И.* Сочинения. М.: Гослитиздат, т. 3, с. 415.

[45] Цит. по кн.: *Cajola M.* Eugenio A. Boratynskij. Una pagina di storia della poesia russa. Roma, 1935, p. 167.

[46] *Белый А.* Арабески. Книга статей. М., 1911, с. 241.

1) Баратынский — поэт символический; 2) он сам сознавал себя таковым» [47]. Нельзя не видеть, что если символисты и содействовали признанию Баратынского великим русским лириком, то объяснить «необщее выраженье» его музы им не удалось. Особняком в ряду их работ стоят статьи Брюсова, которого интересовал не «символизм» Баратынского, а его честность художника и поэтическое мастерство.

После Октябрьской революции перед нашим народом открылись невиданные ранее возможности постижения художественного наследства. Появились полноценные издания Баратынского, было положено начало глубокому изучению его творчества. Но стихи Баратынского не сразу стали достоянием широкого читателя. Этому мешало и засилие вульгарно-социологических схем, и стремление ограничить историю литературы скудным перечнем писателей, признанных звездами первой величины. О Баратынском писали, что «центральный образ его стихов — помещик; содержание их — эстетизация усадебной жизни», что «поэт все свои симпатии отдает оплоту феодализма, крепостнической России» [48]. Инерция произнесенных тогда оценок еще долго давала о себе знать. И лишь в 60—70-е годы свершилось то, что критик С. Рассадин удачно назвал «возвращением Баратынского» [49]. Его поэзия прочно вошла в современный читательский

---

[47] *Верховский Ю. Н.* О символизме Баратынского.— Труды и дни, 1912, № 3, с. 9.

[48] *Муравьев В.* Е. А. Баратынский и пушкинская плеяда.— Наступление, 1935, № 2, с. 58, 79.

[49] Вопр. лит., 1970, № 7, с. 92.

фонд. Она переводится и исследуется за рубежом. Работы о Баратынском выходят в Болгарии, Румынии, Чехословакии, Норвегии, Англии, США, Канаде, ФРГ, Новой Зеландии.

Множатся свидетельства влияния Баратынского на советскую поэзию. Асеев говорил о Баратынском как о поэте, не раз ему помогавшем, чей «полный мыслей стих может служить для нас мерилом понимания поэзии» [50]. Антокольский напоминал о таких качествах Баратынского, как «его ясный ум, его принципиальная работа над языком, поиски совершенной формы и гармонии» [51]. Чуковский писал об Анне Ахматовой: «Благородный лаконизм ее стиля сближает ее с Баратынским и Тютчевым» [52]. Сама Ахматова отводила Баратынскому почетное место в нашей поэзии» [53]. Творчески развивали традиции Баратынского Николай Заболоцкий и Леонид Мартынов. Дмитрий Голубков, автор биографического романа о Баратынском «Недуг бытия», писал: «Говоря о влиянии Баратынского в наши дни, мы должны вспомнить также Винокурова с его «трагическою подосновой мира» и Тарковского» [54]. «Баратынский — родоначальник целой линии в русской поэзии» [55],— говорит Винокуров. Этот перечень

[50] *Асеев Н. А.* Об одном стихотворении.—Литература и жизнь, 1961, № 34.

[51] *Антокольский П. А.* Е. А. Баратынский.— Комсомольская правда, 1944, № 163.

[52] *Чуковский К. И.* Малиновые костры.— Неделя, 1964, № 61, с. 9.

[53] «Грядущее, созревшее в прошедшем»: (Беседа с Анной Ахматовой).— Вопр. лит., 1965, № 4, с. 186.

[54] *Голубков Д.* Уроки Евгения Баратынского.— День поэзии. 1966. М.: Сов. писатель, 1966, с. 317.

[55] *Винокуров Е.* Поэзия мысли.— Звезда, 1975, № 2, с. 208.

можно дополнить именами многих представителей современной поэтической молодежи.

Поэзия Баратынского, которого еще не так давно называли «забытым» или «второстепенным» писателем, стала неотъемлемой составной частью духовного мира наших современников. Его влияние на нашу литературу и нашу жизнь продолжает неуклонно расти. Любые попытки подвести итоги этого процесса были бы сегодня преждевременными.

Л. Г. Фризман

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ БАРАТЫНСКОГО

Первое посмертное собрание сочинений Баратынского вышло в свет в 1869 г. в Москве. Его подготовил сын поэта Л. Е. Баратынский. Спустя 15 лет, в 1884 г., оно было переиздано в Казани другим его сыном — Н. Е. Баратынским, который внес в него некоторые дополнения и поправки. В основу *Изд. 1869* и *Изд. 1884* были положены рукописи, хранившиеся в семейном архиве. Ныне значительная часть их утрачена. Несмотря на то что *Изд. 1869* и *Изд. 1884* опирались на богатейший круг источников, в текстологическом отношении они были весьма несовершенны. Сыновья поэта не использовали те богатства, которыми они располагали, не смогли определить ни точные датировки стихотворений, ни наиболее авторитетные источники публикаций. Некоторые стихотворения («Буря», «Вы слишком многими любимы...», «Как много ты в немного дней...» и др.), входившие в прижизненные издания поэта, помещены в журнальных редакциях. «Догадка», «Поцелуй», «Возвращение», опубликованные в 1822 г., датированы 1827 г. Тем же годом датировано и послание Гнедичу, отзыв на которое имеется в письме Пушкина от 16 ноября 1823 г. Стихотворение «При посылке «Бала» С. Э.», написанное в 1828 г., отнесено к 1835 г., и т. п.

Последующие издатели Баратынского внесли множество изменений в тексты, устранили произвольные заглавия, ошибочные даты, принятые в *Изд. 1869* и

Изд. 1884 (см., в частности: *Ак. II,* 313—316). Как справедливо отмечал М. Л. Гофман, многие стихотворения Баратынского были напечатаны в *Изд. 1869* и *Изд. 1884* «по автографам, копиям и собственным исправлениям издателей, причем издание пестрит таким количеством существенных опечаток, что во многих случаях трудно установить, дается ли обоснованный вариант стихотворения, принятый почему-то издателями в основной текст, или же мы имеем дело просто с испорченным чтением стихотворения» (*Ак. II,* 314).

Полное собрание сочинений Баратынского, осуществленное в 1914—1915 гг. М. Л. Гофманом, отличалось от предшествующих не только большей полнотой, но и более высоким научным уровнем. Однако ценность этого издания в значительной мере умалялась ошибочностью текстологических принципов, положенных в его основу: в качестве основных в нем были приняты первые редакции, а окончательные давались отчасти в примечаниях, отчасти в особых разделах в конце каждого тома. Неправомерность этого решения, неубедительность аргументов, которыми пытался его оправдать издатель, сразу же подверглись критике (см. *Ф*), да и сам М. Л. Гофман вскоре отказался от ориентировки на первые редакции и в следующем подготовленном им сборнике произведений Баратынского отдал предпочтение последним редакциям [1].

В 1936 г. в Большой серии «Библиотеки поэта» было выпущено двухтомное полное собрание стихотворных произведений Баратынского. Результат большой и плодотворной работы И. Н. Медведевой и Е. Н. Куп-

[1] *Баратынский Е. А.* Избранные сочинения. Берлин; Пб.; М.; З. И. Гржебин, 1922.

реяновой, это издание явилось самым полным и авторитетным из всех до тех пор выходивших в свет. На его основе Е. Н. Купреяновой было подготовлено второе издание, выпущенное также в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1957 г. Именно эта книга на протяжении почти четверти века служила и служит в настоящее время источником, на который опираются все сборники произведений Баратынского.

Не все принципиально важные проблемы текстологии Баратынского получили в *Изд. 1957* удовлетворительное решение. Остался, в частности, нерешенным вопрос об отношении к *Изд. 1869* и *Изд. 1884*. «Как правило,— говорится в *Изд. 1957*,— произведения Баратынского печатаются в последних напечатанных при жизни поэта редакциях. Учитывались также сохранившиеся автографы и копии Н. Л. Баратынской с автографов Баратынского, ныне утраченных, но содержащих авторские поправки к последним печатным редакциям. В ряде случаев такого рода поправки сделаны по посмертным изданиям 1869 и 1884 гг., подготовленным сыновьями поэта по его личному архиву» (с. 331).

Какими соображениями руководствовалась редакция, внося такие поправки, как отбирался упомянутый «ряд случаев»,— остается неизвестным. В примечаниях к стихотворениям «Мне с упоением заметным...», «Дорога жизни», «Глупцы не чужды вдохновенья...», «Г‹неди›чу», «Запустение», «А. А. Ф...ой» и к некоторым другим можно найти лишь краткое указание: «Печ. по изд. 1884 г.». Во многих других случаях («Лутковскому», «Бдение», «Богдановичу», «Ответ», «Д. Давыдову», «Стансы», «Мой дар убог и голос мой не громок...», «Признание», «Оправдание») отвергну-

тыми оказались редакции *Изд. 1869* и *Изд. 1884*, «подготовленные сыновьями поэта по его личному архиву», а приняты редакции последних прижизненных изданий. Естественно, подобные решения нуждаются в проверке и дополнительной аргументации.

В личном архиве Баратынского были и ценные источники текстов, и содержащие более или менее значительные искажения. В частности, копии А. Л. Баратынской требуют к себе дифференцированного и критического подхода: некоторые из них действительно фиксируют позднейшую авторскую правку, другие содержат испорченные тексты с большим количеством очевидных пропусков и ошибок. Так, например, существует тетрадь ее копий, хранящаяся в *ПД* под шифром 21733/CL б 7. Здесь ряд стихотворений в редакциях, опубликованных в *Изд. 1869, Изд. 1884*, а затем и в *Изд. 1957* (в частности «О счастии с младенчества тоскуя...»). Есть основания полагать, что она была одним из источников, которыми пользовались сыновья поэта. Между тем в этих копиях обнаруживаются несомненные и существенные дефекты. Так, стихотворение «К чему невольнику мечтания свободы?» вписано сюда так же, как оно было напечатано в *Изд. 1835*, т. е. без слов: «И не ее ли глас/В их гласе слышим мы». Нам, однако, достоверно известно, что пропуск этот — цензурный [2]. С цензурными искажениями вписаны в ту же тетрадь стихотворения «Завыла буря, хлябь морская»... (стихи 11—20 отсутствуют) и «Недоносок» (последний стих: «В тягость твой простор, о вечность!»). В копии стихотворения «Подражателям» последний стих читается: «Его кри-

[2] *ЛМ*, с. 16.

тическим пером». Это несомненная ошибка. И в автографе Баратынского (*ГПБ*, архив Помяловского, ф. 608, карт. 2) и в прижизненной публикации можно видеть правильный вариант: «Его критическим хлыстом». Столь же явный дефект обнаруживается в копии стихотворения «Пироскаф»: третья строфа ошибочно переписана дважды. Ясно, что ссылки на столь ненадежный источник не могут служить весомыми аргументами при выборе дефинитивной редакции того или иного стихотворения.

Не подлежит сомнению, что во всех случаях, когда после последней прижизненной публикации произведение подвергалось переделке и результаты этой переделки могут быть установлены, необходимо считать основным текст, отражающий последнюю авторскую волю. Но столь же бесспорно и другое: и факт переделки и дефинитивность редакции, которая предпочитается последней прижизненной публикации, должны быть доказаны и соответствующие аргументы должны быть изложены в примечаниях. Никакие соображения, не опирающиеся на историю текста — субъективные, вкусовые и проч.,— не могут служить основанием для отвержения одной редакции и предпочтения другой.

Чтобы сделать более ясным решение вопроса о выборе основного текста в данном издании, рассмотрим несколько различных текстологических ситуаций. Поэма «Цыганка» была опубликована при жизни поэта в последний раз в *Изд. 1835*. В 1842 г. она подверглась переделке, результаты которой закреплены в копии А. Л. Баратынской (*ПД*). Копия имеет помету, подтверждающую время создания данной редакции. Хотя не исключено, что в этой копии имеются неточности,

она в большей мере выражает последнюю волю автора «Цыганки», чем публикация в *Изд. 1835*, и то, что редакция копии *ПД* принята как основная, вполне оправдано.

Стихотворение «Рассеивает грусть пиров веселый шум...» вписано в тетрадь копий А. Л. Баратынской в редакции, совпадающей по тексту с последней прижизненной публикацией. Затем в рукопись были внесены изменения, в результате которых текст стал соответствовать редакции, напечатанной в *Изд. 1869* и *Изд. 1884*. Одновременно заглавие стихотворения «Уныние» было заменено другим — «Лагерь». Характер произведенной правки может, по нашему мнению, служить доказательством того, что редакция *Изд. 1869* и *Изд. 1884* — позднейшая в сравнении с редакцией, закрепленной последней прижизненной публикацией, и она должна войти в основной состав сочинений Баратынского. Решение, принятое при выборе текста составителем *Изд. 1957*, следует признать верным; неправомерно только то, что, признав достоверным изменения в тексте, составитель отверг произведенную одновременно замену заглавия и сохранил как окончательный ранний и зачеркнутый в списке вариант «Уныние».

По аналогичным соображениям следует принять как основные редакции стихотворений «Мне с упоением заметным...» и «Г⟨неди⟩чу», которые напечатаны в посмертных изданиях. Как подтверждает М. Л. Гофман, в Казанском архиве находилась копия «Мне с упоением заметным...», «в которой мы находим переправку чтения *Изд. 1835* на чтение, принятое последующими издателями» (*Ак.* I, 246). Там же находилась копия стихотворения «Г⟨неди⟩чу», где редакция

1835 была исправлена и совпадала с редакцией посмертных изданий (см. *Ак.* I, 314).

Пример иной ситуации — стихотворение «В дорогу жизни снаряжая...». В первой редакции этого стихотворения, опубликованной в «Невском альманахе на 1826 год», последние четыре стиха читались:

Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами оными прогоны дорогие,
Прогоны жизни платим мы.

В *Изд. 1835* предпоследний стих подвергся переделке, а стихотворение получило следующее окончание:

И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

М. Л. Гофман принял это исправление, которое, по его словам, «касается только технической стороны: в предшествующем чтении 4-стопный ямб рифмовался с шестистопным» (*Ак.* I, 259—260). В действительности это исправление было, как нам представляется, и смысловым. В «Дороге жизни» был поставлен вопрос о соотношении «тьмы низких истин» и «нас возвышающего обмана», «золотых снов» и реальности бытия. Вернувшись к этому стихотворению через несколько лет, Баратынский осмыслил его иначе. Золотые сны уже не представлялись ценностью, и «прогоны дорогие» он заменил «прогонами путевыми». Косвенным подтверждением смысловой значимости этой переделки может служить и автоперевод «Дороги жизни» на французский язык, сделанный в 1843 г., где «золотые мечты» названы «мелочью» (monnaie), которой оплачивается дорога.

Если соотнести историю текста «Дороги жизни» с эволюцией философии Баратынского, то становится вероятным, что редакция, которую содержит одна из копий А. Л. Баратынской:

И снами теми роковые
Прогоны жизни платим мы,

не была результатом позднейшей правки текста, напечатанного в *Изд. 1835*. Это либо один из ранних вариантов, либо ошибка, допущенная при изготовлении копии. Тем не менее эта редакция была принята в *Изд. 1869* и *Изд. 1884*, а составители сборников «Библиотеки поэта» предпочли ее последней прижизненной публикации. Какие были для этого основания, мы не знаем. Допустим, что такие основания были и что копия А. Л. Баратынской дает наиболее авторитетный текст стихотворения. Но и копия А. Л. Баратынской, и посмертные издания содержат не только замену слова «путевые» словом «роковые», но и изменение заглавия — «Прогоны жизни», вместо «Дорога жизни». Почему же одно из двух отличий копии и посмертных изданий от прижизненной публикации принято, а другое отвергнуто?

Стихотворение «Смерть», кардинально переработанное Баратынским при подготовке издания 1835 г., было напечатано в такой редакции:

Тебя из тьмы не изведу я,
О смерть! и, детскою мечтой
Гробовый стан тебе даруя,
Не ополчу тебя косой.
Ты дочь верховного Эфира,
Ты светозарная краса...

Сыновья поэта напечатали вместо приведенных шести стихов следующие:

> Смерть дщерью тьмы не назову я
> И, раболепною мечтой
> Гробовый остов ей даруя,
> Не ополчу ее косой.
> О дочь верховного Эфира!
> О светозарная краса!

Источник этой публикации неизвестен. Тем не менее редакция посмертных собраний сочинений была принята как основная в *Изд. 1957*. Необходимо либо доказать, что стихотворение подвергалось переработке после 1835 г. и что результаты этой переработки достоверно отражены в *Изд. 1869* и *Изд. 1884*, либо считать основным текст 1835 г. Сказанное в полной мере относится и к стихотворениям «О счастии с младенчества тоскуя...», «Глупцы не чужды вдохновенья...», «По замечанью моему...», «Тебе на память в книге сей...», «Я посетил тебя, пленительная сень...», «А. А. Ф...ой», а также к стихотворению «Рифма», текст которого, напечатанный в «Сумерках», оказался отвергнут и заменен редакцией, опубликованной в посмертных изданиях по неизвестному источнику.

Перейдем к вопросу о заглавиях стихотворений Баратынского. В *Изд. 1957* говорилось, что, стремясь создать впечатление внутреннего единства *Изд. 1835*, «поэт снял с подавляющего большинства стихотворений заглавия, под которыми они печатались до того. Поскольку это диктовалось конструктивными принципами издания 1835 г., мы восстанавливаем снятые заглавия по предшествующим публикациям» (с. 331).

В *Изд. 1835* было включено 131 стихотворение, 80 из них имели в предшествующих публикациях заглавия, восстановленные в *Изд. 1957*. Но это не дает основа-

ний утверждать, что, по мнению Баратынского, заглавия подрывали внутреннее единство его лирической исповеди. Часть стихотворений сборника опубликована с заглавиями, причем она не так уж незначительна — 28 стихотворений. Происхождение этих заглавий различно. В 12 случаях Баратынский сохранил те заглавия, под которыми соответствующие стихотворения уже появились в печати («Финляндия», «Падение листьев», «Цветок», «Богдановичу», «Разуверение», «Старик», «На смерть Гете» и др.).

В почти таком же количестве случаев — в 10 — Баратынский по-новому озаглавил свои стихи. Так, стихотворение «Лета» ранее было опубликовано под заглавием — «К Лете», «Подражание Лафару» — под заглавием «Утешение», а «К. А. Свербеевой» — под заглавием «В альбом отъезжающей». Прежняя «Русская песня» была озаглавлена «Песня», стихотворение «Смерть» вошло в сборник под заглавием «Из А. Шенье» и т. д. Стихотворения, которые печатались в *Изд. 1835* впервые, отчасти появились в нем без заглавий («Бывало, отрок, звонким кликом...», «Мой неискусный карандаш...», «Где сладкий шепот...» и др.), а отчасти с заглавием («Мадона», «При посылке «Бала» С. Э.», «К А. Тимашевой» и др.). Стихотворение «Череп» было опубликовано впервые в «Северных цветах» под указанным заглавием. В *Изд. 1827* Баратынский озаглавил это стихотворение «Могила». Так же озаглавлено оно и в некоторых автографах. Но, готовя *Изд. 1835*, Баратынский вновь пересмотрел свое решение: заглавие «Могила» было отвергнуто, а стихотворение появилось под прежним заглавием — «Череп».

Все это подтверждает, что введение тех или иных заглавий, отказ от них, их замена или повторное санкционирование были сознательным творческим актом. Налицо такие решения автора, с которыми его издатели не вправе не считаться. Если поэт сохранил в *Изд. 1835* заглавия стихотворений «Разуверение» или «Последняя смерть», то ничто не мешало ему сохранить заглавия и других стихотворений, скажем «Признание» или «Смерть». Но он так не поступил. Можем ли мы пренебречь его мнением, «уравняв в правах» заглавия, санкционированные последней прижизненной публикацией, с теми, от которых Баратынский впоследствии отказался?

Когда Баратынский готовил к печати «Сумерки», он также отказался от некоторых заглавий, под которыми включенные в сборник стихотворения появлялись в журналах. Так, стихотворение «Предрассудок! он обломок...» в первой публикации называлось «Предрассудок», «Сначала мысль воплощена...» — «Мысль», «Что за звуки? Мимоходом...» — «Vanitas vanitatum». Мы не делаем, однако, попыток восстановить эти заглавия. Видимо, было бы логично так же относиться и к заглавиям, от которых Баратынский отказался, готовя другой свой сборник.

В преамбуле к *Изд. 1957* говорится о решении восстановить снятые заглавия по предшествующим публикациям. Но это было осуществлено не во всех случаях. Скажем, стихотворение CXXVIII — «Дитя мое, она сказала...» имело в предшествующей публикации — в альманахе «Новоселье» — заглавие «Кольцо. С. Э—т». Это заглавие восстановлено. Но следующее, CXXIX стихотворение сборника — «В дни безграничных увлечений...» — ранее печаталось под заглавием «Элегия». Это заглавие не восстановлено.

Восстанавливая заглавия стихотворений, от которых их автор отказался, пришлось столкнуться с проблемой: как быть в тех случаях, когда разные предшествующие публикации имели разные заглавия. Единого и последовательного решения этой проблемы найти не удалось, и соображения, по которым одни заголовки предпочитались другим, остаются неизвестны читателю.

Вот несколько примеров.

Стихотворение из *Изд. 1835*	Журнальное заглавие	Заглавие в *Изд. 1827*
«Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой...»	«Послание к барону Дельвигу»	«К Делию»
«Поверь, мой милый, твой поэт...»	«Л. С. П-ну»	«Л. П-ну»
«Я возвращуся к вам, поля моих отцов...»	«Сельская элегия»	«Родина»
«Взгляни на звезды: много звезд...»	«Звездочка»	«Звезда»

Первые два стихотворения опубликованы в *Изд. 1957* под журнальными заглавиями, а заглавия сборника 1827 г. отброшены, в третьем и четвертом случае, наоборот, отброшены журнальные заглавия, а те, которые Баратынский дал своим стихам в 1827 г., сохранены. Трудно объяснимое решение было принято в отношении стихотворения «Г—чу»: здесь последнее избранное Баратынским заглавие оказалось отвергнуто и заменено другим, под которым это послание печаталось в *Изд. 1827*. На наш взгляд, избежать подобной непоследовательности можно лишь одним путем: сохранить только те заглавия, которые были избраны

автором при последней публикации соответствующих произведений, а остальные указать в примечаниях. Помещаемый в настоящем издании Алфавитный указатель стихотворений фиксирует и все вариантные, измененные заглавия.

Это, конечно, изменит привычный облик сборников Баратынского, лишенных таких заглавий, как «Признание», «Буря», «Рим». Но привычное не может быть предпочтено правильному. Нужно, чтобы правильное вошло в обиход и стало привычным. Мы привыкли к тому, что стихотворение Пушкина, которое мы в обиходе и даже в научных работах называем «Памятник», публикуется в собраниях сочинений без заглавия. Видимо, так же мы будем пользоваться и заглавиями «Признание» или «Буря» для обозначения элегий «Притворной нежности не требуй от меня...» и «Завыла буря; хлябь морская...».

Следующий вопрос, который нуждается в обсуждении,— расположение стихотворений. Стихи, не публиковавшиеся при жизни Баратынского, отделены в *Изд. 1957* от основного состава его сочинений, и это вполне обосновано. Но не со всеми принятыми при этом разделении решениями можно согласиться. О стихотворении «На посев леса» в примечаниях к *Изд. 1957* сказано, что, несмотря на его явную недоработанность, «оно занимает одно из центральных мест в поздней лирике Баратынского... На этом основании включаем «На посев леса» в основной текст» (с. 375). Принимая обоснованность этих соображений, нельзя, однако, не задаться вопросом: почему не включено в основной состав стихотворение «Вот верный список впечатлений...» — одна из важнейших творческих деклараций Баратынского, произведение, которое мыслилось поэ-

том как своего рода предисловие к *Изд. 1835*? К тому же, в отличие от стихов «На посев леса», это произведение было, по-видимому, полностью завершено: дошедший до нас текст не содержит никаких следов недоработки.

Конечно, если подходить к делу формально, стихотворение «Вот верный список впечатлений...» принадлежит к стихам, при жизни поэта не печатавшимся Но и стихотворения «Спасибо злобе хлопотливой...» впервые напечатанное в 1859 г., и «На все свой ход, на все свои законы...», опубликованное в 1914 г., должны были появиться в той же рубрике. То, что эти стихи помещены среди опубликованных при жизни Баратынского, в примечаниях никак не пояснено и по существу не оправдано.

И, наконец, нельзя не отметить, что между сведениями, содержащимися в примечаниях к *Изд. 1957* и указывающими на источник публикуемых текстов, и самими текстами нет полного соответствия. Так, в комментарии к «Последнему поэту» говорится: «Печ- по экземпляру «Сумерек» с собственноручными поправками Баратынского (собрание К. В. Пигарева»)» (с. 366). В действительности текст, опубликованный в книге, содержит лишь часть поправок, которые имеются в экземпляре К. В. Пигарева. Например, стих 14 в «Сумерках» читался: «Дышит роскошь, блещет вкус». Он был заменен стихом: «Носит понт торговый груз». Стих 68 в «Сумерках»: «Сия скала... тень Сафо!.. голос волн» — был исправлен Баратынским: «Сия скала... тень Сафо!.. песни волн». Первая из этих поправок была учтена *Изд. 1957*, а вторая оставлена без внимания. Подлинный текст «Последнего поэта» с учетом всех поправок, внесенных Баратынским, был опубли-

кован К. В. Пигаревым в издании: *Баратынский Е. А.* Стихотворения и поэмы. М.: Дет. лит., 1975, с. 106—108.

О стихотворении «Дядьке-итальянцу», опубликованном в «Современнике» в 1844 г., в примечаниях к *Изд. 1957* содержится недвусмысленное заявление: «...Считаем текст «Современника» окончательным» (с. 376). Тем не менее, текст, напечатанный в сборнике, расходится с редакцией «Современника». В «Современнике» стих 16 читается: «Имел я благодать нерусского надзора», в *Изд. 1957* — «Ты дал мне благодать нерусского надзора». Ту же редакцию этого стиха находим в *Изд. 1884.* Вместе с тем стих 106, который в *Изд. 1884* читается: «Все беззаботному дыханью благосклонно»,— в *Изд. 1957* напечатан, как в «Современнике»: «Все беззаботному блаженству благосклонно». Что побудило к этому смешению текста «Современника» с текстом посмертных изданий, в *Изд. 1957* не пояснено.

Выход в 1957 г. во многих отношениях ценного сборника, выпущенного «Библиотекой поэта», был знаменательной вехой в истории изданий Баратынского, и все, кто издавали и будут издавать его стихи, обращались и еще не раз обратятся к этой книге, опираясь на собранный в ней материал. Но именно потому, что она стала текстологической основой последующих изданий Баратынского, каждая, даже мелкая неточность, допущенная при ее подготовке, каждое спорное решение множились и множатся новыми сборниками поэта. Речь идет, таким образом, не о том, как был издан Баратынский четверть века тому назад, а о том, как его издавать сегодня и завтра.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание воспроизводит два последних прижизненных собрания произведений Баратынского «Стихотворения Евгения Баратынского. М. в типографии Августа Семена при императорской Медико-хирургической академии, 1835; цензурное разрешение 7 марта 1833 г., цензор Н. Бутырский»; и «Сумерки Сочинение Евгения Баратынского. М., в типографии Августа Семена при императорской Медико-хирургической академии, 1842, цензурное разрешение 10 марта 1842, цензор И. Снегирев».

В «Дополнениях» помещены все стихотворения Баратынского, не вошедшие в издания 1835 и 1842 гг. Они разделены на две группы. Отдел I составляют произведения, публиковавшиеся при жизни Баратынского, а также предназначавшиеся для печати, но не вышедшие в свое время в свет по каким-либо внешним причинам: эпиграмма «Отчизны враг, слуга царя», которая не могла быть напечатана по цензурным условиям, стихотворение «Вот верный список впечатлений», которое предназначалось для *Изд. 1835* и должно было стать в нем своего рода поэтическим предисловием, но не было включено в сборник, стихи, пересланные Плетневу для публикации в «Современнике» и вышедшие после смерти поэта, и др. Стихотворения этого раздела располагаются в хронологической последовательности. Если дата создания произведения неизвестна, принимается год, позднее которого оно не могло быть написано.

В отдел II включены стихи, не публиковавшиеся при жизни Баратынского и, по-видимому, не предназначавшиеся для печати, а также незавершенные произведения, главным образом альбомные мелочи, эпиграммы, наброски и т. п. Порядок расположения здесь также хронологический.

В разделе «Другие редакции и варианты» приводятся разночтения прижизненных публикаций и беловых

автографов. В меру возможного учтены и утраченные автографы — с указанием на источник, содержащий сведения о них. Разночтения копий приводятся выборочно — с учетом авторитетности копии и художественной значимости редакции, которая в ней воспроизведена. Также выборочно приводятся и варианты черновых автографов — как правило, лишь в тех случаях, когда они дают слитное чтение строфы или поэтического фрагмента. Учитывая, что *Изд. 1869* и *Изд. 1884* готовились по материалам архива Баратынского, значительная часть которых утрачена, представлялось целесообразным учесть также разночтения редакций, помещенных в этих собраниях. В случаях, когда автографы имеют авторскую правку, ее последовательность обозначается буквами *а*, *б*, *в*... Если последний слой правки совпадает с окончательным текстом, то в данном разделе он не приводится, а при предшествующем варианте ставится звездочка *. Под вариантом указывается источник (или источники, если их два или более). Если для следующего варианта источник тот же, указание на него не повторяется. Если в одном и том же архиве два автографа одного произведения, они нумеруются римскими цифрами.

Стихотворения Баратынского печатаются по современной орфографии. Однако мы стремились сохранить написания, отражающие произносительные, словообразовательные и другие особенности русской поэтической речи 1820—1830 гг., в частности окончания прилагательных (газетчик русской, гусар красивой, Эол бурнопогодной). В меру возможного сохраняется и пунктуация Баратынского. Однако использование им некоторых знаков, в частности двоеточия, настолько не соответствует современным нормам, что их механическое воспроизведение могло бы затруднить читателю знакомство со стихами поэта. Нередко в автографах и публикациях отсутствуют запятые, и это мешает полноценному восприятию текста. В таких случаях в пунктуацию Баратынского вносились необходимые коррективы.

Примечания содержат необходимые сведения текстологического, фактического и историко-литературно

го характера. Даются сведения о местонахождении автографов, о важнейших отзывах современников, а также писателей и критиков XIX и XX вв., на то или иное произведение Баратынского. При этом ссылки на Пушкина и Белинского даются по изданиям: *Пушкин*. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1937—1949. Т. I—XVI; *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1953—1959. Т. I—XIII. При подготовке комментария были использованы материалы, собранные в изданиях Баратынского М. Л. Гофманом, И. Н. Медведевой, Е. Н. Купреяновой, К. В. Пигаревым, С. Г. Бочаровым и др., а также в неосуществленном издании, которое готовил в середине 30-х годов нашего века Ю. Н. Верховский (корректура примечаний к этому изданию находится в архиве Мурановского музея).

В алфавитном указателе учтены не только окончательные заглавия стихотворений, но и те, под которыми Баратынский публиковал их в журналах и альманахах, в *Изд. 1827* и от которых впоследствии отказался.

В настоящем издании принято написание фамилии поэта «Баратынский». Как известно, некоторые свои письма и деловые бумаги он подписывал «Боратынский», а художественные произведения (за исключением «Сумерек») печатал с подписью «Баратынский». Прижизненная критика использовала только последнюю форму. Так писали фамилию поэта Пушкин и Белинский, а позднее — Толстой, Бунин, Брюсов. Выход «Сумерек» не изменил сложившейся традиции: рецензенты сборника продолжали писать «Баратынский», так подписывались последующие прижизненные и посмертные публикации, в том числе подборка стихов, напечатанных в «Современнике» И. С. Тургеневым, подготовленные сыновьями поэта *Изд. 1869* и *Изд. 1884*.

В конце XIX в. возникли попытки узаконить написание «Боратынский» на том основании, что фамилия поэта происходит от названия замка «Боратынь», принадлежавшего его предкам. Хотя эти попытки и периодически возникавшие дискуссии (см., в частности: *Кожинов В. В.* Легенды и факты.— Рус. лит., 1975, № 2, с. 148—150; *Калакуцкая Л. П.* О фамилии поэта Бара-

тынского.— Рус. речь, 1977, № 4, с. 153—157) вызвали разнобой в написании фамилии поэта, форма «Баратынский» остается преобладающей. Вернуться к написанию «Боратынский» на основании требований этимологического характера — все равно, что воскресить как более «правильное» написание «Фон-Визин».

Составитель настоящего издания поддерживает точку зрения, что фамилия «Баратынский» представляет собой псевдоним и относится к тому разряду псевдонимов, который И. Ф. Масанов определяет как «искажения действительных фамилий» (*Масанов И. Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М.: Всесоюзная книжная палата, 1956, т. I, с. 6). В составленном им словаре мы находим псевдоним драматурга В. М. Горского — В. М. Гурский, поэта А. А. Лесина — А. Лисин, писателя М. М. Стопановского — М. Степановский и много других подобных случаев. Известно, что если писатель опубликовал под одним и тем же псевдонимом все или почти все свои произведения, такой псевдоним становится неотъемлемым достоянием истории литературы. Он либо присоединяется к настоящей фамилии (Салтыков-Щедрин, Гарин-Михайловский), либо заменяет ее. Это и произошло с фамилией «Баратынский».

Часть первая

Стихотворения

1. Финляндия

(с. 7—10)

Впервые — *Сор.*, 1820 (ч. 10, № 5, с. 168). С разночтениями перепечатано в *СО*, 1820 (ч. 70, № 22, с. 81). В другой редакции вошло в *Изд. 1827*, где открывало 1-ю книгу «Элегий» (с. 9). Стих., «одобренное» и «избранное» * на заседании Вольного общества любите-

* На заседаниях Вольного общества по поводу каждого рассмотренного произведения принималось два

лей российской словесности (19.IV 1820 г. (*УР*, с. 377), принесло Баратынскому славу «певца Финляндии» и получило единодушную высокую оценку критики. Белинский причислил «Финляндию» к стихам, «особенно достойным памяти и внимания» (VI, 487).

[20] *...отечество Одиновых детей...*— Один (Оден) — бог войны в скандинавской мифологии.

II. «Порою ласковую фею...»

(с. 10)

Впервые — альманах «Царское село на 1830 г.» (СПб., с. 157); загл. «Фея»; подпись: «Е. Б — ий; 1824 года». По-видимому, эта дата была призвана утаить от читателей действительное время создания стихотворения, которое, как опасался Баратынский, могло бросить, тень на его семейную жизнь. Посылая стихотворение издателю «Царского села» Н. М. Коншину, поэт подчеркивал: «Под стихотворением моим «Фея» выставлен год: не забудь его напечатать в твоем альманахе — это мне нужно» (Русская старина, 1908, № 12, с. 762). Автограф находился в собрании Э. П. Юргенсона (см. *Ф*, 196). Его нынешнее местонахождение неизвестно. Стих. было среди французских переводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 192).

III. «Завыла буря; хлябь морская...»

(с. 11—12)

Впервые — *Мнем.*, ч. IV (М., 1825, с. 214); загл. «Буря». Под тем же заглавием, но с разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 1, с. 26). Автограф — *ПД*. При прохождении первой публикации через цензуру возникли затруднения. 29.III 1825 г. Баратынский пи-

---

отдельных решения: «Определили» («одобрено», «исправить», «возвратить г. сочинителю» и т. п.) и «избрано или нет». См.: Журнал ученых упражнений высочайше утвержденного С.-Петербургского вольного общества любителей российской словесности.— *УР*, с. 369—441).

сал: «Леда моя публично целуется со своим Лебедем, а буре шуметь не позволено. Неисповедимы судьбы твои, о цензура русская!» (*Изд. 1951*, с. 480). Текст, появившийся в *Изд. 1835*, также подвергся цензурным искажениям: ст. 11—20, которые цензурный комитет счел «подлежащими запрещению», были заменены точками. Стих. было восторженно принято современниками. Белинский причислял его к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

11 *Геенны властелин...*— дьявол.

IV. «Я возвращуся к вам, поля моих отцов...»

(с. 12—14)

Впервые — *СО*, 1821 (ч. 67, № 6, с. 274); загл. «Сельская элегия». В *Изд. 1827* вошло с рядом разночтений и с загл. «Родина» («Элегии» 1, с. 21). Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

1 *...поля моих отцов...*— Имение Мара Тамбовской губернии, принадлежавшее отцу поэта Абраму Андреевичу Боратынскому.

37 *А ты мой старый друг...*— Баратынский обращается к своему воспитателю, итальянцу Джачинто Боргезе (см. посвященное ему стих. «Дядьке-итальянцу»), которого в первой редакции называет на русский лад Яковом.

47 *Богиня пажитей признательней Фортуны.*— Поэт хочет сказать, что богиня плодородия Церера по справедливости воздает людям за труды в противоположность непостоянной Фортуне, богине счастья, случая и удачи.

V. «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель...»

(с. 15)

Впервые — *ПЗ* на 1824 г. (с. 63); загл. «Рим». Под тем же загл. вошло в 1-ю кн. «Элегий» в *Изд. 1827* (с. 20). Под загл. «К Риму» рассматривалось, было

одобрено и избрано на заседании Вольного общества любителей российской словесности 22.VIII 1821 г. (см. *УР*, 401). Судьба Рима как символ изменчивости исторической судьбы постоянно привлекала к себе внимание европейских поэтов, начиная с Дю Белле. Незадолго до Баратынского к той же теме обратился Байрон («Паломничество Чайльд-Гарольда», IV). Видимо, поэтому Ф. В. Булгарин назвал это стих. «истинно Байроновской пиесой»: «Неверная участь могущественных царств, суета великих помыслов, история веков — все это изображено в четырех куплетах» (Северная пчела, 6.XII 1827).

11 *Позорище* — здесь: зрелище, вид.

VI. «О счастии с младенчества тоскуя...»

(с. 16—17)

Впервые — *ПЗ* на 1824 г. (с. 19—21); загл. «Истина. Ода». Под загл. «Истина» вошло в 1-ю кн. «Элегий» в *Изд. 1827* (с. 15—17). П. А. Плетнев называл это стих. «в некотором смысле драмою, где действует сам поэт, его жизнь и наставница их — Истина» (*Совр.* 1844, т. XXXV, с. 302).

А. А. Бестужев выделил стих. как лучшее из напечатанных в *ПЗ* на 1824 г. 28.I 1824 г. он писал Вяземскому: «Однако ж ода Баратынского, на счастье, право, стоит взгляда» (*ЛН*, 1956, т. 60, кн. 1, с. 212). В. Г. Белинский, считая его одним из «замечательных стихотворений» Баратынского (I, 325), вместе с тем видел в нем проявление «несчастного раздора мысли с чувством, истины с верованием» (VI, 474).

VII. «Наслаждайтесь: все проходит!..»

(с. 18)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 19).

VIII. «Люблю я красавицу...»

(с. 19)

Впервые — альманах «Сиротка на 1831 г.» (с. 21); загл. «Лазурные очи».

IX. Лета

(с. 20)

Впервые — *НЛ*, 1823 (кн. 4, № 19, с. 95); загл. «К Лете». В *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 34) имеет загл. «Лета», а в оглавлении подзаг. «Подражание Мильвуа». Перевод стих. Мильвуа «Le fleuve d'oubli» («Река забвения»). Белинский причислял «Лету» к стихотворениям, которые «особенно достойны памяти и внимания» (VI, 487).

Лета — река, обтекающая *Элизей* (Элизий), куда попадают праведники. Глоток воды из этой реки заставляет забыть землю и земную жизнь.

X. «Расстались мы; на миг очарованьем...»

(с. 20)

Впервые — *Сор.*, 1820 (ч. 9, № 2, с. 196) с типографскими дефектами. В исправленном виде — *СО*, 1821 (ч. 70, № 21, с. 32—33). В обоих случаях имеет загл. «Элегия». В другой редакции под загл. «Разлука» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 31).

XI. «К чему невольнику мечтания свободы?..»

(с. 21)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 24) с цензурным искажением, устраненным в советских изданиях по «Журналу заседаний СПб. цензурного комитета от 14 марта 1833 г.» (*ЛМ*, с. 16). Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «Soumission» («Покорность»); опубликовано в *Ак.* (I, 194).

XII. «Рассеивает грусть пиров веселый шум...»

(с. 22)

Впервые — *СО*, 1821 (ч. 67, № 3, с. 128); загл. «Уныние». С тем же загл. и разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 36).

XIII. Песня
(с. 23—24)

Впервые — *СО*, 1821 (ч. 68, № 10, с. 135); загл. «Русская песня». Под тем же загл. и с разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 89). Пользовалось популярностью и неоднократно перепечатывалось в альманахах и сборниках 30-х годов XIX в.

XIV. «Приманкой ласковых речей...»
(с. 24)

Впервые — *НЛ*, 1823 (ч. 6, № 40, с. 14); загл. «Хлое». Под загл. «К К... о» рассматривалось, было одобрено и избрано на заседании Вольного общества любителей российской словесности 7 марта 1821 (*УР*, с. 394) и вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 80).

XV. Падение листьев
(с. 25—26)

Впервые — *НЛ*, 1823 (кн. 3, № 12, с. 186). В другой редакции вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 41), где в оглавлении имеет подзаголовок: «Подражание Мильвуа». В *Изд. 1835* заглавие напечатано с ошибкой («Паденье листьев»), исправляемой нами по оглавлению данного сборника. Автограф находился в альбоме с надписью «Tendresse» вместе с автографами других стихотворений Баратынского: «Чудный град порой сольется», «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам», «Твой детский вызов мне приятен». Этим альбомом пользовался М. Л. Гофман, который привел в *Ак.* разночтения перечисленных автографов. Однако редакция *ПСС* этим собранием автографов уже не располагала. Наши попытки установить местонахождение альбома «Tendresse» также оказались безуспешны.

«Падение листьев» — перевод элегии Мильвуа «Le chute des feuilles», которая пользовалась большой популярностью и неоднократно переводилась на русский язык. Баратынский, однако, внес в элегию существенное и характерное изменение. У Мильвуа за неизбежной кончиной следует столь же неизбежное забвение.

Баратынский же противопоставил легкомыслию и равнодушию возлюбленной героя безысходное горе его матери. Так традиционно-элегический сюжет обогащался конкретным психологическим содержанием. В. Г. Белинский назвал это стих. в числе «особенно достойных памяти и внимания» (VI, 487).

16 *Эрев* (Эреб) — преддверие царства мертвых, олицетворение вечного мрака.

38 *На берегах Стигийских вод...*— Стигийские воды — Стикс, река в царстве мертвых.

XVI. «Любви приметы...»

(с. 27)

Впервые — *Благ.*, 1822 (ч. 17, № 11, с. 443); загл. «Догадка». С тем же загл. и разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 59). Автограф — *НД*.

XVII. «Зачем, о Делия! сердца младые ты...»

(с. 28)

Впервые — *НЛ*, 1822 (кн. 1, № 8, с. 126); загл. «Дориде». Перепечатано в «Новых Аонидах на 1823 г.» и в «Собрании новых русских стихотворений», ч. 1, 1824 г. В другой редакции под загл. «Делии» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 55). В копии А. Л. Баратынской (*ПД*) имеет загл. С. Д. П. и, возможно, адресовано Софии Дмитриевне Пономаревой (1794—1824), петербургской красавице, хозяйке литературного салона, в которую был влюблен Баратынский.

20 *Цирцея* (Кирка) — волшебница, изображенная в «Одиссее» Гомера, которая обращала влюбленных в нее мужчин в свиней.

23 *Дитя крылатое* — Амур.

XVIII. «Когда б избрать возможно было мне...»

(с. 29)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 84); загл. «В альбом». Адресат стих. неизвестен. «Д...», возможно, первая буква условно-поэтического имени «Делия», кото-

рым, как и именем «Лилета» в первой редакции данного стих., Баратынский часто пользовался. Напоминая, что в копии А. Л. Баратынской последний стих читался «Чем Машиньке понравиться могу я», М. Л. Гофман высказал предположение, что «Баратынскпй, по-видимому, не имел в виду определенного лица, которому он писал «В Альбом» (*Ак.* I, 268).

XIX. «Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой...»

(с. 29—31)

Впервые — *НЗ*, 1820 (ч. 1, № 3, с. 56); загл. «Послание к б⟨арону⟩ Дельвигу». Под загл. «К Делию. Ода (с латинского)» с разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Смесь, с. 69). 19.I 1820 г. было одобрено и избрано на заседании Вольного общества любителей российской словесности (*УР*, с. 371). Ответ на послание Дельвига «Евгению» (1820).

8 *Бродящий с грустью одинокой?* — Эти строки, по-видимому, отразились в том образе Баратынского, который создал Пушкин в III главе «Евгения Онегина»: «Один, под финским небосклоном, Он бродит...» (VI, 65).

XX. «Желанье счастия в меня вдохнули боги...»

(с. 31)

Впервые — *НЛ*, 1823 (кн. 5, № 38, с. 190); загл. «Безнадежность». С тем же загл. и разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 113). Автограф — *НД*.

XXI. «Мне с упоением заметным...»

(с. 32—33)

Впервые — *НЛ*, 1824 (кн. 9, июль, с. 40); загл. «К...». С тем же загл. и разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 169). По-видимому, обращено к С. Д. Пономаревой (см. прим. XVII).

20 *Меж мудрецами был чудак...* — Имеется в виду французский философ Рене Декарт (1596—1650), которому принадлежит изречение: «Я мыслю, следовательно, я существую».

26—28 *Огнем, похищенным с небес, Япетов сын (гласит преданье) Одушевил свое созданье...* — По легенде, Прометей, сын титана Япета, сотворил людей из земли (вариант: из земли и воды) и вдохнул в них жизнь.

XXII. Цветок

(с. 34—35)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 15, № 2, с. 244). С разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 95). 8.VIII 1821 г. было одобрено и избрано на заседании Вольного общества любителей российской словесности (*УР*, с. 401).

XXIII. «Что пользы нам от шумных ваших прений?..»

(с. 35)

Впервые — «Царское село на 1830 г.» (с. 140); загл. «Эпиграмма». Автограф с тем же заглавием находился в собрании Э. П. Юргенсона (см. Ф. 196). Его нынешнее местонахождение неизвестно. Стих. является откликом на споры, разгоревшиеся в 1829 г. между издателем *МТ* Н. А. Полевым и издателем альманаха «Галатея» С. Е. Раичем. Лишенные принципиального характера, эти споры перешли в непристойную перебранку.

XXIV. «Сердечным нежным языком...»

(с. 35—36)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 46) с цензурным искажением, устраненным в советских изданиях по «Журналу заседаний СПб. цензурного комитета от 14 марта 1833 г.» (*ЛМ*, с. 16).

XXV. Языкову
(с. 36—37)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 47). Датируется на основании письма Баратынского к Языкову, полученного 13.I 1832 г. и содержавшего текст стих. Далее Баратынский писал: «Вот что внушило мне твое послание, исполненное свежести, и красоты, и грусти, и восторга... Твои студенческие элегии дойдут до потомства, но ты прав, что хочешь избрать другую дорогу... С возмужалостью поэта должна мужать и его поэзия, без того не будет истины и настоящего вдохновения...» (Литературно-библиологический сборник. Пг., 1918, с. 70). Написано в ответ на стих. Языкова «И. В. Киреевскому» («В альбом», 1831), где были строки:

...Не в том вся жизнь и честь моя,
Что проповедую науку
Свободно-шумного житья
И сильно-пьяного веселья —
Ученье младости былой.
Близка пора; мечты похмелья
Моей камены удалой
Пройдут; на новую дорогу
Она свой глас перенесет
И гимн отеческому богу
Благоговейно запоет,
И древность русскую, быть может,
Начнет она благословлять...

В начале 30-х годов Баратынский высоко оценивал поэзию Языкова и писал о нем И. В. Киреевскому: «Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение!» (*ТС*, с. 34). Из двух стихотворных посланий, с которыми Баратынский обратился к Языкову, он, по собственному признанию, был «более доволен» стих. «Бывало, свет позабывая» и хотел, чтобы Киреевский напечатал его в журнале «Европеец» (*ТС*, с. 31). Но оно не успело там появиться, так как журнал был запрещен.

³ *Камена* — муза.

4 *Венчалась гроздьем и плющом...*— Муза Языкова предстает в вакхических атрибутах.

20 *Менада* — вакханка.

24 *Дай диадему и порфиру...*— т. е. знаки царского достоинства: корону и пурпурную мантию.

27 *Злословный судья, хулитель...*— Очевидно, имеется в виду Н. А. Полевой, критически отзывавшийся о поэзии Языкова.

XXVI. «Он близок, близок день свидания...»

(с. 37)

Впервые -- *НЗ*, 1820 (ч. 1, № 1, с. 99); загл. «Элегия». В другой редакции под загл. «Ропот» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 35).

14 *И не к лицу веселье мне* — «...Во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца»,— говорится в одном из писем Баратынского (*Изд. 1951*, с. 480). О. И. Сенковский, знакомый с Баратынским по Вольному обществу любителей российской словесности, позднее писал: «Мы помним Баратынского с 1821 г., когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастием, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил в стихах своих: Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне...» (Библиотека для чтения, 1844, т. 66, отд. V, с. 7—8).

XXVII. «Перелетай к веселью от веселья...»

(с. 38)

Впервые — *МВ*, 1827 (ч. 2, № 5, с. 9); загл. «Эпиграмма». Под загл. «В альбом» вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 85). Автограф — *ПД*. По сообщению С. А. Рачинского, стих. обращено к финляндской знакомой поэта Елизавете Куприяновой (Баратынский Е. А. Материалы к биографии: Из Татевского архива Рачинских. Пг., 1916, с. 6).

[5] *Коринна* — героиня романа французской писательницы Жермены де Сталь «Коринна, или Италия» (1807). Иносказательно — разносторонне одаренная женщина.

XXVIII. *«Итак, мой милый, не шутя...»*
(с. 39)

Впервые — *НЗ*, 1820 (ч. 1, № 1, с. 98); загл. «Брату при отъезде в армию» с пропуском 5—6 стихов. С исправлением перепечатано в *Благ.*, 1820 (№ 11, с. 117) под загл. «Б — му при отъезде в армию». С разночтениями и под заг. «К Б.» в *НЛ*, 1823 (кн. 3, № 2, с. 28). В другой редакции под загл. «К **** при отъезде в армию» в *Изд. 1827* («Послания», с. 154). Для *Изд. 1835* стих. было еще раз доработано. Обращено к брату поэта Ираклию Абрамовичу Баратынскому (1802—1859), который служил адъютантом Паскевича, а позднее в чине генерал-лейтенанта был военным губернатором в Казани.

[8] *Арей* — бог войны.

XXIX. *«Мила, как грация, скромна...»*
(с. 40)

Впервые — «Славянин», 1827 (ч. 1, № 3, с. 35); загл. «В альбом Софии». Датируется 1824 г. по автографу в альбоме А. В. Лутковской (*ПД*). В журнале имеется примечание к 7 стиху: «В опере «Сандрильона» король влюбляется и женится на Сандрильоне». Имеется в виду опера Штейбельта на либретто Лукницкого, которая ставилась в русских театрах. По-видимому, это стих., как и «Когда неопытен я был» (см. ниже), было первоначально обращено к С. Д. Пономаревой (см. прим. XVII), а затем переадресовано Анне Васильевне Лутковской (ум. в 1879 г.), племяннице Г. А. Лутковского, командира Нейшлотского полка в Финляндии, где служил Баратынский.

[2] *Сандрильона* — Золушка.

XXX. *«В дорогу жизни снаряжая...»*
(с. 40)

Впервые — «Невский альманах на 1826 г.» (с. 71); загл. «Дорога жизни». Автограф — *ПД*. Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «Les Frais de Route» («Путевые расходы»); опубликовано в *Ак.* (I, 192).

5 *...годы почтовые...*— Баратынский уподобляет время почтовым лошадям, доставлявшим путешественника от станции до станции.

8 *Прогоны* — плата за проезд на перекладных.

XXXI. *«Глупцы не чужды вдохновенья...»*
(с. 41)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 171); с другими стих. Баратынского под общим загл. «Антологические стихотворения». Белинский причислил это стих. к «особенно достойным памяти и внимания» (VI, 487).

XXXII. *«Когда неопытен я был...»*
(с. 41)

Впервые — *ПЗ* на 1825 г. (с. 276); загл. «Л — ой». Под тем же заглавием вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 111). Автограф ранней редакции — *ЦГАЛИ*, в альбоме *С. Д.* Пономаревой, которой это стих. было первоначально посвящено. Позднее, как показывает заглавие, Баратынский переадресовал его А. В. Лутковской (см. прим. XXIX).

12 *...верх бесплодный Геликона.*— Геликон — гора в Греции, где обитали музы; иносказательно — место поэтического вдохновения.

XXXIII. *Г⟨неди⟩чу*
(с. 42—44)

Впервые *Изд. 1827* («Послания», с. 139); загл. «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры». Другая, более ранняя редакция (не позднее 1823 г.)

опубликована В. Я. Брюсовым в журн. «Весы» (1908, № 5). Послание обращено к Николаю Ивановичу Гнедичу (1784—1833), бывшему в начале 20-х годов XIX в. наставником передовой литературной молодежи. Оно содержит отклик на борьбу, развернувшуюся в это время в Вольном обществе любителей российской словесности. В речи, произнесенной на заседании Общества 13.VI 1821 г., Н. И. Гнедич выдвинул программу высокого гражданственного служения литературы. По видимости отклоняя эту программу и рассуждая о невозможности излечить пороки современного общества средствами сатиры, Баратынский написал именно сатиру на поэтов и журналистов, принадлежавших к правому крылу Общества (В. И. Панаева, А. Е. Измайлова, Н. А. Цертелева, Б. М. Федорова и др.). Пушкин, прочтя раннюю редакцию послания, остался неудовлетворен позицией Баратынского и так откликнулся на стихотворение в письме к Дельвигу от 16 ноября 1823 г.: «Сатира к Гнед‹ичу›» мне не нравится, даром, что стихи прекрасные, в них мало перца. *Сомов безмундирный* непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостью писателя? Это шутка, достойная кол‹лежского› совет‹ника› Измайлова» (XIII, 75). При позднейшей переделке стих. Баратынский исключил из него полемику с «лакейскими музами» поэтов, занимавших охранительные позиции, и оно превратилось в скептическое рассуждение о бесполезности сатиры как таковой. Эта редакция вызвала резко отрицательную оценку Белинского (VI, 479).

51 *...редкий муж, вельможа-гражданин...*— Николай Семенович Мордвинов (1754—1845), либеральный государственный деятель, стоявший в оппозиции к реакционному политическому курсу. Пользовался популярностью в декабристской среде, намечался в случае успеха восстания в члены временного правительства.

52 *От дней Фелицыных...*— т. е. от дней царствования Екатерины II, которая описана Державиным в оде «Фелица» (1782).

XXXIV. «Неизвинительной ошибкой...»
(с. 45)

Впервые — *ПЗ* на 1825 г. (с. 191); загл. «К жестокой». В другой редакции вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 86). Автограф — *ПД*. Обращено, по-видимому, к С. Д. Пономаревой (см. прим. XVII) и, следовательно, написано до ее смерти (4.V 1824).

XXXV. «Дало две доли провиденье...»
(с. 46)

Впервые — *НЛ*, 1823 (кн. 4, № 22, с. 141); загл. «Стансы». Автограф без загл.— *ПД*. Под загл. «Две доли» и с разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 1, с. 24). Белинский называл это стихотворение замечательным (I, 325).
16 *...часть!* — Здесь: участь.

XXXVI. «Один, и пасмурный душою...»
(с. 47)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 14, № 1, с. 61); загл. «Бдение». С разночтениями и под загл. «Тоска» — *РИ*, 1822 (№ 18, с. 72). Под загл. «Бдение» и другими разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 38). Одобрено и избрано на заседании Вольного общества любителей российской словесности 7 марта 1821 г. (*УР*, с. 394).
28 *Петел* — петух.

XXXVII. «В борьбе с тяжелою судьбой...»
(с. 48)

Впервые — альм. «Урания на 1826 г.» (с. 73, ценз. разр. 26.XI 1825 г.); загл. «К ***. Посылая тетрадь стихов». Совпадающий по тексту автограф — *ПД*. Под загл. «К ... при посылке тетради стихов» в другой редакции появилось в альм. «Зимцерла на 1829 г.» (с. 12), а затем без загл. перепечатано в *Изв. 1835*. В *Изд. 1827* не вошло. В *Изд. 1884* имеет загл. «Г. З.», т. е. графине А. Ф. Закревской (см. о ней в прим. XLIII).

XXXVIII. Лутковскому
(с. 48—49)

Впервые — *ПЗ* на 1824 г. (с. 259); загл. «К...». Под загл. «Л — му» и с разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 163).

Георгий Алексеевич *Лутковский* (ум. 1831) — командир Нейшлотского пехотного полка, в котором служил поэт. Лутковский участвовал в сражении под Эпердорфом, о чем и связаны упоминаемые в стих. «Епендорфские трофеи».

21 *С веселым сыном Цитереи...* — т. е. Эротом, богом любви.

XXXIX. «Когда печалью вдохновенный...»
(с. 50)

Впервые — *МВ*, 1830 (ч. 1, № 1, с. 7); загл. «Подражателям». Совпадающий по тексту автограф — *ГПБ*. Белинский сочувственно цитировал это стихотворение и причислял его к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

XL. «Нет, обманула вас молва...»
(с. 51)

Впервые — «Северная звезда на 1829 г.» (с. 121); загл. «Уверение» и с датой: 1824. Однако М. Л. Гофман с основанием видит в ней «преднамеренное скрывание истинного времени написания» (*Ак.* I, 256). Баратынский, по-видимому, опасался, что это стихотворение может бросить тень на его семейную жизнь. Белинский считал, что это стихотворение «всего лучше характеризует светскую, паркетную музу г. Баратынского» (I, 325).

XLI. «Поверь, мой милый! твой поэт...»
(с. 51—52)

Впервые — *СЦ* на 1826 г. (с. 40); загл. «Л. С. П — ну». Под загл. «Л. П — ну» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 64). Обращено к Льву Сергеевичу Пушкину (1805—

1852), которого с Баратынским связывали дружеские отношения. Стихотворение написано в период, когда Баратынский и Л. Пушкин были одновременно увлечены Александрой Андреевной Воейковой (1795—1829). А. А. Воейкова, жена журналиста А. Ф. Воейкова, племянница Жуковского, посвятившего ей свою «Светлану». Красота, ум, высокие душевные качества А. А. Воейковой восхищали многих ее современников.

XLII. «Тебя из тьмы не изведу я...»

(с. 52—53)

Впервые — *МВ*, 1829 (ч. 1, № 1, с. 45); загл. «Смерть», в редакции, значительно отличающейся от окончательного текста. Белинский причислял это стихотворение к особенно достойным памяти и внимания. Его высоко ценил Л. Н. Толстой, включивший его в свой «Круг чтения» (см.: *Толстая С. А.* Дневники. М.: ИХЛ, 1978, т. 2, с. 72, 488).

14 *Согласье прям его лия...*— т. е. распрям, спорам (дательный падеж множественного числа от древнерусского слова «пря»).

XLIII. «Как много ты в немного дней...»

(с. 54)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 176) с явно цензурным искажением. Стих. предназначалось, по-видимому, для альманаха «Литературный музеум», изданного в 1827 г. В. В. Измайловым, которому Баратынский писал в 1826 г.: «Что же касается до имени «Магдалина», которое пугает цензуру, я решил заменить его словом «богомолка», хотя эта перемена портит всю пьесу» (цит. по публикации в кн.: *Хетсо Г.* Баратынский: Жизнь и творчество. Приложения, с. 588). Но и эта уступка, очевидно, не удовлетворила цензоров. В *Изд. 1835* криминальный стих вновь не был пропущен цензурным комитетом, который, «признав сравнение развратной женщины со святою Магдалиною вовсе неприличным, запретил сии стихи к печатанию» (*ЛМ*,

с. 17). Адресовано Аграфене Федоровне Закревской (1799—1879), жене финляндского генерал-губернатора А. А. Закревского, которой поэт был сильно увлечен и которая постоянно упоминается в его письмах 1825—1826 гг. Известная своей красотой, пылким характером, пренебрежительным отношением к светской морали, Закревская привлекала многих писателей 20-х годов, в том числе Пушкина, посвятившего ей стихотворение «Портрет», где она названа «беззаконной кометой в кругу расчисленном светил» (III, 112). Стих. написано не ранее конца 1824 г., когда Баратынский познакомился с Закревской, и не позднее февраля 1825 г., когда оно было переписано Н. В. Путятой. Николай Васильевич Путята (1802—1877) — близкий друг, позднее родственник Баратынского. Они сблизились в Финляндии, где Путята служил адъютантом А. А. Закревского и принимал деятельное участие в судьбе поэта. Их отношения оставались неомраченными до самой смерти Баратынского, после которой Путята много сделал для сохранения и издания наследия своего покойного друга.

XLIV. «Храни свое неопасенье...»

(с. 54)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 79). Адресат неизвестен. В копии А. Л. Баратынской и посмертных изданиях имеет загл. «Монастырке», и это дало основание полагать, что оно обращено к одной из воспитанниц Смольного института, привилегированного учебного заведения, образованного из женского монастыря. В Смольном институте воспитывалась мать поэта Александра Федоровна.

XLV. «Вчера ненастливая ночь...»

(с. 55)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 94); загл. «Случай». По местонахождению автографа в альбоме П. Л. Яковлева (*ПД*) датируется 1818—1819 гг. Стихотворение получило резко отрицательную оценку Белинского (I, 326).

XLVI. «Незнаю? Милая Незнаю!..»

(с. 55)

Впервые — *НЗ*, 1820 (ч. 1, № 2, с. 93), в разделе «Мадригалы»; загл. «К девушке, которая на вопрос, как ее зовут, отвечала: не знаю». Неоднократно перепечатывалось, вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 104). Стих. получило резко отрицательную оценку Белинского (I, 326).

XLVII. Богдановичу

(с. 56—59)

Впервые — *СЦ* на 1827 г. (с. 335). В другой редакции включено в *Изд. 1827* («Послания», с. 158). Первая редакция (1824) до нас не дошла. О ней А. И. Тургенев писал Вяземскому 17.VI 1824 г.: «Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 3, с. 55). Иначе отнесся к стихотворению Дельвиг, писавший Пушкину 10.IX того же года: «Послание к Богдановичу» исполнено красотами, но ты угадал: оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где. Что делать? Это пройдет! Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком» (XIII, 108). Еще более отрицательно оценили послание В. И. Туманский (см. XIII, 327), Вяземский (*МТ*, 1828, ч. 13, № 1, с. 236), а позднее — Белинский (I, 326). Существует предположение, что именно это стихотворение имел в виду Баратынский, когда писал Пушкину: «...Я... в одной не напечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно «Вытье жеманное поэтов наших лет» (XIII, 254).

1 *В садах Элизия, у вод счастливой Леты...* — см. прим. IX.

3 *...Душенькин поэт...* — Ипполит Федорович Богданович (1743—1803), автор поэмы «Душенька» (1778).

8 *Парнас* — место обитания Аполлона и муз, иносказательно — сообщество поэтов.

25 *Жуковский... первый между нами Вошел в содружество с германскими певцами...* — В 1824 г. имела

место оживленная полемика о поэзии Жуковского и ее роли в развитии русской литературы. Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» подверг Жуковского и его последователей ожесточенной критике. Баратынский сочувственно отзывался о выступлении Кюхельбекера (см. *Изд. 1951*, с. 474, 476).

40 *...любимцам Аонид* — т. е. музам.

43 *Она любила муз...*— Источником этих стихов послужило, видимо, сообщение Карамзина в статье «О Богдановиче и его сочинениях» (1803), что Екатерина «читала «Душеньку» с удовольствием и сказала о том сочинителю: что могло быть для него лестнее? Знатные и придворные, всегда ревностные подражатели государей, старались изъявить ему знаки своего уважения и твердили наизусть места, замеченные монархинею» (*Карамзин Н. М.* Избранные сочинения. М.; Л.: Гослитиздат, 1964, т. 2, с. 222).

59 *О, добрый наш народ имеет для того...*— Эта часть стих. может быть пояснена письмом Баратынского к И. И. Козлову, где, в частности, говорилось: «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами: они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом» (*Изд. 1951*, с. 474).

72 *Избрать в советники кота и петуха...*— «Богданович жил в совершенном уединении,— писал Батюшков в статье «Нечто о поэте и о поэзии» (1815).— У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину» (*Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977, с. 25).

[84–85] *Недавно от него товарищ твой Назон Посланье получил...* — Публий Овидий Назон (43 до н. э.— 17 н. э.) — римский поэт, к которому обращено послание Пушкина «К Овидию» (1821).

[87–88] *...Как некогда Орфей Между мохнатых пел... Орфей* — мифический фракийский певец, завораживавший своим пением птиц и зверей.

XLVIII. «Очарованье красоты...»
(с. 60)

Впервые — *СЦ* на 1827 г. (с. 226); загл. «А. А. В — ой». Почти одновременно стихотворение появилось в альм. «Литературный музеум на 1827 г.» (с. 60), включено в *Изд. 1827* («Смесь», с. 73). Датируется по местонахождению автографа в альбоме А. Л. Баратынской в числе «сочинений Евгения Баратынского 1824 и 1825 года» (*ПД*). В альбом была первоначально вписана та же редакция стихотворения, которая появилась в печати. Однако она была здесь же подвергнута позднейшей правке. В результате возникла новая редакция, отразившая окончательный результат работы Баратынского над стих. Поэтому ее текст и принят как основной. Другой автограф — *ЦГАЛИ*. Послание обращено к А. А. Воейковой (см. прим. XLI).

XLIX. «Как сладить с глупостью глупца?..»
(с. 60)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 83).

L. «Идиллик новый на искус...»
(с. 62)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 91); загл. «Эпиграмма». Датируется по местонахождению автографа в альбоме А. Л. Баратынской в числе «сочинений Евгения Баратынского 1824 и 1825 года» (*ПД*). Направлена, вероятно, против поэта-сентименталиста Владимира Ивановича Панаева (1792—1856). Белинский при-

числял это стихотворение к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

¹ *Бог беспристрастный Геликона...*— Апполон, бог поэзии.

LI. *«Так! отставного шалуна...»*
(с. 62—63)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 105); загл. «Товарищам». М. Л. Гофман связывает создание этого стихотворения с женитьбой поэта в 1826 г., однако более обоснованными представляются сопоставление темы и настроения этого стих. с произведениями начала 20-х годов и его соответствующая датировка 1821 г. (см. *Изд. 1957*, с. 341).

LII. *«По замечанью моему...»*
(с. 64)

Впервые — «Галатея», 1829 (ч. 1, № 2, с. 90); загл. «В альбом». Обращено к поэтессе и переводчице Каролине Карловне Павловой (Яниш, 1807—1894), которой принадлежат, в частности, переводы на немецкий язык ряда произведений Баратынского.

LIII. *«Шуми, шуми с крутой вершины...»*
(с. 65)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 15, № 1, с. 90); загл. «Водопад». Под тем же загл., но в другой редакции вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 1, с. 13), 16.V 1821 г. рассматривалось и было избрано на заседании Вольного общества любителей российской словесности (*УР*, с. 398). Автограф редакции, напечатанной в *Сор.*,— *ЦГАЛИ*. Об обстоятельствах создания этого стих. рассказал в своих воспоминаниях Н. М. Коншин: «В Финляндии есть чудо: это водопад *Иматра*, река Вокса, суженная гранитными берегами, с оторванным дном, летит в бездну. После лагеря мы поехали посмотреть этого водопада. Долго стоял поэт над оглушающей пропастью,

скрестя руки на груди. Кто не прочитал с наслаждением стихов, выразивших чувство, владевшее им на скалах Иматры: «Зачем с безумным ожиданием...» и след.» *Коншин Н. М.* Воспоминания о Баратынском.— Краеведческие записки [Ульяновский областной краеведческий музей им. Гончарова]. Ульяновск, 1958, вып. 2, с. 393). В мемуарах А. П. Керн (глава «Поездка на Иматру») есть следующее свидетельство: «На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского» (*Керн А. П.* Воспоминания. Л.: Academia, 1929, с. 305).

[5] *...свищет аквилон...*— северный ветер.

LIV. «Она придет! к ее устам...»

(с. 66)

Впервые — «Урания» на 1826 г. (с. 101); загл. «Ожидание». Под тем же загл. и с подзаголовком в оглавлении «Подражание Парни» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 60). Перевод элегии Парни «Réflexion amoureuse». Баратынский смягчает эротическую напряженность, очень ощутимую в оригинале. В частности, стихи: «Des voluptés je sens déjà l'ivresse, Et le désir précipte mes pas...» (Я уже чувствую, что опьянен наслаждением, и желание ускоряет мои шаги) заменены нейтральным описанием: «Приют укромный будет нам Под сими вязами густыми». Стих. вызвало резко отрицательную оценку Белинского (I, 326).

LV. «На кровы ближнего селенья...»

(с. 66)

Впервые — *Благ.*, 1822 (ч. 17, № 11, с. 444); загл. «Возвращение». Под тем же загл. и подзаголовком в оглавлении «Подражание Мильвуа» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 61). Перевод элегии Мильвуа «Le retour». Амур, упоминаемый в оригинале, заменен в переводе Лелем.

LVI. Элизийские поля
(с. 67—68)

Впервые — *ПЗ* на 1825 г. (с. 103); загл. «Елисейские поля». Под загл. «Элизийские поля» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 52). Датируется по указанию Баратынского, который в апреле 1825 г. писал И. И. Козлову: «Элисейские поля» писаны назад тому года четыре...» (*Изд. 1951*, с. 481). Белинский причислял это стих. к замечательным (I, 325) и особенно достойным памяти и внимания (VI, 477).

Элизийские поля (Элизий, Элисий) — загробный мир, где обитают праведники.

7 *...к берегáм Аида...*— Аид, Айдес — подземное царство мертвых.

23 *...в закоцитной стороне...*— т. е. в царстве мертвых, расположенном за рекой Коцит, притоком Стикса.

28 *Катулл* Гай Валерий (87 или 84 до н. э.— после 54 до н. э.) — римский поэт-лирик.

28 *Парни* Эварист Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт, автор любовных элегий.

32 *...от темных Орковых полей...*— т. е. из подземного царства мертвых. Орк — римское божество смерти, аналогичное Аиду, Плутону.

LVII. «Сей поцелуй, дарованный тобой...»
(с. 69)

Впервые — *Благ., 1822* (ч. 17, № 9, с. 444); загл. «Поцелуй (Дориде)». Под тем же загл., но без подзаголовка вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 51).

LVIII. «Тебе на память в книге сей...»
(с. 69—70)

Впервые — *СО*, 1819 (ч. 58, № 49, с. 126); загл. «Т — му (В альбом)». С разночтениями и под загл. «Прощание» — *Сор.*, 1821 (ч. 15, кн. 3, с. 338). В другой редакции под загл. «В альбом» включено в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 32). Согласно указанию С. А. Рачинско-

го, обращено к Ш. Шляхтинскому, смоленскому знакомому Баратынского (см.: Баратынский Е. А. Материалы к биографии. Из Татевского архива Рачинских, с. 6).

LIX. *«Когда взойдет денница золотая...»*
(с. 71—72)

Впервые — *СЦ* на 1827 г. (с. 265); загл. «Песня». Под тем же загл. вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 102). Автограф — *ПД*. Написано не позднее 1825 г., т. е. находится в альбоме, озаглавленном рукой поэта: «Сочинения Евгения Баратынского 1824 и 1825 года». Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

LX. *«Окогченная летунья...»*
(с. 72)

Впервые — *МВ*, 1827 (ч. 1, № 4, с. 254); загл. «Эпиграмма». Под тем же загл. вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 112).

LXI. *Н. И. Гнедичу*
(с. 73—76)

Впервые — *НЛ*, 1823 (кн. 6, № 41, с. 29). В другой редакции вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 174). XXIII. Печ. по *Изд. 1835* с учетом собственноручных поправок, сделанных Баратынским на экземпляре, который был подарен им В. А. Жуковскому и ныне находится в *ПД*. О существовании этого экземпляра мне сообщил А. С. Янушкевич, которому выражаю глубокую благодарность. О Н. И. Гнедиче см. прим. XXIII.

3—4 *Я не забыл тебя, почтенный Аристип... и русские Афины...* — Обращаясь к знатоку античности и переводчику Гомера Н. И. Гнедичу, Баратынский шутливо называет его именем древнегреческого философа Аристиппа и под «русскими Афинами» подразумевает Петербург.

6 *Не Вакховых пиров, не лобызаний Фрины Лишенье тяжко мне...*— Продолжая метафору, связанную с античностью, Баратынский пишет о том, что его не огорчает потеря легкой, беззаботной жизни; *Фрина* — знаменитая древнегреческая гетера; здесь нарицательно — женщина легкого поведения.

75 *...воды светлые Кастальского ручья...*— Кастальский ручей — источник на горе Парнас, посвященный Аполлону и музам; иносказательно — источник вдохновения.

95 *...Апелла, Фидия желал бы навещать...*— т. е. любоваться произведениями прославленных древнегреческих мастеров — живописца Апелла (Апеллеса) и скульптора Фидия. Т. к. произведения Апеллеса не сохранились, а от произведений Фидия дошли до нас только немногие фрагменты, то все выражение Баратынского следует понимать в общем смысле.

LXII. «Взгляни на лик холодный сей...»

(с. 76)

Впервые — *СЦ* на 1826 (с. 68); загл. «Надпись». Под тем же загл. вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 100). В копии А. Л. Баратынской имеет подзаголовок «А. С. Г.», а в посмертных изданиях загл. «К портрету Грибоедова». Поскольку никаких сведений об общении Баратынского с Грибоедовым не сохранилось, более обоснованным представляется предположение Е. Н. Купреяновой, что речь идет об А. Ф. Закревской; это подтверждается созвучностью данного стихотворения настроениям, выраженным в письме Баратынского к Н. В. Путяте в феврале — марте 1825 г. (см. *Изд. 1951*, с. 477).

LXIII. «Прощай, отчизна непогоды...»

(с. 77—78)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 15, № 2, с. 236); вместе с стих. «Пора покинуть, милый друг» под общим загл. «Элегии». Под загл. «Отъезд» и в другой редакции во-

шло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 44). Рассматривалось на заседании Вольного общества 16 мая 1821 (*УР*, с. 378). По-видимому, стих. было написано в связи с отъездом Баратынского в Петербург, где летом 1821 г. находился его полк. Окончательное прощание Баратынского с Финляндией произошло через четыре года.

LXIV. «Чувствительны мне дружеские пени...»
(с. 78)

Впервые — *НЛ*, 1823 (кн. 4, № 18, с. 78); загл. «К ***». В другой редакции и под загл. «Эпилог» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 66). Автограф — *ЦГАЛИ*. Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «Far Niente» (итал. «безделье»); опубликовано в *Ак.* (I, с. 191).

[2] *Геликон* — гора, где обитали музы; здесь — поэзия.

LXV. «Я посетил тебя, пленительная сень...»
(с. 80—82)

Впервые — «Библиотека для чтения», 1835 (т. 8, с. 19); загл. «Запустение. Элегия». В соответствии с общей текстологической установкой наст. изд. текст печатается по *Изд. 1835.* Вместе с тем в данном случае представилось необходимым внести в него поправку. Ст. 65 в *Изд. 1835* читается: «Где я наследую бессмертную весну». В *Изд. 1884* дана иная редакция этого стиха: «Где я наследую несрочную весну». Слово «несрочный» принадлежит к ряду эпитетов, составляющих характерную примету поэтического языка Баратынского. Ср., в частности: «недружная судьба», «незвонкие струны», «незлобная красота», «незрелые лета», «нелицемерная панихида», «лица необщее выраженье», «свет неоткровенный», «непокупное счастье», «нетрепетная рука», «нечуждая жизнь» и мн. др. Невозможно допустить, что замена слова «бессмертная» словом «несрочная» могла быть произведена кем-либо, кроме самого Бара-

тынского. Поэтому она принята в настоящем издании, и редакция «Где я наследую несрочную весну» введена в основной текст.

В стих. речь идет об имении Мара в Тамбовской губернии, в котором Баратынский родился и провел детские годы и которое посетил осенью 1833 г.

50 *Он не был мыслию, он не был сердцем хладен...* — Речь идет об отце поэта Абраме Андреевиче Боратынском (1770—1810), который был владельцем Мары. После выхода в отставку он уехал туда и всецело посвятил себя хозяйству, превратив Мару в прекрасное имение. По замыслам А. А. Боратынского, в саду были сооружены беседки, мостики, гроты, каскады, проложены аллеи и тропы, свидетельствующие о присущем ему большом вкусе и чувстве изящного.

LXVI. «Когда исчезнет омраченье...»

(с. 83)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 119). Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

LXVII. «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...»

(с. 84)

Впервые — *Сор.* 1821 (ч. 16, № 1, с. 78); загл. «К Делию. Ода (с латинского)». Под загл. «Дельвигу» с рядом разночтений вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 109).

Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487). Оно привлекло также внимание Л. Н. Толстого, который в 1876 г. писал А. А. Фету: «Баратынский настоящий, хотя мало красоты, изящества, но есть прекрасные вещи. Один стих: «Любить и лелеять недуг бытия» стоит дороже всех драм Толстого» (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90-та т. М.: Гослитиздат, 1953, т. 62, с. 295).

2 *...блаженство прямое* — подлинное, настоящее.

25 *...Как алчный Тантал Сгорает средь влаги прохладной...* — Тантал — герой популярного греческого мифа. По мифу, Тантал был осужден богами вечно терзаться жаждой, стоя по горло в воде, и испытывать голод, видя рядом ветви с плодами.

LXVIII. «О своенравная София!..»
(с. 85—86)

Впервые — *ПЗ* на 1824 г. (с. 27); загл. «Аглае», с цензурными искажениями. В измененном виде, но также с цензурными искажениями вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 148). Подлинный текст опубликован впервые в *ПСС* (I, 98) по автографу *ПД* в альбоме С. Д. Пономаревой, к которой и обращено стихотворение.

LXIX. «Люблю деревню я и лето...»
(с. 86)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 59); загл. «Деревня».

LXX. «В своих стихах он скукой дышит...»
(с. 87)

Впервые — *Благ.*, 1821 (ч. 15, № 15, с. 160); загл. «Эпиграмма». С разночтениями и под тем же загл. вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 118). Направлено против поэта-графомана Дмитрия Ивановича Хвостова (1757—1835), имевшего обыкновение читать окружающим свои стихи.

LXXI. «Рука с рукой Веселье, Горе...»
(с. 87)

Впервые — *МТ*, 1825 (с. 310); загл. «Веселье и Горе», с разночтениями. Совпадающий по тексту автограф — *ПД*. В окончательной редакции вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 79).

LXXII. «Решительно печальных строк моих...»
(с. 88—89)

Впервые — *СЦ* на 1825 г. (с. 263); загл. «Оправдание». Под тем же загл., но в другой редакции вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 57). Адресат стих. неизвестен.

32 *...пафосских пилигримок Я сторожил вечернею порой...* — На острове Пафос в древности было святилище Афродиты, куда стекались пилигримы со всей Греции. Здесь же Баратынский «пафосскими пилигримками» иронически называет женщин легкого поведения.

LXXIII. «Ты ропщешь, важный журналист...»
(с. 89)

Впервые — «Литературный музеум на 1827 г.» (с. 259); загл. «Эпиграмма». Под тем же загл. с разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 101). Направлена против Михаила Трофимовича Каченовского (1775—1842), ретроградного журналиста, ожесточенно выступавшего против элегического направления в русской поэзии.

LXXIV. Дельвигу
(с. 90—91)

Впервые — *ПЗ* на 1823 г. (с. 374); загл. «К Дельвигу». В другой редакции под загл. «Дельвигу» вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 166).

5—6 *Ты помнишь ли, в какой печальный срок Впервые ты узнал мой уголок?..* — Знакомство Баратынского с Дельвигом пришлось на время, когда первому предстояло идти рядовым на военную службу.

LXXV. «Мы пьем в любви отраву сладкую...»
(с. 92)

Впервые — *СЦ* на 1825 г. (с. 265); загл. «Сонет». Автограф с тем же загл.— *ПД*. Под загл. «Любовь» вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 124). Адресат стих. неизвестен.

LXXVI. «Приятель строгий, ты не прав...»
(с. 92—93)

Впервые — *СО*, 1821 (ч. 70, № 24, с. 175); загл. «Булгарину». С разночтениями и с загл. «К...» вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 156). Для *Изд. 1835* стих. было вновь доработано. Адресовано Фаддею Венедиктовичу Булгарину (1777—1859), который откликнулся на это стих. в рецензии на *Изд 1827*: «Из посланий лучшие к Н. И. Гнедичу, к Дельвигу и *ко мне*. Послание ко мне было напечатано в «Сыне Отечества» и перепечатано в «Образцовых сочинениях» с моим именем: «К Булгарину»; имя мое было даже в стихе. По переселении поэта в Москву, он стал писать ко мне послания другого рода, а в прежнем имя мое заменено точками в заглавии, а в стихе я пожалован в *Менторы*. Пользуясь этим почетным званием, и советую поэту более следовать внушению своего гения, нежели внушениям журнальных сыщиков. Это будет лучше и для него, и для публики» (Северная пчела, 1827, № 147). Решение Баратынского изменить заглавие стихотворения и исключить имя Булгарина из текста связано с радикальным изменением отношения поэта к адресату послания. В начале 20-х годов Булгарин еще поддерживал дружеские отношения с будущими декабристами и другими прогрессивными деятелями, но после 1825 г. его деятельность приняла столь одиозный характер, что тон товарищеской полемики, в котором выдержано данное стих., стал неуместным. Баратынский, отстаивавший позиции пушкинского круга, мог обращаться к Булгарину лишь с «посланиями другого рода», т. е. эпиграммами.

LXXVII. К⟨нягине⟩ З. А. Волконской
(с. 94—95)

Впервые — альм. «Подснежник на 1829 г.»; загл. «Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию». Зинаида Александровна Волконская (1792—1862), поэ-

тесса, композитор, певица, снискала восхищение современников своей красотой и разносторонней одаренностью.

Игра Волконской произвела огромное впечатление на прославленную французскую актрису Марс; ее музыкальные выступления в Париже в 1815 г. вызвали похвалу Россини. Пушкин посвятил Волконской следующие строки:

Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений. *(III, 54)*.

В ее доме на Тверской бывали Жуковский, Вяземский, Языков, Дельвиг, Веневитинов, Загоскин, Адам Мицкевич и др. Когда М. Н. Раевская-Волконская остановилась в последний раз в Москве перед тем, как выехать в Сибирь к ссыльному мужу, в доме З. А. Волконской был устроен прощальный концерт, на котором присутствовал Пушкин. В феврале 1829 г. З. А. Волконская навсегда покинула Россию и переселилась в Италию. Ее дом в Риме стал своеобразным культурным центром, где бывали композитор Доницетти, художник Каммучини, скульпторы Торвальдсен и Канова. Особенно притягательным палаццо Поли в Риме было для русской колонии, и там обыкновенно собирались русские писатели и художники, среди которых были Н. В. Гоголь и Ал. Иванов.

6–7 *Она спешит* ∾ *Под Авзонийский небосклон...*— т. е. в Италию, которую в древности часто называли Авзонией.

10 *Октавы Тассовы звучат...*— Имеется в виду поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580), написанная октавами.

18 *Коринна* — см. прим. XXVII.

LXXVIII. «Не бойся едких осуждений...»

(с. 95)

Впервые — *МТ*, 1827 (ч. 13, № 3, с. 96); загл. «К ***». Под тем же загл. вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 98). Автограф — *ГПБ*. В копии А. Л. Баратынской (*ПД*) озаглавлено «А. Н. М..... у». Адресовано, как и стих. «Не подражай, своеобразен гений», Адаму Мицкевичу, с которым Баратынский встречался в 1826—1829 гг. Восторженно принимаемые передовой русской интеллигенцией, стихи Мицкевича в связи с их новаторством, положившим начало романтическому направлению в польской литературе, получили ряд резко критических отзывов на родине поэта; эти нападки на «грубость» его произведений исходили от апологетов классицизма. По-видимому, эти «осуждения» и «похвалы» имеет в виду Баратынский. Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

LXXIX. «Тебе я младость шаловливу...»

(с. 96)

Впервые — альм. «Северная лира на 1827 г.» (с. 429); загл. «К Амуру». Под тем же загл. вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 107). Стих. получило резко отрицательную оценку Белинского (I, 327).

LXXX. «Поэт Писцов в стихах тяжеловат...»

(с. 96)

Впервые — *НЗ*, 1820 (ч. 1, № 1, с. 103); загл. «Эпиграмма». Под тем же загл., но в другой редакции вошла в *Изд. 1827* («Смесь», с. 117). Направлена против Д. И. Хвостова (см. прим. LXX).

LXXXI. «Чтоб очаровывать сердца...»

(с. 97—98)

Впервые — *РИ*, 1822 (№ 28, с. 12); загл. «К ***». С разночтениями и под загл. «К — ву. Ответ» вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 145). Обращено к поэту Александру Абрамовичу Крылову (1793—1829) и является

ответом на его памфлетное стих. «Вакхические поэты», направленное против Дельвига и Баратынского. См.: *Вацуро В. Э.* Из истории литературных полемик 1820-х годов.— В кн.: Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972, с. 161—174.

Стремясь доказать, что воспевать «души своей царицу» столь же достойно поэзии, как «вражды царей» и «стук мечей», Баратынский напоминает о поэтах, которые «повстречали славу в Цитере», т. е. обессмертили себя в жанре любовной лирики (Анакреон, Тибулл, Парни, Батюшков).

34 *Пленен ли Хлоей, Дафной ты...*— Хлоя и Дафна (здесь) — условно поэтические имена.

LXXXII. Разуверение

(с. 99)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 16, № 2, с. 205); вместе со стих. «Нет, не бывать тому, что было прежде!..» под общим загл. «Элегия». С разночтениями и под загл. «Разуверение. Элегия» — *НЛ*, 1822 (кн. 1, № 3, с. 47). Под тем же загл., но без подзаголовка вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 40). Автограф — *ЦГАЛИ*. Адресат неизвестен. Стих. пользовалось большой популярностью. Белинский упоминал о нем в числе произведений «замечательных» (I, 325) и «особенно достойных памяти и внимания» (VI, 487).

Выдающаяся русская советская певица, внучка Баратынского Надежда Андреевна Обухова (1886—1961) пишет в своей автобиографии: «А как хороши элегии Баратынского! Как они поэтичны, музыкальны! Не мудрено, что Глинке захотелось написать свой чудесный романс на слова деда «Не искушай меня без нужды». Эта элегия Баратынского прекрасно сочетается с музыкой Глинки. Я всегда с особым чувством пою этот романс и предпочитаю вариант, написанный для сольного пения. Мне кажется, что, когда исполняешь этот романс одна, больше выявляется смысл и глубина элегии» (*Обухова Н. А.* Мои воспоминания.— В кн.: Надежда Андреевна Обухова: Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1970, с. 53).

LXXXIII. А. А. Ф...ой
(с. 100—101)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 147). Обращено к знакомой Баратынского казанской поэтессе Александре Андреевне Фукс (ок. 1805 — 4.II.1853). Датируется по письму поэта к И. В. Киреевскому из Казани от 16 мая 1832 г., где, в частности, говорится: «Прошу... пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязания на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать» (*ТС*, с. 46). Неумеренно комплиментарный тон этого «ответа» вызвал осуждение Пушкина. Проезжая через Казань в сентябре 1833 г., он виделся с А. А. Фукс и писал жене (12.IX 1833): «Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхваливал ее красоту и гений» (XV, 80).

22—23 *...Блестящими стихами Вы обольстительно приветили меня.*— Эти стихи А. А. Фукс до нас не дошли. В сборнике ее стихотворений, вышедшем в Казани в 1834 г., есть стихотворение «После отъезда Е. А. Баратынского из Казани» (*Фукс А. А.* Стихотворения. Казань, 1834, с. 42—47). См. также: *Бобров Е.* А. А. Фукс и казанские литераторы 30—40-х годов.— Русская старина, 1904, № 6, с. 481—509; № 7, с. 5—35.

LXXXIV. «Живи смелей, товарищ мой...»
(с. 101)

Впервые — *СО*, 1821 (ч. 71, № 29, с. 131); загл. «К — ну». С разночтениями и под загл. «Добрый совет К... ну» вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 122). Обращено к Николаю Михайловичу Коншину (1794—1865), поэту, близкому другу Баратынского. Н. М. Коншин был командиром роты Нейшлотского полка, в котором служил Баратынский. Он оставил воспоминания о поэте.

14—15 *И в молдаванке шалуна, И в рубище анахорета.*— Молдаванка — молдавская женская куртка.

LXXXV. «Не трогайте парнасского пера...»
(с. 102)

Впервые — *МТ*, 1826 (ч. 7, № 3, с. 124); загл. «Совет». Под загл. «Эпиграмма» вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 97). Автограф — *ЦГАЛИ*. Датируется по письму поэта к Н. В. Путяте от января 1826 г., где, в частности, говорится: «Вот тебе покуда эпиграмма на поэтов прекрасного пола» (*Изд. 1884*, с. 528—529).

7 *Уносят их летийские струи...*— воды Леты (см. прим. IX).

LXXXVI. Старик
(с. 102—103)

Впервые — *СЦ* на 1829 (с. 64). Белинский причислял это стих. «к особенно достойным памяти и внимания» (VI, 487).

1 *Лель* — бог любви в славянской мифологии.

LXXXVII. «Хвала, маститый наш Зоил!..»
(с. 103)

Впервые — *МТ*, 1829 (ч. 26, № 7, с. 258); загл. «Vсторiческая Епiграмма». Автограф — *РОБЛ*. Направлена против издателя «Вестника Европы» М. Т. Каченовского. В ней упоминаются критические замечания, содержавшиеся в рецензии Каченовского на «Сочинения и переводы» И. И. Дмитриева (Вестник Европы, 1806, №№ 8—9), и выступления против Пушкина, которые в конце 20-х годов были нередким явлением в «Вестнике Европы». В журнале Каченовского было принято использовать буквы «V» и «i», вместо «И» в словах греческого происхождения, Баратынский напечатал в *МТ* по этой орфографии всю эпиграмму. Этим он не только делал более ясным читателю ее адресата, но и осмеивал архаизм Каченовского.

Зоил — древнегреческий философ и ритор IV в. до н. э. Его имя стало нарицательным для обозначения придирчивого и недоброжелательного критика.

LXXXVIII. Подражание Лафару
(с. 104)

Впервые — *НЗ*, 1820 (ч. 1, № 3, с. 54); без загл. С разночтениями и под загл. «Элегия» и с датой: «15 марта 1820» — *СО*, 1821 (ч. 71, № 27). В *Изд. 1827* («Элегии» 2, с. 49) вошло под загл. «Утешение» с подзаг. в оглавлении: «Подражание Лафару». Стих. является вольным переводом мадригала французского поэта Шарля Огюста Лафара (1644—1712) «A madame la comtesse de Caylus». Оригинал — любовное послание. В нем изображен поэт, погруженный в тоску по той, кого он избрал владычицей своих чувств, и пробужденный от тоски обещанием Купидона: «Je vais mettre fin à ta peine, Je te promets un regard de Caylus» («Я положу конец твоей печали. Я обещаю тебе взгляд Кайлю»). Перевод пространнее оригинала (21 стих. у Баратынского вместо 16 у Лафара), и это не случайно. Баратынский наполняет стих. более глубоким содержанием. Имя графини де Кайлю заменено условно-поэтическим именем Хлои, и Купидон говорит о том, что любовь помогает человеку воскреснуть сердцем.

LXXXIX. «Я безрассуден — и не диво!..»
(с. 105—106)

Впервые — *ПЗ* на 1825 г. (с. 148) под загл. «Д — у». С разночтениями и под загл. «Д — гу» вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 119). Обращено к Дельвигу.

ХС. Д. Давыдову
(с. 107)

Впервые — *МТ*, 1826 (ч. 10, № 14, с. 55); загл. «Д. В. Давыдову». С разночтениями вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 153). Поскольку текст был, по-видимому, искажен цензурой, стих. печатается по автографу (*РОБЛ*), впервые опубликованному в *ПСС* (I, 102). Датируется по письму Н. Муханова от 16.XI 1825 г., где, в частности, говорится: «4-го дня вечером приехал ко мне Денис Вас. и Баратынский, которые просидели

весь вечер; ты не можешь себе представить, как первый был хорош. На другой день Баратынский прислал мне к нему послание: когда оно будет исправлено от погрешностей, вкравшихся от поспешности, я тебе перешлю его» (Щукинский сборник. М., 1912, вып. X, с. 347). Знакомство Баратынского с поэтом и героем Отечественной войны 1812 г. Д. В. Давыдовым (1784—1839) произошло летом 1825 г., дружеские отношения между ними еще более упрочились женитьбой Баратынского (9 июня 1826 г.) на родственнице Давыдова А. Л. Энгельгардт.

21 *В народе славной бородой!* — В 1812 г., будучи партизаном, Д. В. Давыдов носил бороду.

XCI. *«Твой детский вызов мне приятен...»*

(с. 108)

Впервые — *СО*, 1821 (ч. 68, № 10, с. 133); загл. «Лиде». В другой редакции вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 74). Об автографе — см. прим. XV. По сообщению С. А. Рачинского, стих. обращено к финляндской знакомой поэта Елизавете Куприяновой (ср. прим. к стих. «Перелетай к веселью от веселья»).

XCII. *«Взгляните: свежестью младой...»*

(с. 109)

Впервые — *Благ.*, 1819 (ч. 5, № 4, с. 210); загл. «Мадригал пожилой женщине и все еще прекрасной». Под загл. «Женщине пожилой, но все еще прекрасной» вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 93). Датируется предположительно 1818 г. Обращено к тетке поэта Марии Андреевне Панчулидзевой (1781—1845).

8 *...летун седой...*— Кронос, бог времени.

XCIII. *«Притворной нежности не требуй от меня...»*

(с. 109—110)

Впервые — *ПЗ* на 1824 г. (с. 312) под загл. «Признание». В *Изд. 1827* не было включено, по-видимому, по соображениям личного характера: появление в печати

стих. с пророчеством об «обдуманном браке», который соединит не «сердца», а «жребии», было неуместным сразу после женитьбы Баратынского на А. Л. Энгельгардт (1826). В *Изд. 1835* опубликовано в другой редакции. Черновой автограф — *ПД*. Адресат неизвестен. Одно из наиболее совершенных и прославленных стих. Баратынского. Пушкин писал 12.I 1824 г.: «Баратынский — прелесть и чудо; Признание — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий...» (XIII, 84).

XCIV. Авроре Ш.......

(с. 111)

Впервые — *ПЗ* на 1825 г. (с. 116); загл. «Девушке, имя которой было Аврора». Под тем же загл. вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 82). Автограф — *ПД*. Существует предположение, что это стих. представляет собой автоперевод произведения, первоначально написанного по-французски (см. *Ак.* I, 191). Обращено к дочери выборгского губернатора Авроре Карловне Шернваль (1808—1902), знаменитой впоследствии светской красавице, бывшей в первом браке замужем за П. Н. Демидовым, а затем в 1846 г. вышедшей замуж за Андр. Н. Карамзина, сына историка, которому в 1836—1837 гг. посылались из России письма, вошедшие в наше время в литературоведение под названием «Тагильской находки». К сестре Авроры Карловны Э. К. Мусиной-Пушкиной обращено известное стихотворение Лермонтова «Графиня Эмилия — Белее чем лилия».

2 *Соименница зари...* — Аврора в греческой мифологии — богиня зари.

XCV. «Чудный град порой сольется...»

(с. 111)

Впервые — альм. «Радуга» на 1830 г.» (с. 160). Автограф находился в тетради А. Л. Баратынской в Казанском архиве (см. *Ак.* I, с. 279). Его нынешнее местонахождение неизвестно.

XCVI. «Я не любил ее, я знал...»

(с. 112)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 170). Адресат неизвестен.

XCVII. Из А. Шенье

(с. 113)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 46); загл. «Смерть. Подражание А. Шенье». Автограф находился в тетради А. Л. Баратынской в Казанском архиве (*Ак.* I, с. 272), его нынешнее местонахождение неизвестно. Перевод элегии А. Шенье «O nécessité dure! O pesant esclavage!» (О тяжелая необходимость! О тяжкое рабство!). Баратынский перевел не всю элегию, а лишь ту ее часть, которая была приведена Шатобрианом в «Гении христианства», и к тому же сократил ее более чем на треть: в оригинале 24 стиха, а переводе — 14. Совокупность изменений, осуществленных переводчиком, привела к тому, что стих. Баратынского полнее и глубже выражало мироощущение человека романтической эпохи. Подробнее об этом см.: *Фризман Л. Г.* Три элегии.— В кн.: Искусство слова. М.: Наука, 1973, с. 72—77.

XCVIII. «Взгляни на звезды: много звезд...»

(с. 114—115)

Впервые — *СЦ* на 1825 г. (с 313); загл. «Звездочка» и с датой «24 сентября 1824 г.» Совпадающий по тексту автограф — *ПД*. С разночтениями и под загл. «Звезда» вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 115). Написано не позднее начала августа 1824 г., т. к. в письме от 5.VIII 1824 г. А. И. Тургенев сообщал П. А. Вяземскому об этом стих. и цитировал его. См.: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1894, т. III, с. 69).

XCIX. «Болящий дух врачует песнопенье...»

(с. 115)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 175). Ср. мысль, высказанную Баратынским в письме к Плетневу: «...Мне жаль,

что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранять бодрость духа» (*Изд. 1951*, с. 496).

C. «Пора покинуть, милый друг...»
(с. 116—117)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 15, № 2, с. 237); загл. «Н. М. К» С разночтениями и под загл. «К... ну» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 3, с. 62). Адресовано Н. М. Коншину (см. прим. LXXXIV).

CI. «Не подражай: своеобразен гений...»
(с. 117)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 172) вместе с четырьмя другими стих. Баратынского под общим загл. «Антологические стихотворения». Обращено к Адаму Мицкевичу (см. прим. LXXVIII) и вызвано, по-видимому, выходом поэмы «Конрад Валленрод», испытавшей значительное влияние Байрона.

3 *Доратов ли ∾ двойник...* — Жан Дорат (1508—1588) — французский поэт, современник Шекспира, пользовавшийся в свое время большим авторитетом и популярностью. Стихотворение обратило на себя внимание Пушкина, который процитировал его в послании «Алексееву»:

Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надежной?»
И ничего не нахожу. (*II, 228*)

5—6 *С Израилем певцу один закон: Да не творит себе кумира он!* — Перефразируется библейская заповедь: «Не делай себе кумира...» (Исход, 20, 4).

CII. *«В глуши лесов счастлив один...»*
(с. 118)

Впервые — *ПЗ* на 1825 г. (с. 316); загл. «Стансы». Под тем же загл., но в другой редакции (без начальных 24 стихов) вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 126). Отброшенную часть «Стансов» Баратынский, по обоснованному предположению П. П. Филипповича, сократил и переработал в самостоятельное стихотворение — «Ода» (см. *Ф* 197).

[12] *Эпикур* (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, учивший, что мудрость не только обогащает людей знаниями, но и доставляет им величайшие духовные наслаждения. У философов Возрождения и французских просветителей эпикуреизм нередко переосмыслялся и становился синонимом стремления к чувственным удовольствиям, земным радостям и т. п.; *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 138) — древнегреческий философ-стоик.

CIII. *«Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...»*
(с. 119—120)

Впервые — *СО*, 1820 (ч. 66, № 49, с. 130); загл. «К Коншину» и с пометой «Фридрихсгам». Под загл. «К — ну» вошло в *Изд. 1827* («Послания», с. 172). Об автографе см. прим. XV. Обращено к Н. М. Коншину (см. о нем LXXXIV).

CIV. *«На звук цевницы голосистой...»*
(с. 120)

Впервые — *ПЗ* на 1823 г. (с. 85); загл. «Весна». Под тем же загл. включено в *Изд. 1827* («Смесь», с. 77). 17 апреля 1822 г. было одобрено и избрано на заседании Вольного общества любителей российской словесности (*УР*, с. 415).

Цевница — старинный музыкальный инструмент, здесь — символ поэзии, поэтического дара.

CV. «Не ослеплен я музою моею...»
(с. 121)

Впервые — *СЦ* на 1830 г. (с. 94); загл. «Муза». Приведя полный текст стих., Белинский писал: «Нельзя вернее и беспристрастнее охарактеризовать *безотносительное* достоинство поэзии г. Баратынского, как он сделал это сам в следующем прекрасном стихотворении...» (VI, 487).

CVI. Череп
(с. 122—123)

Впервые — *СЦ* на 1825 г. (с. 282). В другой редакции под загл. «Могила» вошло в *Изд. 1827* («Элегии» 1, с. 18). Автографы — *ПД*, *ЦГАЛИ* и Отдел письменных источников ГИМ. Стих. получило высокую оценку современной поэту критики. Как отмечал П. А. Плетнев, «подобный предмет есть в стихотворениях знаменитого Байрона. Мы из любопытства сравнивали эти два произведения. Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского. Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о черепе умершего человека. Наш поэт извлек из этого предмета поразительные истины» (*Сор*., 1825, кн. 1, с. 107). Имеется в виду стих. Байрона «Надпись на кубке из черепа» («Lines inscribed upon a cup formed from a scull»). Пушкин, посылая Дельвигу свой «Череп», напоминал ему о стих. Баратынского:

...Или, как Гамлет-Баратынский,
Над ним задумчиво мечтай... (*III, 72*)

С другой стороны, А. А. Бестужев критически оценил «Череп» (см.: *Бестужев-Марлинский А. А.* Соч.: В 2-х т. М., 1958, т. 2, с. 628). Спустя несколько лет он написал собственное стихотворение под тем же загл., где полемизировал с Баратынским (см. об этом: *Бестужев-Марлинский А. А.* Полное собрание стих. Л., 1961, с. 31). Белинский причислял «Череп» к стихам «замечательным» (I, 325) и «особенно достойным памяти и внимания» (VI, 487).

CVII. *«О мысль! тебе удел цветка...»*
(с. 123)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 188). Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

CVIII. *«Судьбой наложенные цепи...»*
(с. 124—125)

Впервые — *МТ*, 1828 (ч. 19, № 2, с. 191); загл. «Стансы» с цензурным пропуском ст. 21—24. В *Изд. 1835* вошло с цензурным искажением ст. 23. Автограф находился в тетради А. Л. Баратынской в Казанском архиве (*Ак.* I, 271). Его нынешнее местонахождение неизвестно.

1 *Судьбой наложенные цепи...*— Имеется в виду служба рядовым в Финляндии.

3 *Я вижу вас, родные степи...*— Поэт говорит об имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии, которое он навестил весной 1827 г. с женой и новорожденной дочерью Александрой.

17 *Ко благу пылкое стремленье...*— Баратынский иносказательно выражает свое отношение к идеалам дворянской революционности.

21 *Я братьев знал...*— Воспоминания о дружеских отношениях с казненным Рылеевым и «бедствующими» в заключении Бестужевым и Кюхельбекером.

23—24 *Далече бедствуют иные, И в мире нет уже других.*— Баратынский перефразирует слова Саади, взятые Пушкиным как эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану» «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». Эта же цитата была использована для напоминания о судьбе декабристов и самим Пушкиным в VIII главе «Евгения Онегина»:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал. (*VI, 190*)

Н. А. Полевой писал в статье «Взгляд на русскую литературу 1825—1826 годов»: «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто с грустью повторяю слова Сади или Пушкина, который нам пересказал слова Сади: «одних уж нет, другие странствуют далеко» (*МТ*, 1827, ч. 13, № 1, с. 9). Эта фраза вызвала булгаринский донос в III отделение: «Сожаление о погибших друзьях на стр. 9 было всем понятно и доставило большой ход журналу. В статье все жалуются на два последние года, т. е. 1825—1826 — время отлучки Тургенева ⟨Н. И.⟩ и ссылки бунтовщиков. Всё так ясно изъяснено, что не требует пояснений» (*Лемке М.* Николаевские жандармы и литература. Пг., 1909, с. 258).

CIX. «Есть грот: наяда там в полдневные часы...»

(с. 125)

Впервые — *СЦ* на 1827 г. (с. 330) и альм. «Северная лира на 1827 г.» (с. 26); загл. «Наяда». Под тем же загл. и с подзаг. в оглавлении «Подражание Шенье» вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 108). Датируется по письму Вяземского к Жуковскому от 6.I 1827 г., где упомянуто в качестве литературной новинки (см.: Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921, т. I, вып. 6, с. 57). Перевод «Fragment d'idylles» (№ 6) А. Шенье. Баратынский сократил стих. (в оригинале — 8 ст., в переводе — 6). Изменения коснулись главным образом первой половины элегии, где опущен ряд деталей описания, которое стало в русском варианте скупее, лаконичнее, строже. Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

CX. Мадона

(с. 126—127)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 193). Датируется предположительно началом 1832 г. по письму Баратынского к И. В. Киреевскому от 18.I 1832 г., где, в частности, говорится: «Я получил баллады Жуковского. В некото-

рых необыкновенное совершенство слога и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне даже дает охоту рифмовать легенды» (*ТС*, с. 32). Предполагается, что «Мадона» была именно такой «рифмованной легендой», написанной под влиянием Жуковского.

[80] *Корреджий.*— Корреджо Антонио (наст. фамилия: Аллегри, ок. 1489—1534), итальянский художник. Из наследия Корреджо в XIX в. особенно ценились его «Мадонны», наделенные чарующей прелестью и теплотой чувства.

CXI. «О верь: ты, нежная, дороже славы мне...»
(с. 128)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 197). Обращено к жене поэта, Анастасии Львовне (урожд. Энгельгардт, 1804—1860). Автограф — *ПД*. Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликовано **в *Ак.*** (I, 194).

CXII. «Мой дар убог, и голос мой не громок...»
(с. 128)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 171) вместе с другими стих. Баратынского под общим загл. «Антологические стихотворения». Его высоко ценил и анализировал О. Э. Мандельштам, раскрывая в процессе этого анализа природу поэзии и ее воздействия на читателя (см.: *Мандельштам О. Э.* О поэзии: Сборник статей, Л.: Academia, 1928, с. 19 и след.).

CXIII. «Мой неискусный карандаш...»
(с. 129)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 199). Автограф — *ПД*. Датируется 1831 г. предположительно по местонахождению автографа в альбоме А. Л. Баратынской.

CXIV. *Последняя смерть*
(с. 130—133)

Впервые — *СЦ* на 1828 г. (с. 89). Некоторые из современников, в частности Н. Полевой, считали это стих. отрывком из поэмы (см. *МТ*, 1828, ч. 19, № 1, с. 125). Рецензент *МВ* также писал: «Последняя смерть» неясна; но надо знать, что это отрывок. Неясная в нем мысль может объясниться в целом» (1828, ч. 7, № 2, с. 192). Булгарин, сравнивший «Последнюю смерть» с «Мраком» Байрона, был иного мнения: «Предмет так богат,— писал он,— что кажется, будто пиеса не окончена» (Северная пчела, 1828, № 5). Современники были единодушны в высокой оценке стих. Белинский считал его «апофеозой всей поэзии Баратынского» (VI, 475).

27 *Близ веси весь...*— весь — селение, деревня.

69—70 *Их в эмпирей и хаос уносила Живая мысль...*— Эмпирей — небесная высь, обиталище богов; хаос — пустое пространство, существовавшее до создания мира.

89 *Величествен и грустен был позор...*— Здесь позор — зрелище.

CXV. *К. А. Свербеевой*
(с. 134)

Впервые — альм. «Царское село на 1830 г.» (с. 133); загл. «В альбом отъезжающей». Автограф — *ЦГАЛИ*. Автограф ранней редакции — *ПД*. Ст. 1—11 рукой Баратынского, далее — рукой А. Л. Баратынской. Обращено к Екатерине Александровне Свербеевой (1808—1892), жене литератора Д. Н. Свербеева, с которым Баратынский поддерживал дружеские отношения.

CXVI. *«Слыхал я, добрые друзья...»*
(с. 135—136)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 187); загл. «Бесенок». Датируется по письму Баратынского к Дельвигу от конца октября — начала ноября 1828 г., где он обещает прислать «на будущей неделе новое стихотворение под

названием «Бесенок»: ежели незатейливо творение, то заглавие задорно» (*ЛН*, т. 58, с. 83).

[8] *Громобой* — персонаж баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев», продавший душу дьяволу Асмодею.

CXVII. «Есть милая страна, есть угол на земле...»
(с. 136—138)

Впервые — *Изд. 1835*, с. 210. Автограф ст. 1—25 — Архив Академии наук СССР.

[1] *Есть ми́лая страна...*— Мураново, подмосковная усадьба Л. Н. Энгельгардта, отца жены Баратынского Анастасии Львовны. В 1836 г. Энгельгардт умер, и управление имением перешло к Баратынскому, который здесь подолгу жил. По его проекту был построен дом в Муранове (см. с. 137). В своих «Воспоминаниях» Н. А. Обухова пишет: «Бабушка часто рассказывала нам, как он [Баратынский] любил родину, русскую природу и как увлекался хозяйством... Мой дед проявлял живейший интерес к земледелию, садоводству, огородничеству, занимался устройством лесопилки у себя в деревне» (Надежда Андреевна Обухова. Сборник статей. М., 1970, с. 53). Со смертью поэта Мураново на какое-то время опустело. Посетивший его Н. В. Путята писал жене о «грустных и унылых чувствах, которые возбуждает это место. Тут все живо напоминает покойного Евгения. Все носит светлые следы его работ, его дум, его предположений на будущее. В каждом углу, кажется, слышим и видим его. Я не могу удалить из памяти его стиха: «Тут не хладел бы я и в старости глубокой» (цит. по кн.: *Пигарев К. В.* Мураново. М.: Московский рабочий, 1948, с. 36). Ныне в доме поэта мемориальный музей им. Ф. И. Тютчева, и его называют «домом поэтов», т. к. впоследствии здесь жил со своей семьей Ф. И. Тютчев.

[3] *В садах Армидиных...*— Армида, волшебница, изображенная в поэме Т. Тассо «Освобожденный Иеру-

салим», околдовала любовными чарами своего возлюбленного Ринальдо. Здесь «сады Армидины» — любовные мечты.

19 *Я помню ясный, чистый пруд...*— География Муранова воссоздана в стих. с большой точностью. В 30-х годах близ усадьбы находился пруд с тремя островками, покрытыми зеленью.

33 *Она, которой нет* — Наталья Львовна Энгельгардт, свояченица поэта, умершая в 1826 г. от чахотки.

CXVIII. «При посылке «Бала» С. Э.»

(с. 139)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 212). Автограф — на экземпляре отдельного издания поэмы «Бал», ныне хранящегося в собрании К. В. Пигарева. Софья Львовна *Энгельгардт* (1811—1884) — свояченица Баратынского, с 1837 г. жена его друга Н. В. Путяты. Датируется по выходу в свет поэмы «Бал» концом 1828 — началом 1829 г.

CXIX. На смерть Гете

(с. 140—141)

Впервые — альм. «Новоселье» на 1833 г. (ч. 1, с. 239). Автограф — *ПД*. Написано между 22.III 1832 г. (день смерти Гете) и 30.V 1832 г., когда поэт сообщил Киреевскому, что из пьес, написанных им в последнее время, «ода на смерть Гете, которою я более доволен, чем другими» (*ТС*, с. 246). Белинский неоднократно цитировал это стих., называл его «образцовой» элегией (I, 74) и одним «из лучших между мелкими стихотворениями г. Баратынского», вместе с тем он критиковал это стих, за «неопределенность идеи, неверность в содержании...». «Не было, нет и не будет никогда гения,— утверждал критик,— который бы один все постиг и все сделал» (VI, 480). Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликован в *Ак.* (I, 193).

3 *Зане* — потому что, ибо.

CXX. К. А. Тимашевой
(с. 141—142)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 216). Обращено к поэтессе Екатерине Александровне Тимашевой (1798—1881).

CXXI. «Не славь, обманутый Орфей...»
(с. 142)

Впервые — *СЦ* на 1832 г. (с. 98); загл. «Мой Элизий». Автограф — *ЦГАЛИ*. Стих. навеяно смертью Дельвига (14.I 1831 г.), которую Баратынский тяжело переживал. «Баратынский болен с огорчения»,— писал Пушкин Плетневу (XIV, 147). «Потеря Дельвига для нас незаменяема...— говорится в одном из писем Баратынского,— потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений» (*Изд. 1951*, с. 496).

1 *...обманутый Орфей...*— Орфей получил разрешение богов вывести свою умершую жену Эвридику из царства мертвых при условии, что он не оглянется на нее; слезы Эвридики заставили его оглянуться. Чтобы не разлучаться с женой, Орфей навсегда остался в Элизии.

3 *Элизий* — см. прим. IX.

4 *...не кропим водой забвенья...*— т. е. Летой (см. прим. IX).

CXXII. «Где сладкий шепот...»
(с. 143—144)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 218). Автограф — (*ПД*) на одном листе со стих. «Бывало, отрок, звонким кликом...». Стих. было среди французских переводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 194—195).

CXXIII. «Как ревностно ты сам себя дурачишь!..»
(с. 145)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 170) вместе с другими стих. Баратынского под общим загл. «Антологические стихотворения». Адресат неизвестен.

[6] *Эпитимья* — церковное наказание.

CXXIV. «Старательно мы наблюдаем свет...»
(с. 145)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 172) вместе с другими стих. Баратынского под общим загл. «Антологические стихотворения». Автограф с разночтениями в последнем стихе — *ПД*.

[8] *...точный смысл народной поговорки.*— По-видимому, имеется в виду поговорка: «Век живи, век учись, а дураком умрешь». Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «La Sagesse des Nations) («Народная мудрость»); опубликовано в *Ак.* (I, 192).

CXXV. «Весна, весна! как воздух чист!..»
(с. 146—147)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 223).

CXXVI. «Своенравное прозванье...»
(с. 147—148)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 225). Обращено к жене поэта. В *Изд. 1884* вошло с изменениями и под загл. «Н. Л. Баратынской», т. е. Анастасии (Настасье) Львовне Баратынской. Утверждение, что эти изменения были внесены автором (*Изд. 1957*, с. 366), не аргументировано. Поэтому текст *Изд. 1835* принимаем как основной. Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 195).

CXXVII. «Хотя ты малый молодой...»
(с. 148)

Впервые — «Литературная газета», 1830 (№ 47, 19.VIII, с. 85); загл. «Эпиграмма». Против кого направлена эпиграмма, неизвестно.

CXXVIII. «Дитя мое, она сказала...»
(с. 149—150)

Впервые — альм. «Новоселье» на 1833 г.» (ч. 1, с. 464); загл. «Кольцо. С. Э — т». Автограф — *ЦГАЛИ*. Автограф ст. 1—8 — Музей им. Ф. И. Тютчева. Согласно примечанию, которым сопроводил публикацию этого стих. журнал «Русская старина», «стихотворение это написано поэтом по поводу подарка кольца, сделанного супругою его А. Л. Баратынской сестре ее С. Л. Энгельгардт, ныне в замужестве за Н. В. Путята» (1870, № 8, с. 316).

CXXIX. «В дни безграничных увлечений...»
(с. 151)

Впервые — «Европеец», 1832 (№ 1, с. 52); загл. «Элегия». Датируется по письму Баратынского к Киреевскому, которым сообщался текст стих. осенью 1831 г. В автографе (*ЦГАЛИ*) стих. заглавия не имеет. Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «L'Harmonie» («Гармония»); опубликовано в *Ак.* (I, 192).

10 *Алкал безумец молодой...*— автореминисценция из «Наложницы» (II, 14).

CXXX. Отрывок
(с. 152—156)

Впервые — *СЦ* на 1830 г. (с. 88); загл. «Сцена из поэмы «Вера и неверие». Предполагается, что именно о плане этой поэмы Баратынский упоминал в одном из писем к Киреевскому в конце 1831 г. (см. *ТС*, с. 30).

108 *В смиренье сердца надо верить И терпеливо ждать конца.*— Эти два стиха высечены на надгробном па-

мятнике Баратынского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

CXXXI. «Бывало, отрок, звонким кликом...»
(с. 156)

Впервые — *Изд. 1835* (с. 240). Автограф — *ПД*. Датируется по письму Баратынского к Языкову (конец сентября 1831 г.), где об этом стих. говорится: «Вот единственная пьеска, которую написал я с тех пор, как с тобой расстался», т. е. после июля 1831 г. (Историко-литературный сборник. Посв. В. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 13). В стих. Языкова «Е. А. Баратынскому» (1836) есть строки, которые можно воспринимать как ответ на данное стих.:

Не медли, друг и брат! Судьбу твою решила
Поэзия. О будь же верен ей всегда!
Она одна тебе прибежище и сила,
Она твой крест, твоя звезда.

(*Языков Н. М.* Собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1948, с. 227).

Первоначально стих. было направлено Пушкину для напечатания в *СЦ* на 1832 г., но в альманах не попало. Баратынский переслал его Киреевскому. «Еще просьба,— писал он,— напечатай в «Европейце» мое «Бывало отрок» etc. Я не знаю, отчего Пушкин отказал ей место в «Северных цветах» (*ТС*, с. 38—39). Запрещение «Европейца» помешало Киреевскому исполнить эту просьбу. Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 193).

Часть вторая

Поэмы

Эда

(с. 159—180)

Впервые поэма опубликована полностью, но без эпилога в книге: «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма Евгения Баратынского». СПб., 1826, ценз. разр. 26.XI 1825 г. Отдельному изданию предшествовало появление следующих отрывков из поэмы. Стихи 190—244, 458—522, 571—599 были помещены под общим загл. «Отрывки из поэмы: «Эда» в *Мнем.* (1825, ч. 4, с. 215). Все отрывки имеют разночтения в сравнении с текстом отдельного издания, а в первом отрывке ст. 223—229 заменены многоточием с прим.: «Точки поставлены самим сочинителем». Третий из фрагментов, напечатанных в *Мнем.*, под загл. «Зима. (Отрывок из повести: Эда)» появился в «Полярной звезде на 1825 г.» (с. 573). Ст. 30—46 под загл. «Финляндия» (прим.: «Из повести «Эда») напечатаны в *МТ*, 1825 (ч. 6, № 22, с. 157). Эпилог к поэме предназначался для публикации в *Мнем.* и был передан Кюхельбекеру через Н. В. Путяту, но подвергся цензурному запрету. Путята переслал эпилог Бестужеву и Рылееву, и он был набран для альманаха «Звездочка», не вышедшего в свет из-за разгрома восстания декабристов. Впервые он появился в печати в сочинениях Д. Давыдова (ч. 3. М., 1860, с. 196) среди других произведений, посвященных Давыдову.

При печатании поэмы в 1826 г. ст. 430—433 не были пропущены цензурой. Дельвиг писал Баратынскому по этому поводу: «Четыре стиха, которые тебе кажутся очень нужными для смысла, выкинула цензура. Мы ⟨Дельвиг и Плетнев⟩ советовались с Жуковским и прочими братьями, и нам до сих пор кажется, что без них смысл не теряется, напротив, видно намерение автора дать читателю самому сообразить соблазнительную сцену всей поэмы» (*Изд. 1884*, с. 500). Для *Изд. 1835* поэма была вновь переработана. Баратынский отказался от эпиграфа, который имелся в отдельном издании. Автограф первой части поэмы — *ПД*. Отрывок из поэмы,

не вошедший в окончательный текст, был сообщен А. И. Тургеневым Вяземскому (см.: Остафьевский архив князей Вяземских, т. III, с. 100).

Баратынский работал над «Эдой» в 1824—1826 гг. 31 октября 1824 г. Баратынский сообщал Н. И. Тургеневу, что он «написал небольшую поэму», и предлагал прислать «с нее список» (*Изд. 1951*, с. 472). Как о завершенном произведении говорил он об «Эде» и в письме к И. И. Козлову 7 января 1825 г. («я окончил мое писание».— Там же, с. 473). Однако закончен был, по-видимому, лишь первый вариант поэмы. Некоторые части текста, вышедшего в свет в 1826 г., были написаны позднее. «Не мудрено, что от тебя ускользнуло описание Финляндии, которое ты нашел в «Телеграфе»,— писал поэт Путяте 19 января 1826 г.— Оно писано не в Гельзингфорсе, а в Москве» (Там же, с. 487).

«Эда» вызвала разноречивые суждения современников. Декабристы были разочарованы поэмой, не отвечавшей их представлениям о высокой гражданской миссии литературы. Бестужев писал Пушкину, что «перестал веровать» в талант Баратынского: «его Эдда есть отпечаток ничтожности и по предмету и по исполнению» (XIII, 150). Отрицательно оценил поэму и Булгарин: «Нет ни одной сцены занимательной, ни одного положения поразительного. Скудость предмета имела действие и на образ изложения: стихи, язык в этой поэме не отличные» (Северная пчела, 1826, № 20). Совершенно иначе отнесся к «Эде» Пушкин. «Неприличная», по его отзыву, статейка Булгарина побудила его обратиться к Баратынскому со стихотворным посланием:

Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет, как червонец,
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец. (*III, 11*)

20 февраля 1826 г. он писал Дельвигу: «Что за прелесть эта «Эда»! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описания лиф-

ляндской природы! А утро после первой ночи! А сцена с отцом! — чудо!» (XIII, 262). Положительно оценил «Эду» Н. Полевой, который видел в ней «мастерское произведение *опытного* поэта» и «новое блестящее доказательство таланта Баратынского» (*МТ*, 1826, ч. 8, № 5, с. 63). Пушкина, однако, статья Полевого не удовлетворила, и он видел в ней лишь «слабое возражение» Булгарину. Спустя несколько лет в набросках статьи о Баратынском он решил еще раз напомнить читателям об «Эде»: «...Перечтите сию простую, восхитительную повесть: вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь» (XI, 186—187). Высоко ставили «Эду» И. Киреевский и Плетнев. Белинский называл ее «поэмой, написанной прекрасными стихами, исполненной души и чувства», но подчеркивал «ее безотносительную неважность в сфере искусства» (VI, 481).

70 *Шипок* — бутон розы.

218 *Кникс* (книксен) — поклон с приседанием, реверанс.

532—533 *Буйный швед опять Не соблюдает договоров...* — Отказ Швеции присоединиться к союзу России и Франции против Англии расценивался как нарушение русско-шведских договоров и привел к войне 1808—1809 гг.

Эпилог к поэме был, по свидетельству Н. В. Путяты, «написан в 1824-м году в Гельсингфорсе, в то время когда была кончена вся повесть Эды, но Баратынский не хотел напечатать его в том виде, как он вылился из-под пера в первую минуту вдохновения. Он находил, что некоторые выражения могут показаться обидными и неверными для покоренного народа. По беспечности или по другим причинам он не исправил его, и «Эда» вышла в свет без эпилога» (*Ак.* II, 239). Однако, как свидетельствует письмо самого Н. В. Путяты к Муханову от 9 марта 1825 г., дело было не в нежелании Баратынского печатать эпилог и не в его беспечности, а в том, что эти стихи не были пропущены цензурой. «Не думаю,— писал он,— чтоб ваши евнухи муз

(т. е. петербургские цензоры.— *Л. Ф.*) были снисходительнее и чувствительнее здешних к красотам их; на всякий случай посылаю тебе. Попробуй, авось либо пропустят» (Русский архив, 1905, № 3, с. 524).

645 *Тебе, Давыдов, петь ее.*— Д. В. Давыдов был участником русско-шведской войны.

Пиры

(с. 181—187)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 13, № 3, с. 385). В другой редакции в книге «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма Евгения Баратынского» (СПб., 1826). В этом издании поэма имеет эпиграф: «Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Серванта. Стерн». Скрытый смысл этого эпиграфа, напоминавшего о том, что поэма была написана Баратынским в финской ссылке, несколько смягчался кратким предисловием, где «Пиры» характеризовались как «своенравная шутка», не подлежащая «строгому критическому разбору». Несмотря на это, поэма подверглась цензурным искажениям. Жуковский в связи с этим писал Вяземскому: «Что говорить мне о новых надеждах, когда цензура глупее старого, когда Баратынскому не позволяют сравнивать шампанского с пылким умом, не терпящим плена?» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1913, т. 5, вып. 2, с. 160). Цензурное разрешение отдельного издания было дано 26 ноября 1825 г., но, по-видимому, после разгрома восстания цензура пересмотрела поэму, и, как сообщал Баратынскому Дельвиг, «она совсем готовую книжку остановила и принудила нас перепечатать по ее воле листок «Пиров». Напрасно мы хотели поставить точки или сказать: оно и блещет и кипит, как *дерзкой* ум не терпит плена. Нет! На все наши просьбы суровый отказ был ответом! Взгляни на сей экземпляр, потряси его, листок этот выпадет...» (*Изд. 1884*, с. 500). На экземпляре *ЭП*, подаренном Вяземскому, Баратынский сделал несколько исправлений, и в частности восстановил подлинное чтение ст. 118—119, искаженных цензурой (см.: *Нечаева В. С*, Из архива Баратынского.— Утренники. (Пг.,

1922), кн. I, с. 66—71). Автограф отрывка из поэмы (*ПД*) содержит промежуточную редакцию между *Сор.* и *ЭП.* В начале 30-х годов XIX в. поэма подверглась новой доработке, результаты которой закреплены в редакции, напечатанной в *Изд. 1835.*

Поэма создавалась в 1820 г. и 13.XII была одобрена и избрана Вольным обществом любителей российской словесности (см. *УР*, с. 390).

Журнальная публикация «Пиров» была отмечена Бестужевым в обзоре «Взгляд на старую и новую словесность в России». «Пиры» Баратынского игривы и забавны»,— писал он (Литературно-критические работы декабристов. М.: ИХЛ, 1978, с. 48). После выхода отдельного издания поэма вызвала одобрительные отклики как в «Северной пчеле», так и в «Московском телеграфе». Пушкин называл Баратынского «певцом Пиров» сначала в «Первом послании цензору», а затем в «Евгении Онегине». Белинский писал, что «Пиры» «собственно не поэма, а так — шутка в начале и элегия в конце» (VI, 485). Напоминая, что «Баратынского за эту поэму некогда величали «певцом пиров», он предлагал называть его и «певцом Москвы» (Там же).

7 *Соломон* — библейский царь, славившийся своей мудростью. Ему приписывается авторство «Песни песней» и других библейских и апокрифических книг.

34 *Ком* — бог пиршеств.

95 *В углу безвестном Петрограда* и след.— Описания дружеских пирушек поэтов-вольнодумцев имеют биографическую основу. Во время пребывания в Петербурге в 1818—1819 гг. Баратынский примкнул к бывшим лицеистам, группировавшимся вокруг Пушкина и Дельвига. Здесь обсуждался широкий круг политических, этических и эстетических вопросов.

Бал

(с. 188—208)

Впервые полностью — в книге «Две повести в стихах». СПб., 1828 (ценз. разр. 31.X 1828) вместе с поэмой Пушкина «Граф Нулин». Отдельному изданию пред-

шествовало появление следующих отрывков из поэмы: стихи 1—56 — *МТ*, 1827 (ч. 18, № 1, с. 3) под загл. «Отрывок из Поэмы». Стихи 471—518 — *СЦ* на 1828 г. (с. 84) под загл. «Отрывок из поэмы *Бальный вечер*»; стихи 5—42 предназначались Баратынским для публикации в альманахе «Звездочка», который не вышел в свет из-за разгрома восстания декабристов. Тот же отрывок содержался в письме Баратынского к Путяте конца 1825 г. Готовя отдельное издание поэмы, поэт внес в нее ряд изменений, а в начале 30-х годов «Бал» был вновь доработан и в таком виде напечатан г *Изд. 1835*. Автограф начала поэмы (первые 167 стихов) — *ПД*. Там же (в альбоме «Souvenir») ст. 1—43 в несколько отличной редакции. Фрагмент поэмы вписан Баратынским в письмо Н. В. Путяте (февраль 1825 г.). Автограф этого фрагмента (ст. «Блистает тысячью огней» и след.) — *ЦГАЛИ*.

Баратынский начал работу над «Балом» в начале 1825 г. В марте он сообщил Н. В. Путяте, что «пишет новую поэму», и послал отрывок из нее. А к 29 марта, как свидетельствует другое письмо, было написано уже «стихов 200». В письме к А. А. Муханову (16—17 октября 1826 г.) Баратынский говорил, что «приводит к концу «Дамский вечер». О намерении поэта печатать эту поэму сообщил *МТ*, 1828 (ч. 19, № 1). Однако работа над «Балом» продолжалась до осени 1828 г. Как свидетельствует дневниковая запись А. Вульфа, 7.X 1828 г. Дельвиг привез «Бал» из Москвы в Петербург, чтоб выпустить его в свет. О том, что поэма Баратынского готова, Вяземский неделю спустя известил А. И. Тургенева.

«В самой поэме,— писал Баратынский Путяте,— ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. *Она* моя героиня» (*Изд. 1951*, с. 480). «Она» — А. Ф. Закревская (см. о ней прим. XLIII).

Суждения современников о «Бале» оказались разноречивы. «Дамский журнал», задетый последними стихами поэмы, обрушился на ее «безнравственность». С подобных позиций Баратынского критиковали в «Атенее». Н. И. Надеждин кончил рассмотрение «Бала» и «Графа Нулина» выводом: «Ето суть прыщи-

ки на лице вдовствующей нашей литературы». С другой стороны, «Северная пчела», «Московский телеграф», «Бабочка», «Сын Отечества», «Галатея» благожелательно приняли поэму. О. М. Сомов отмечал как ее «неотвергаемые достоинства», «заманчивый ход поэмы, движение, быстроту рассказа, верность описаний, свежесть красок и неожиданную, поразительную развязку» (*СЦ* на 1829 г., с 106—107). И. В. Киреевский говорил, что «эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружною связью целого и совершенством отделки» (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч.: В 2-х т. М., 1911, т. II, с. 48).

Пушкин посвятил «Балу» статью, которая, по-видимому, осталась незавершенной и не появилась в печати при жизни автора. «Сие блестящее произведение,— писал он,— исполнено оригинальных красот и прелести необыкновенной» (XI, 75). Белинский с интересом отнесся к «Балу», отметил, что эта поэма «гораздо глубже по характеру героини» в сравнении с «Эдой». Хотя в общем оценка его была критической, он восклицал: «...Сколько поэзии в его поэме, какими чудными стихами наполнена она, сколько в ней превосходных частностей!..» (VI, 484).

51 *В сюрах шесть* — червонная шестерка, от coeur (франц.) — черви.

59—60 *Моей княгине чересчур Слыть Пенелопой трудно было.*— Пенелопа — жена Одиссея, ее образ стал нарицательным для обозначения верной жены.

59—60 *...зла в словах, страшна собой Являлась новая Медея!* — Медея — волшебница, жена предводителя аргонавтов Язона. Посвященная в тайны богини тьмы Гекаты, совершила много злодейств — убила своего брата Абсирта, убила царя Пелия; чтобы отомстить изменившему мужу, погубила свою соперницу, царевну Креусу, и зарезала своих двух детей, не дав мужу их похоронить.

75 *Людмила* — героиня популярной баллады Жуковского, символ нежной, невинной красоты.

125 *Лаиса* — имя греческой гетеры, ставшее нарицательным.

146 *Эпикур* (см. прим. CII); *Нинона...*— Нинон де Ланкло (1616—1706) — французская куртизанка, до старости сохранившая красоту и обаяние; имя ее стало нарицательным.
172 *Адонис* — возлюбленный Афродиты, олицетворение мужской красоты.
446 *Но двери пашут...*— т. е. распахиваются.
643—644 *В журнале дамском...*— «Дамский журнал» издавался в 1823—1833 гг. П. И. Шаликовым, публиковал недоброжелательные отзывы о произведениях Баратынского.

Телема и Макар
(с. 209—212)

Впервые — *СЦ* на 1827 г. (с. 297) с подзаг. «С французского». С разночтениями — «Славянин», 1827 (№ 8, с. 123), та же редакция помещена в *Изд. 1827* (с. 129). Все прижизненные публикации поэмы искажены по цензурным соображениям. См. об этом: *Изд. 1957* (с. 384); *Заборов П. Р.* Русская литература и Вольтер, XVIII — первая треть XIX века. Л.: Наука, 1978, с. 205. Эти искажения устраняются по автографу поэмы, находящемуся в *ПД*. О. М. Сомов назвал «Телему и Макара» «прекрасным подражанием аллегорической Вольтеровой сказки» (*СО*, 1827, ч. 116, № 21, с. 79—80). Поэма Баратынского представляет собой вольный перевод сказки Вольтера «Thélème et Macare» (1764). Переводчик опустил дидактическую концовку оригинала и кое-где придал повествованию русский колорит: «Elle va d'abord à la cour» переведено: «Приходит в Царское она» и т. п. До Баратынского «Телему и Макара» переводили Николев, Херасков и Востоков.

Переселение душ
(с. 213—224)

Впервые — *СЦ* на 1829 г. (с. 13). В другой редакции вошло в *Изд. 1835*. «Переселение душ» поддается лишь приблизительной датировке. «Заключительные строки

поэмы, обращенные к жене, А. Л. Баратынской,— писал К. В. Пигарев,— указывают на то, что «Переселение душ» является первым произведением поэта, написанным после женитьбы. Свадьба Баратынского состоялась 9 июня 1826 г. Таким образом, наиболее вероятно, что поэма относится ко второй половипе 1826 г.» (*Изд. 1951*, с. 591). Иного мнения придерживалась Е. Н. Купреянова: «Надо думать, что сказка была написана Баратынским в конце 1828 — начале 1829 г., после окончания поэмы «Бал» (октябрь 1828 г.), тесно связанной с «мятежным» прошлым поэта. Намекая на освобождение, которое принесла ему женитьба (1826), от этого тяжелого прошлого, Баратынский и назвал свою шутливую поэму «первым плодом новой жизни» (*Изд. 1957*, с. 386). Отсутствие «Переселения душ» в *Изд. 1827* наталкивает на мысль, что к моменту выхода этого сборника поэма еще не была написана. С другой стороны, как показывает дневниковая запись А. Н. Вульфа, Дельвиг «привез Бальный вечер и Сказку Баратынского» одновременно, а именно 7.X 1828 г. (см.: Пушкин и его современники, вып. XXIII, с. 14). Учитывая это свидетельство и факт появления «Переселения душ» в *СЦ* на 1829 (ценз. разр. 27.XII 1828 г.), о начале 1829 г. как возможном времени создания сказки говорить не приходится.

39 *...Мемфис-град заликовал...*— Мемфис был столицей древнего Египта.

59 *Озирид* (Озирис) — в египетской мифологии бог солнца.

60 *Апис* — священный бык у древних египтян.

104 *Изида* — у древних египтян богиня жизни и здоровья.

109–110 *...глядя В глаза священному коту...*— Кот считался в древнем Египте священнейшим из животных.

156–157 *...мне забвенья Бессильный лотос не дает* — лотос считался в древнем Египте священным растением, обладавшим магическими свойствами.

217 *Ряды узорчатых кошниц...*— Кошница — плетеная корзина с расширяющимся верхом.

Цыганка
(с. 225—267)

Впервые полностью отдельным изданием: «Наложница. Сочинение Е. Баратынского. М., 1831» (ценз. разр. 20.III 1831 г.), с предисловием и посвящением отчиму И. В. Киреевского Алексею Андреевичу Елагину (ум. в 1846). Полной публикации предшествовало появление в печати следующих отрывков из поэмы: ст. 13—60 под загл. «Отрывок из поэмы» в «Деннице» на 1830 г. (с. 136); стихи 138—168 под загл. «Новинское» (отрывок 2 главы романа «Наложница») и стихи 387—545 под загл. «Сара» (отрывок из романа «Наложница»). Глава V — в *СЦ* на 1831 г. (с. 4 и 40), стихи 61—92 под загл. «Отрывок из поэмы «Наложница» — в альманахе «Альциона на 1831 г.» (с. 85). С разночтениями, без предисловия и под загл. «Цыганка» вошла в *Изд. 1835* (ч. 2, с. 103). В 1842 г. поэма была вновь переработана. Последняя редакция «Цыганки», не появлявшаяся в печати при жизни ее автора, сохранилась в копии А. Л. Баратынской. Копия имеет надпись: «Цыганка», переделанная в 1842 г. Написана в 1830». Эта копия и принята как источник дефинитивного текста поэмы. Автограф предисловия к отдельному изданию «Наложницы» — *ЦГАЛИ.*

Работа над «Наложницей» началась осенью 1829 г. в Маре. 29.IX, посылая отрывок из нее И. В. Киреевскому, поэт писал: «По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультраромантическая. Пишу ее очертя голову» (*ТС*, с. 8). «Я пишу поэму,— говорится в письме Вяземскому от 20.XII 1829 г.— В альманахе Максимовича вы найдете один из нее отрывок. Боюсь, не чересчур ли он романтический» (Старина и новизна, сб. V, с. 47—48). Завершение поэмы датируется ее выходом в свет.

Как свидетельствуют письма Баратынского, он считал «Цыганку» наиболее совершенным из своих произведений. Тем болезненнее он должен был переживать враждебный прием, который встретила его поэма. Лишь ближайшие литературные союзники поэта в «Литературной газете» (1831, № 27, 11.V, автором рецен-

зии скорее всего был М. Д. Деларю) и в «Европейце» (1832, № 2, И. В. Киреевский) одобрительно оценили поэму. Но большинство журналов было настроено иначе. *МТ* расценил поэму как произведение, в котором «ни основная мысль, ни подробности, *ни даже стихи* не удовлетворяют самого снисходительного критика» (*МТ*, 1831, ч. 38, № 6, с. 238—239). Н. И. Надеждин подверг в «Телескопе» резким нападкам как предисловие к «Наложнице», так и самую поэму, ткань которой, по его словам, «составлена кое-как из произвольного сцепления случаев» (1831, № 10, с. 237) Баратынский ответил Надеждину статьей «Антикритика», опубликованной в «Европейце». Пушкин писал, что «поэма Баратынского — чудо» (XIV, 142). Белинский, обойдя «Цыганку» молчанием в рецензии на *Изд. 1835*, писал в 1842 г.: «Цыганка», самая большая поэма г. Баратынского, была издана в 1831 году, под названием «Наложница» с предисловием, весьма умно и дельно написанным. «Цыганка» исполнена удивительных красот поэзии, но опять-таки в частностях, в целом же не выдержана... Чрез это ослабляется эффект целого поэмы, которая, кроме хороших стихов и прекрасного рассказа, отличается еще и выдержанностию характеров» (VI, 485).

58–60 *Строй догоревших до бумаги... Уже бледнеющих свечей.*— Свечи у основания оборачивались в бумагу, чтобы их удобнее было переносить.

136–137 *Неделя светлая была И под Новинское звала.*— Неделя светлая — пасхальная неделя. Новинское — подмосковное село, место гуляний московской знати. Так называемые подновинские гуляния с екатерининских времен до 1862 г. проходили в пасхальную неделю на месте, где позднее был разбит Новинский бульвар (ныне ул. Чайковского).

155 *Там клепер знает чёт и нечет...*— Клепер — немецкая порода лошадей, которые использовались в цирке для дрессировки. Такие лошади умели выбирать нужные цифры.

229–230 *...задумчивых дубров Прекрасных Пресненских прудов...*— Имеется в виду излюбленное место гуля-

ний дворянской Москвы в 20—30-е годы XIX в. (теперь Большая Грузинская ул.).

599 *Примите исповедь мою...* — реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. IV, строфа 12).

605–606 *Свою запутанную совесть Он перед Верой обнажил...* — реминисценция из «Евгения Онегина». Ср. «Свою доверчивую совесть Он простодушно обнажал» (II, 19).

700–702 *Великий пост уж подходил И с Верой скорою разлукой, Разлукой долгою грозил.* — На время поста прекращались балы, закрывались многие увеселительные и торговые заведения.

1068 *Стогны* — площади.

1160–1161 *...Пред знакомым домом Остановились.* — Очевидно, имеется в виду ресторан «Яр», расположенный на Кузнецком мосту. Ресторан был хорошо известен москвичам. Так, 27 января 1831 г. Пушкин, Баратынский, Языков и Вяземский собрались здесь, чтобы помянуть недавно умершего Дельвига.

1173 *...Египетское племя* — цыгане. При первом появлении в Европе цыгане выдавали себя за выходцев из Египта. В современной науке утвердилась точка зрения, согласно которой предки цыган — выходцы из Индии.

Сумерки

Князю Петру Андреевичу Вяземскому

(с. 271—272)

Впервые — *Совр.*, 1836 (т. 4, № 4, с. 216). Датируется 1834 г. по письму Баратынского к С. Л. Энгельгардт (см. *Изд. 1957*, с. 366). Спустя год поэт отправил это стих. Вяземскому вместе с экземпляром *Изд. 1835*. В *С* оно напечатано курсивом, а его заглавие, вынесенное на шмуцтитул, служит и посвящением всего сборника. После его выхода в свет Баратынский писал Вяземскому: «Это небольшое собрание стихотворений

предано тиснению почти, едва не единственно для того, чтобы воспользоваться позволением вашим напечатать посвящение. Примите то и другое с обычным вашим благоволением к автору» (Старина и новизна, 1902, кн. 5, с. 55).

39 *Звезда разрозненной плеяды!* — Баратынский строит свою мысль так, что это определение может быть отнесено как к адресату послания, так и к его автору, напоминая, что оба они принадлежали к пушкинской плеяде поэтов, утратившей в 30-х годах былое единство и влияние на литературную жизнь.

43–44 *...судьбы суровой Удары грозные...*— Подразумевается болезнь дочери Вяземского Прасковьи Петровны, с которой он ездил в то время за границу и которая умерла в 1835 г.

Последний поэт

(с. 274—276)

Впервые — *МН*, 1835 (ч. 1, март, кн. 1, с. 30). Печ. по *С* с учетом поправок, сделанных поэтом на экземпляре, находящемся в собрании К. В. Пигарева. Автограф — *ЦГАЛИ*. И в журнале и в книге стих. носило характер своеобразного манифеста, провозглашавшего несовместимость поэзии, искусства с «железным шествием» промышленного, т. е. капиталистического, века. Белинский подробно анализировал это стих., в котором, по его словам, «поэт высказался весь, со всею тайною своей поэзии, со всеми ее достоинствами и недостатками» (VI, 466). Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 195—196).

9–10 *Для ликующей свободы Вновь Эллада ожила...*— В 1830 г. Греция освободилась от турецкого ига и обрела независимость.

14 *Понт* — море.

22 *Кастальский ключ живой струею бьет.*— Кастальский ключ — см. прим. LXI.

33 *Урания* — муза астрономии; здесь символ науки, противопоставляемый искусству, поэзии.

35 *Эол* — повелитель ветров. Иносказательно — ветер.
54–55 *...свет Уж праздного вертепа не являет...* — т. е. в мире уже нет свободного пространства.
65 *Оно шумит перед скалой Левкада...* — Знаменитая греческая поэтесса Сафо (Сапфо, первая половина VI в. до н. э.), по преданию, покончила с собой, бросившись в море с Левкадской скалы из-за неразделенной любви к юноше Фаону.

«Предрассудок! Он обломок...»
(с. 277)

Впервые — *ОЗ*, 1841 (т. 15, № 3, с. 258); загл. «Предрассудок». Автограф, по сведениям Ю. Н. Верховского, находился в Мурановском архиве. Его нынешнее местонахождение установить не удалось. Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 198).

Новинское
(с. 277)

Впервые — *С*, (с. 23). По-видимому, стих. связано с первым появлением в Новинском осенью 1826 г. вернувшегося из ссылки Пушкина. Поэтому ранняя редакция стих., вписанная в «альбом кузины Наталии» среди списков других стих. Баратынского, Пушкина и Языкова в середине 20-х годов, предположительно датируется 1826 г. В *ЦЭ* имеет место загл. «А. С. П... у».

Имя упоминаемой в стих. женщины и обстоятельства эпизода пушкинской биографии, о котором говорит Баратынский, неизвестны. Образ Пушкина, посетившего новинское гулянье, запечатлен и в стихах Е. П. Ростопчиной:

Вдруг все стеснилось, и с волненьем
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «*Он* идет»...
Он — наш поэт, *он* — наша слава,
Любимец общий! Величавый

В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой
Прошел он быстро предо мной...

(Поэты 1840—1850-х годов. Л.: Сов. писатель, 1972, с. 90). *Новинское* — см. прим. к поэме «Цыганка». Стих. Ростопчиной, очевидно, описывает появление Пушкина на гулянье под Новинским 8 апреля 1827 г.

Приметы
(с. 279)

Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1840 г. (с. 117). В стих. отразились позиции Баратынского в споре русских гегельянцев и шеллингианцев о соотношении логического и интуитивного начал в познании.

«Всегда и в пурпуре и в злате...»
(с. 280)

Впервые — *ОЗ*, 1840 (т. 9, № 3, с. 150). В копии А. Л. Баратынской озаглавлено — С. Ф. Т. Кто скрывается за этими инициалами, неизвестно. Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «Le Crépuscule» («Сумерки»); опубликовано в ***Ак.*** (I, 197).

«Увы! Творец непервых сил!..»
(с. 280)

Впервые — *С* (с. 29). Эпиграмма направлена против И. И. Лажечникова, третий роман которого «Басурман» был напечатан по необычной орфографии. Датируется по выходу в свет «Басурмана» — 1838 г. Первоначальная редакция второго стиха «На двух романах утомил» была заменена другой — «На двух статейках утомил», по-видимому, для того, чтобы смягчить указание на адресата эпиграммы. См.: Труды Ленингр. гос. б-ного ин-та им. Н. К. Крупской, т. 1, 1956, с. 233—235.

7 *Неаполь возмутил рыбарь...* — Рыбак Мазаньелло (сокр. от Томмазо Аньелло, 1620—1647) возглавил

народное восстание в Неаполе 7 июля 1647 г. Добившись уступок от испанского вице-короля, он счел свою миссию выполненной и удалился в свою хижину. Хотя Мазаньелло проявлял признаки безумия, вице-король опасался его влияния на восставших и 16 июля организовал его убийство. Эти события легли в основу популярной в 30-х годах XIX в. оперы Д. Ф. Э. Обера «Немая из Портичи» (1828).

Недоносок
(с. 281—282)

Впервые — *МН*, 1835 (ч. 1, апрель, кн. 1, с. 526) с разночтениями. Печ. по *С* с устранением цензурного искажения в ст. 56. Как указал Б. В. Томашевский, Баратынский употребляет слово «недоносок» в качестве перевода французского «avorton», означающего «рожденный до срока», а также — «мертворожденный» (см. *Изд. 1957*, с. 368—369).

2 *Эмпирей* — по представлениям древних греков, наиболее высокая часть неба, исполненная огнем и светом, в которой обитали боги.

Алкивиад
(с. 283)

Впервые — *МН*, 1835 (ч. 5, кн. 1, с. 27).

Алкивиад (451—404 до н. э.) — выдающийся древнегреческий полководец. Его драматическая судьба, присущие ему самовлюбленность и эгоцентризм были хорошо известны Баратынскому по описаниям Плутарха, Фукидида и других античных авторов.

Ропот
(с. 283)

Впервые — *ОЗ*, 1841 (т. 17, № 7, с. 155) без загл.

5—6 *Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца...* — Баратынский подчеркивает здесь свою оппозиционность славянофильской доктрине и ее сто-

ронникам. Охлаждение отношений Баратынского с Киреевским, Языковым, Хомяковым, Шевыревым дает себя знать уже во второй половине 30-х годов, а ко времени появления «Москвитянина» (1841) переходит в явный разрыв. Баратынский не был объявлен в числе сотрудников этого журнала и не напечатал в нем ни строчки. Издатели «Москвитянина» не отозвались на смерть поэта. 30 сентября 1844 г. Плетнев писал Гроту: «В «Москвитянине» не сказали ни слова о Баратынском: такова злость литературных партий» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. II, с. 323).

Мудрецу

(с. 284)

Впервые — *Совр.*, 1840 (т. 18, № 2, с. 253) без загл. вместе со стих. «Все мысль да мысль...» под общим загл. «Антологические стихотворения». Печ. по *С* с устранением по *ЦЭ* цензурного искажения в ст. 3. Белинский причислял это стих. к особенно достойным памяти и внимания (VI, 487).

«Филида с каждою зимою...»

(с. 284)

Впервые — *С* (с. 42). Под условным поэтическим именем Филиды подразумевается Елизавета Михайловна Хитрово (1783—1839), хозяйка известного салона, близкий друг Пушкина. Она имела склонность к большим декольте, которая к концу ее жизни приобрела комический характер. В стих. Баратынского, однако, эта слабость Хитрово осмыслена трагически. Поскольку поэт говорит о «Филиде» как о живом человеке, стих. написано до смерти Хитрово (3.V 1839 г.).

Бокал

(с. 285—286)

Впервые — *МН*, 1835 (ч. 5, кн. 1, с. 24).

«Были бури, непогоды...»
(с. 287)

Впервые — *Совр.*, 1838 (т. 15, № 3, с. 158) вместе с другими стих. Баратынского под общим загл. «Антологические стихотворения». Печ. по *С* с устранением по *ЦЭ* цензурного искажения в ст. 5. Текст был целиком отчеркнут цензором, в ответ на что Баратынский здесь же, в *ЦЭ*, написал: «Напечатано в «Современнике» 1841 года». Датируется 1839 г. на основании письма Баратынского к П. А. Плетневу (Русская старина, 1904, № 6, с. 520).

«На что вы, дни! Юдольный мир явленья...»
(с. 288)

Впервые — *ОЗ*, 1840 (т. 9, № 3, с. 1) Белинский называл это стих. среди особенно достойных памяти и внимания (VI, 497). Оно было переведено Баратынским на французский язык под загл. «Les Redites» («Повторения»); опубликовано в *Ак.* (I, 197).

1 *...Юдольный мир...*— земной мир, земная жизнь.

Коттерие
(с. 288)

Впервые — «Русский архив», 1890 (№ 1, с. 326); загл. «Е. А. Баратынский. Об одном литературном кружке». Печ. по *ЦЭ*, где следовало за стих. «На что вы, дни...» с восстановлением загл. по копии А. Л. Баратынской (*ПД*). Там же первый, зачеркнутый вариант стих. В *С* напечатано не было, т. к., по свидетельству П. А. Бартенева, стало жертвой цензурного запрета. Обращено против некогда близкого Баратынскому круга московских литераторов, объединившихся на позициях официальной народности и издававших в 40-х годах журнал «Москвитянин» (С. П. Шевырев, М. П. Погодин и др.). В письме к С. Л. Путяте Баратынский называл их «организованной коттерией» (*Изд. 1957*, с. 370). К этому письму имеется следующая приписка А. Л. Баратынской; «Баратынский упоминает в этом

письме о коттерии московских литераторов, которая вредно действовала на его нежную, раздражительную душу. Какое влияние развивало в нем подозрения, и были ли они болезненными снами воображения или не вовсе снами, как он сам выразился,— здесь не место это разбирать: «Сумерки», изданные в 1842 г., носят многие следы мрачных впечатлений, полученных им в это время» (*ЦГАЛИ*, ф. 394, оп. 1, ед. хр. 80, л. 53). Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 198—199).
Коттерия от coterie (*франц.*) — кружок заговорщиков.

7 *Аминь, аминь,— вещал он вам...*— Иронически перефразировано евангельское изречение: «Истинно, истинно, говорю вам, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них» (Евангелие от Матфея, 18, 20).

Ахилл

(с. 289)

Впервые — *Совр.*, 1841 (т. 23, № 3, с. 180) без загл. В *ЦЭ* находилась перед стих. «Увы! Творец не первых сил!..». Между стих. «Коттерие» и «Сначала мысль воплощена...» в *ЦЭ* вырезаны два листа, на следующем за ними листе написаны четыре последние стиха «Ахилла». В стих. правомерно видеть своеобразный итог многолетних раздумий Баратынского о необходимости иметь «веру», определенные идеалы. Он с осуждением писал о представителях своего поколения: «Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно ее разумеем, еще менее чувствуем» (*Изд. 1951*, с. 520). В стих. выражена убежденность, что «живую веру» может обрести лишь человек, посвятивший себя активной деятельности, «боец», и что таких людей нужно искать среди представителей молодого поколения.

Ахилл (Ахиллес) — герой Троянской войны. По преданию, его мать Фетида окунула его младенцем в воды Стикса, что сделало неуязвимым все его тело, кроме пятки, за которую его держала мать.

«Сначала мысль, воплощена...»
(с. 290)

Впервые — *Совр.*, 1838 (т. 9, № 1, с. 154); загл. «Мысль». Автограф — *ПД*. Это стих. связано с полемикой о поэзии и прозе, которая обострилась в середине 30-х годов. Многие критики, особенно О. И. Сенковский, снискавший репутацию гонителя «поэзии», обличали «жалкие стихи» как никчемную и праздную забаву. Противоположная точка зрения, близкая к позиции Баратынского, была выражена Кюхельбекером в написанной им в 1835—1836 гг. статье «Поэзия и проза». Отстаивая преимущества поэзии, той «краткости и силы», «которые даются только стихом», он говорил: «...Сам я рифмач и клянусь совестью, что рифма очень часто внушала мне новые неожиданные мысли, такие, которые бы мне не пришли на ум, если бы я писал прозою; вдобавок, мера и рифма учат выражать мысль кратко и сильно, выражать ее молнией, у *наших* же великих писателей в прозе эта же мысль расползлась бы по целым страницам» (Литературно-критические работы декабристов. М.: Худож. литература, 1978, с. 211—212). Н. А. Полевой отозвался на стих. Баратынского с нескрываемой враждебностью: «*Не плодя журнальной полемики*, как не сказать, что такие стихи, как *искушенная жена*, как *темная дева*, не подъемлют и не воплощают никакой мысли, кроме одной только: зачем писать стихи, если время их для нас прошло?» (*СО*, 1838, т. 2, отд. 4, с. 165). Отношение Белинского к этому стих. было, по-видимому, противоречивым: в 1838 г. он заметил, что стих. «особенно отличается необыкновенною художественностью своих поэтических форм: это истинная творческая красота» (II, 410), а в 1842 г., приводя его, восклицал: «Лучше совсем не писать поэту, чем писать такие, например, стихотворения» (VI, 532).

«Еще, как патриарх, не древен я; моей...»
(с. 290)

Впервые — *Совр.*, 1839 (т. 15, № 3, с. 158) вместе с другими стих. Баратынского под общим загл. «Антоло-

гические стихотворения». Автограф — *ПД*. В *ЦЭ* было отчеркнуто цензором, в ответ на что Баратынский сделал надпись: «Напечатано в «Современнике» 1841 г.» Датируется 1839 г. на основании письма Баратынского к П. А. Плетневу (Русская старина, 1904, № 6, с. 520). В копии А. Л. Баратынской (*ПД*) имеет загл. «К. Г.» Расшифровать его не удалось.

Благославляя *деву красоты*, Баратынский противопоставляет благословение поэта благословению библейского праотца, *патриарха*.

2 *Главы не умастил таинственный елей...* — Таинственным елеем пророк Самуил помазал Давида, который был тогда пастухом, как божьего избранника, будущего царя и пророка (1 книга Царств, 16, 13).

8 *Возложение рук* — символический жест посвящения в священнослужители.

«Толпе тревожный день приветен, но страшна...»
(с. 291)

Впервые — *ОЗ*, 1839 (т. 11, № 2, с. 1), в *ЦЭ* — помета Баратынского: «Напечатано в «Утренней заре» изд. Г. Владиславлева», свидетельствующая, видимо, о том, что стих. столкнулось с цензурными затруднениями. Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «Soucis matériels» («Материальные заботы»); опубликовано в *Ак.* (I, 196—197).

«Здравствуй, отрок сладкогласной!..»
(с. 292)

Впервые — *С* (с. 58). Обращено к сыну поэта Льву Евгеньевичу Баратынскому (1829—1906) «по поводу первой его стихотворной этюды» (*Изд. 1884, с. 255*).

«Что за звуки? Мимоходом...»
(с. 292—293)

Впервые — *ОЗ*, 1841 (т. 16, № 5, с. 71); загл. «Vanitas vanitatum» («Суета сует» — лат.). Это загл. имеется также в *ЦЭ*. *Ты избранник, не художник!* — Слово

«художник» употреблено здесь в значении «ремесленник в искусстве».

[23] *...в горнем клире...*— в небесном хоре.

«Все мысль да мысль! Художник бедный слова!..»

(с. 293)

Впервые — *Совр.*, 1840 (т. 18, № 2, с. 254) вместе со стих. «Мудрецу» под общим загл. «Антологические стихотворения». Белинский резко критиковал это стих., назвав его мысль «и старой, и пошлой» (VI, 472). Стих. было переведено Баратынским на французский язык под загл. «Pas d'Oubli» («Забвенья нет»); опубликовано в *Ак.* (I, 197—198).

Скульптор

(с. 294)

Впервые — *Совр.*, 1841 (т. 23, № 3, с. 182).

В основу стих. положен миф о легендарном скульпторе Пигмалионе, который влюбился в изваянную им статую морской нимфы Галатеи. Афродита, снизойдя к мольбам ваятеля, оживила статую, и Галатея стала женой Пигмалиона.

Осень

(с. 295—300)

Впервые — *Совр.*, 1837 (т. 5, № 1, с. 279). Вошло в *С* с многочисленными разночтениями. Посылая стих. Вяземскому в феврале 1837 г., Баратынский писал: «Препровождаю вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения... Многим в нем я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе» (Старина и новизна, кн. 5, с. 54). В другом письме к Вяземскому (5.II.1837 г.) Баратынский возмущался тем, что «есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным рав-

нодушием» (Старина и новизна, 1900, кн. 3, с. 342). Таким образом, последние строфы стих., где речь идет об «утекающей в бездонность» «звезде небес» (143) и безразличии толпы к «глаголу» (138—139) подлинного поэта, были непосредственным откликом на смерть Пушкина. Белинский причислял «Осень» к стихам, «особенно достойным памяти и внимания» (VI, 487).

96 *Каким разнообразием брашен...*— кушаний.

«Благословлен святое возвестивший!..»

(с. 301)

Впервые — *Совр.*, 1839 (т. 15, № 3, с. 157) вместе с «Были бури, непогоды...» и «Еще, как патриарх, не древен я...» под общим загл. «Антологические стихотворения». Автограф — *ЦГАЛИ*. Черновой автограф — *ПД*. Датируется 1839 г. на основании письма Баратынского к Плетневу (Русская старина, 1904, № 6, с. 520). Как и в предисловии к отдельному изданию «Наложницы», поэт отстаивает здесь право писателя на изображение темных, низких сторон действительности.

7 *Плод яблони со древа упадает...*— Имеется в виду легенда об обстоятельствах, при которых Ньютоном якобы был открыт закон земного тяготения.

Рифма

(с. 302—303)

Впервые — *Совр.*, 1841 (т. 21, № 1, с. 241) с разночтениями и цензурным пропуском. С тем же пропуском вошло в *С*. Пропуск устранен в *Изд. 1869* и последующих на основании копии стих. А. Л. Баратынской (*ПД*), где ст. 14—23 были выписаны ниже остального текста с пометой: «пропущенные стихи цензурой». Печ. по *С*, а ст. 14—23 по *Изд. 1884*, где устранена очевидная ошибка в копии А. Л. Баратынской в ст. 17. Слово «судьбину» в копии не рифмуется с «трибуну» (в отличие от «фортуну» в *Изд. 1884*). Все остальные стихи произведения зарифмованы. Стих. было среди

французских автопереводов Баратынского, опубликовано в *Ак*. (I, 198).

1 *Когда на играх Олимпийских... Он пел, питомец муз...* — реминисценция из стих. К. Н. Батюшкова «К Н. М. Карамзину». Образ «витии», выступающего перед восторженной толпой, восходит к биографии Геродота. Факт публичного чтения на Олимпийских играх 444 г. до н. э. Геродотом глав из его истории не получил широкого признания. О нем упоминает Лукиан («Геродот или Аэций», 1).

4 *Мусикийские* (*греч.*) — музыкальные, поэтические.

38 *Подобно голубю ковчега...* — По преданию, Ной узнал об окончании всемирного потопа, выпустив из ковчега голубя, который вернулся с веточкой в клюве (Бытие, 8, 11).

Дополнения

Стихотворения, не вошедшие в издания 1835 и 1842 гг.

Отдел 1

1. К Алине
(с. 304)

Впервые — *Благ.*, 1819 (ч. 5, № 6, с. 332). Адресат неизвестен.

2. Любовь и дружба
(с. 305)

Впервые — *Благ.*, 1819 (ч. 5, № 6, с. 334).

3. Портрет В...
(с. 305)

Впервые — *Благ.*, 1819 (ч. 5, № 6, с. 334). Первоначальный адресат стихотворения неизвестен. Возможно, это была дальняя родственница поэта и его соседка по имению Варвара Кучина, с которой связано одно из ранних увлечений Баратынского. В 1823 или 1824 гг. стихотворение было переадресовано А. В. Лутковской (см. прим. XXIX) и вписано в ее альбом, ныне находящийся в *ПД*, в несколько измененной редакции.

4. Эпиграмма
(с. 306)

Впервые — *Благ.*, 1819 (ч. 6, № 9, с. 143). Направлено, по-видимому, против поэта-сентименталиста Петра Ивановича Шаликова (1767—1852), издавшего в 1819 г. свои «Сочинения» (в двух частях) и «Повести».

5. *Прощание*
(с. 306—307)

Впервые — *Благ.*, 1819 (ч. 7, № 15, с. 142). Упомянуто в доносе В. Н. Каразина графу В. П. Кочубею как одно из проявлений безнравственности «святого братства и союза», объединявшего поэтов пушкинского круга (см. *УР*, с. 145).

6. *К Креницыну*
(с. 307—308)

Впервые — *СО*, 1819 (ч. 55, № 33, с. 181). Ст. 16, замененный в этой публикации точками, восстанавливается по копии Кюхельбекера (*ГПБ*).

Креницын Александр Николаевич (1801—1865) — близкий друг Баратынского по Пажескому корпусу, поэт, был причастен к декабристскому движению и включен в «Алфавит декабристов».

3 *Я свиделся с тобой...* — Баратынский встретился с Креницыным осенью 1818 г. после двухлетней разлуки, вызванной исключением Баратынского из корпуса.

7. *Дельвигу*
(с. 309—310)

Впервые — *СО*, 1819 (ч. 55, № 31, с. 228); загл. «К Дельвигу». В другой редакции включено в *Изд. 1827* («Послания», с. 150). В *Изд. 1835* не было пропущено цензурой. Точное место, которое должно было занимать стих. в сборнике, установить не удалось. Но, как показывает запись в журнале заседаний Санкт-Петербургского цензурного комитета (*ЦГИА* в Ленинграде, ф. 777, оп. 1, ед. хр. 1174, см. также *ЛМ*, с. 15—17), оно помещалось после стих. «Буря», но перед стих. «К чему невольнику мечтания свободы». Последнее стих. фигурирует в записи как XII. В *Изд. 1835* оно имеет № XI, соответственно и все последующие упоминаемые стихи получили номера на

единицу меньше, чем они значатся в деле: XXIV вместо XXV, XXXIX вместо XL, XLIII вместо XLIV. Написано в начале 1819 г. в связи с определением Баратынского на военную службу. Дельвиг ответил на это стих. посланием «К Евгению».

1 *Гораций* Флакк Квинт (65—8 до н. э.) — римский поэт.

4 *Вахтпарад* — торжественная смена военного караула,

22 *Развод* — здесь смена военного караула.

8. *Отрывки из поэмы «Воспоминания»*
(с. 310—316)

Впервые — *НЗ*, 1820 (ч. 1, № 1, с. 85) с опечаткой в ст. 85 «Кавказы дивные», вместо «Рассказы дивные» (см. *ПСС*, т. II, с. 285).

Вольный перевод из поэмы французского поэта Габриеля Мари Жана Батиста Легуве (1764—1812) «Les souvenirs ou les avantages de la mémoire». Баратынский значительно сократил оригинал (201 стих вместо 436). Исключены многочисленные намеки на события личной жизни автора, его комментарии к эпизодам французской истории, и т. п. Внимание переводчика сосредоточено на философской проблематике. Баратынского интересуют воспоминания как источник поэтического вдохновения, идея бренности всего земного, воплощенная позднее и в таких оригинальных стихотворениях, как «Финляндия», «Рим». Некоторые образы поэмы Легуве, как, например, образ старика, появляющегося в начале произведения, обрисованы в переводе более конкретно и детализировано. Поэма Легуве стала для Баратынского отправной точкой для выражения собственного вольнолюбия. В частности, строки, полные восхищения республиканскими героями античного мира: «И подданный царя, защитник верный трона, В восторге трепетал при имени Катона»,— были введены в текст переводчиком. Отрывки из поэмы «Воспоминания» были опубликованы Баратынским в журнале «Невский зритель», когда одним из издателей этого журнала был Кюхельбекер.

90 *Я персов поражал с дружиной Леонида...*— Леонид — царь Спарты, предводитель 300 спартанцев, героически погибший в сражении при Фермопилах (480 до н. э.).

91 *С отцом Виргинии отмщением пылал...*— Виргиния — героиня древнеримской легенды, заколотая своим отцом, спасавшим ее таким образом от бесчестия.

94 *Катон* Марк Порций Младший (ок. 96—46 до н. э.) — римский политический деятель, один из самых активных и последовательных поборников республиканского строя.

108 *...дымится Карфаген!* — Карфаген — столица одноименного государства в Северной Африке, был разрушен римлянами в 146 г. до н. э.

110 *Пальмира* — город в древней Сирии, славившийся архитектурными сооружениями, был разрушен римлянами в 273 г.

138 *Диана* (Артемида) — богиня Луны, богиня охоты, считалась покровительницей плебеев и рабов, ее храм находился на Авентинском холме; *Паллада* — прозвище Афины, богини мудрости, покровительницы наук, учредительницы законов. Главный храм Афины — знаменитый Парфенон.

140 *Солон* (640—588 до н. э.) — афинский законодатель, один из «семи мудрецов».

142 *Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) — афинский государственный деятель; при нем Афины как государство достигли наивысшего могущества.

9. К Кюхельбекеру

(с. 317)

Впервые — *СО*, 1820 (ч. 59, № 5, с. 225), с датой «18 января 1820 г.» В прижизненные сборники не включалось, несомненно, по цензурным соображениям. Баратынский сблизился с Вильгельмом Карловичем *Кюхельбекером* (1797—1846) в 1818—1819 гг. в Петербурге и навсегда сохранил к нему нежное и уважительное чувство. Кюхельбекер откликнулся на это послание в стихотворении «Поэты» (1820).

[1] *Прости, Поэт! Судьбина вновь Мне посох странника вручила...*— Стихотворение написано Баратынским перед отъездом в Финляндию.

[14] *В отчизне бранного Одена...*— Финляндии (см. также прим. I).

10. К⟨рыло⟩ву

(с. 318)

Впервые — *Сор.*, 1820 (ч. 9, № 3, с. 327). Обращено к А. А. Крылову (см. прим. LXXXI). Написано в период близости обоих поэтов, прерванной памфлетом Крылова «Вакхические поэты», на который Баратынский ответил сатирическим посланием «К ***» (см. прим. LXXXI). 19 января 1820 г. рассматривалось на заседании Вольного общества, постановившего «исправить» и «избрать» это стих. (см. *УР*, с. 371).

[4] *Назона правнук...*— Публий Овидий Назон (43 до н. э.— 17 н. э.), римский поэт, упомянут здесь как автор «Любовных элегий», поэм «Наука любви» и «Средства от любви».

[12] *...ветреного Мома* — Мом — бог злословия и насмешки.

[18] *Гея* — богиня земли, прародительница людей.

11. Весна

(с. 319)

Впервые — *Сор.*, 1820 (ч. 10, № 4, с. 88). Рассматривалось на заседании Вольного общества 22 марта 1820 г. (см. *УР*, с. 375).

[6] *Филомела* — афинская царевна, превращенная богами в соловья; иносказательно — соловей.

12. Финским красавицам

(с. 320)

Впервые — *Сор.*, 1820 (ч. 10, № 5, с. 186); загл. «Мадригал финским красавицам». Было одобрено и избрано Вольным обществом (см. *УР*, с. 377).

[7–8] *...сын Фрегеи, может быть, Сильнее будет сына Лады!* — Фрегея (Фрея) — богиня любви и красоты в скандинавской мифологии, так же, как Лада в мифологии славянской. Поэт хочет сказать, что, возможно, чары финских красавиц будут сильнее чар красавиц России.

13. Элегия
(«Нет, не бывать тому, что было прежде!..»)
(с. 320—321)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 16, № 2, с. 204).

14. Больной
(с. 321—322)

Впервые — *СО*, 1821 (ч. 68, № 8, с. 37).

15. В альбом
(«Вы слишком многими любимы...»)
(с. 322)

Впервые — *Сор.*, 1821 (ч. 14, № 1, с. 65). Вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 88) в другой редакции. Автограф, также с разночтениями, в альбоме А. В. Лутковской, которой было переадресовано это стихотворение. Первоначально оно, по-видимому, адресовалось С. Д. Пономаревой. Рассматривалось и было избрано на заседании Вольного общества 7 марта 1821 г. (см. *УР*, с. 394).

[8] *...адрес-календарь...* — ежегодный справочник учреждений и чиновников, выходивший в России. Здесь в смысле — список поклонников.

16. Сестре
(с. 323)

Впервые — *НЛ*, 1825 (кн. 12, апрель, с. 50).

Обращено к Софье Абрамовне Баратынской (1801—1844) по поводу ее приезда в Петербург для свидания с братом в июле 1822 г. Датируется по этому событию.

17. Эпиграмма
(«Везде бранит поэт Клеон...»)
(с. 324)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 114).

По-видимому, написана в 1822 г. и адресована Борису Михайловичу Федорову (1798—1875) в ответ на его пародию «Союз поэтов», появившуюся в *Благ.*, 1822 (ч. 19, № 39, с. 512) и «Вестнике Европы» (1822, ч. 125, № 19, с. 209).

18. Размолвка
(с. 324)

Впервые — *НЛ*, 1823 (кн. 5, № 38, с. 190). В другой редакции включено в *Изд. 1827* («Элегия» 2, с. 37).

19. Леда
(с. 325—327)

Впервые — *Мнем.*, 1825 (ч. 4, с. 221). Вольный перевод одноименного стихотворения Парни. Стихотворение «Леда», также восходящее к Парни, есть и у Пушкина. По легенде, Зевс, плененный красотой Леды, явился к ней в образе лебедя, когда она купалась в Евроте. Этот сюжет получил многочисленные воплощения. Баратынский значительно сократил элегию Парни, отбросив 14 начальных и 25 заключительных стихов. В результате этих сокращений внимание поэта сосредоточилось на любовной сцене, которая в переводе дана с большей откровенностью и смелостью, чем в оригинале. Баратынский не случайно удивлялся, что цензура разрешила напечатать «такую непристойную поэму, как Леда» (*Изд. 1951*, с. 480).

2 *...Евротейский древний ток...* — Еврот, река в Спарте, в южной части Греции.

20. Невесте (А. Я. В.)
(с. 327)

Впервые — «Царское Село на 1830 г.» (с. 234), с подписью «Е. Б — ий», Роченсальм, 1824». Обращено к Авдотье Яковлевне Васильевой, тогда невесте

Н. М. Коншина (см. о нем. прим. XXIV), ответившего Баратынскому стихотворением «Спасибо за восемь стихов» («Гирланда на 1831 г.»).
Гимен (Гименей) — бог брака.

21. Эпиграмма («Свои стишки Тощев-пиит...»)

(с. 328)

Впервые — *Изд. 1827* («Смесь», с. 92). Направлено, по-видимому, против поэта Александра Ардалионовича Шишкова (1799—1832), за которым закрепилась репутация пушкинского эпигона. Датируется условно по году выхода сборника Шишкова «Восточная лютня», отмеченного, по выражению Н. А. Полевого, «неслыханным подражанием Пушкину» (*МТ*, 1825, № 1, с. 86).

22. «Отчизны враг, слуга царя...»

(с. 328)

Впервые — «Звенья» (т. 5, М., 1935, с. 188) по копии Н. В. Путяты. При жизни Баратынского не печаталось по цензурным условиям. Датируется на основании местонахождения рукописи среди других стихов 1824 и 1825 гг. Направлено против всесильного фаворита Александра I Алексея Андреевича Аракчеева (1769—1834).

5 *Скрываясь от очей, злодействует впотьмах...* — Намек на уединения Аракчеева в его резиденции — поместье Грузино в Новгородской губернии.

23. Запрос М⟨ухано⟩ву

(с. 329)

Впервые — *МТ*, 1825 (ч. 3, № 9, с. 36) с подписью *** и в прижизненные издания не входило. Атрибутировано Баратынскому П. П. Филипповичем (см.: Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Киев, 1914, вып. 1, с. 3—11). Обращено к литератору и адъютанту А. А. Закревского Александру Алексеевичу Муханову (1800—1834), влюбленному в А. К. Шернваль (см. прим. XCIV).

8–9 *Была ль прямой зарей она...* — т. е. встречали ли они вместе утреннюю зарю?

24. К Д⟨ельвигу⟩. На другой день после женитьбы
(с. 329—330)

Впервые — «Сириус на 1826 г.» (с. 76). Печ. по позднейшей публикации в «Славянине», 1827 (ч. 2, № 15, с. 77). В прижизненные сборники не включалось. Свадьба Дельвига состоялась 30 октября 1825 г.

25. Эпиграмма («Что ни болтай, а я великий муж!..»)
(с. 330)

Впервые — *МТ*, 1826 (ч. 7, № 2, с. 60), с цензурными искажениями. Печатается по автографу — *ПД*. В прижизненные сборники не входило. Направлено против Ф. В. Булгарина, перешедшего после поражения восстания декабристов на откровенно реакционные позиции и беспринципно нападавшего на литераторов пушкинского круга.

2 *Был воином...* — Ироническое напоминание о том, что Булгарин участвовал в войнах с Наполеоном как в рядах русской армии, так и на стороне французов.

3–4 *...судебную бумагу Вам начерню, перебелю...* — Булгарин вел судебный процесс своего дяди П. Булгарина.

26. К Аннете
(с. 331)

Впервые — *СЦ* на 1826 г. (с. 15). В прижизненные сборники не включалось.

27. Эпиграмма («И ты поэт, и он поэт...»)
(с. 331)

Впервые — *СЦ* на 1827 г. (с. 332). Вошло в *Изд. 1827* («Смесь», с. 25). Автограф, содержащий другую редакцию, в альбоме А. Л. Баратынской (*ПД*).

28. Она
(с. 332)

Впервые — «Славянин», 1827 (ч. 2, № 22, с. 293). В прижизненные сборники не включалось.

29. Эпиграмма
(«Поверьте мне, Фиглярин-моралист...»)
(с. 333)

Впервые — «Денница на 1831 г.» без подписи, вместе с эпиграммой Пушкина «Не то беда, Авдей Флюгарин...», под общим заглавием: «Эпиграммы». В прижизненные сборники не входила. Направлена против Ф. В. Булгарина и нравоучительных сентенций в его романе «Иван Выжигин» (1829). Об этой эпиграмме упоминает М. П. Погодин в письме к С. П. Шевыреву от 18 апреля 1829 г.: «Баратынский написал презлую эпиграмму на него: «Б⟨улгарин⟩ уверяет нас, что красть грешно, лгать стыдно» (Русский архив, 1882, № 5, с. 80).

30. Эпиграмма
(«В восторженном невежестве своем...»)
(с. 333)

Впервые — *СЦ* на 1830 г. (с. 7). В прижизненные сборники не входила. Направлена против Н. А. Полевого, подвергшего критике «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина.

2 *На свой аршин он славу нашу мерит...*— Намек на купеческое происхождение Полевого, решившегося критиковать писателя, творчество которого принесло славу русской литературе.

31. Эпиграмма
(«Он вам знаком. Скажите, кстати...»)
(с. 334)

Впервые — «Литературная газета», 5.VI 1830 (№ 32, с. 258). В прижизненные сборники не входила. Направлена против антидворянского памфлета Н. А. По-

левого «Утро в кабинете знатного барина» (Новый живописец общества и литературы, 1830, № 10), где пародировалось стихотворение Пушкина «К вельможе».

32. Эпиграмма
(«Писачка в Фебов двор явился...»)
(с. 334)

Впервые — «Литературная газета», 10.VI 1830 (№ 33, с. 264). В прижизненные сборники не включалась. Направлена против Н. А. Полевого. Пушкин назвал эту эпиграмму «колким стихотворением» (XI, 151).

10 *Надоумко* (Недоумко) — псевдоним Н. А. Надеждина, который в это время резко полемизировал с Полевым и литературно-эстетической программой «Московского телеграфа».

33. Н. М. Языкову
(с. 335)

Впервые — «Европеец», 1832 (№ 2, с. 204). На письме, с которым это послание было доставлено адресату, имеется помета Языкова: «Получено 1831, ноябрь 23-го». Баратынский находил, что это послание «довольно слабо» (*ТС*, с. 31), вследствие чего оно и не было включено в *Изд. 1835*. См. также прим. XXV.

4—5 *Я познакомился с тобой В те осмотрительные лета...* — Знакомство Баратынского с Языковым произошло 12.VI 1824 г. Однако здесь речь идет скорее о периоде их дружеского сближения, наступившем после переезда Языкова в Москву в 1829 г.

34. Эпиграмма
(«Кто непременный мой ругатель?..»)
(с. 336)

Впервые — «Европеец» 1832 (№ 3, с. 397), в номере, печатание которого было прервано в связи с закрытием журнала. Автограф — *ЦГАЛИ*, в письме к Киреевскому (начало 1832 г.), где говорилось: «Вот тебе в заключение эпиграмма, которую должно напечатать

без имени» (*ТС*, с. 35). Направлена против Н. А. Полевого, в ответ на его отрицательный отзыв о поэме «Наложница». Иронически называя Полевого «родным», Баратынский, очевидно, поминает свои контакты с издателем «Московского телеграфа» в середине 20-х годов, сменившиеся отчуждением и враждебностью.

35. «Вот верный список впечатлений...»
(с. 336—337)

Впервые — *ПСС* (т. I, с. 316), где было опубликовано по автографу, принадлежавшему Ю. Н. Верховскому (*ЦГАЛИ*). Стихотворению отводилась роль своеобразного поэтического предисловия, или манифеста, которым Баратынский предполагал открыть *Изд. 1835*. Предположительно датируем это стихотворение 1832 г., когда Баратынский продал Смирдину свое «полное собрание стихотворений».

36. «Там, где парил орел двуглавый...»
(с. 337—338)

Впервые — *МН*, 1835 (кн. 2, ч. IV, Приложение, с. 3—4). В несколько измененной редакции — «Московские ведомости», 5.II 1836 (№ 11, с. 229—230). Принадлежность Баратынскому этого стихотворения подтвердил Л. Е. Баратынский. В статье «Материалы для биографии Баратынского» он привел ст. 5—8 с пояснением: «Вот четверостишие из стихотворения, набросанного им у себя на вечере, в Москве, по случаю посещения его живописцем Брюлловым» (*Изд. 1869*, с. 397). Как установил Н. О. Лернер, вечер, о котором идет речь, состоялся 28.I 1836 г. Литераторы, группировавшиеся вокруг «Московского наблюдателя», чествовали в этот день Брюллова, остановившегося в Москве на пути из-за границы в Петербург (Нива, 1914, № 6, Приложение, с. 297). Приложение к ч. IV *МН* было отпечатано в начале 1836 г. Дополнительные аргументы в пользу авторства Баратынского привела И. Н. Медведева, которая и опубликовала впервые полный текст стихотворения как несомненно принадлежащий Баратынскому.

По словам исследовательницы, «несмотря на то что гимн является типичным стихотворением «на случай», не характерным для поэзии Баратынского,— в стихах все же имеются черты, связывающие их с известными его произведениями. Таков образ «парящего орла» в 1—2 стихах строфы (см. в Эпилоге поэмы «Эда» стихи: «Когда над ним, шумя крылами Орел наш грозный возлетел», а также в стих. «Дядьке-итальянцу» — стихи о вступлении в Италию (1799) суворовских солдат (*Медведева И. Н.* Последний день Помпеи. Картина К. Брюллова в восприятии русских поэтов 1830-х годов.— В кн.: Istituto Universitario orientale. Annali. Sezione Slava, XI. Napoli, 1968, p. 122). Полотно Брюллова Баратынский увидел впервые в 1840 г. (см. *Изд. 1884*, 512).

37. *«Мою звезду я знаю, знаю...»*
(с. 338)

Впервые — «Утренняя заря на 1840 г.» (с. 226); загл. «Звезды», с разночтением в 5 стихе. Без загл. предназначалось для включения в *С* и было вписано в *ЦЭ* между стих. «Новинское» и «Приметы». Текст *ЦЭ* как несомненно позднейший считаем основным. Причины, по которым стих. не было помещено в *С*, неизвестны, но т. к. возражений цензора оно не вызвало, то, очевидно, оно было исключено из книги самим автором.

7 *...в звездах Моэта...*— Моэт — марка шампанского.

38. *Обеды*
(с. 339)

Впервые — «Утренняя заря на 1840 г.» (с. 184). Черновой автограф — *ПД*.

9—10 *Не менее харит своим числом, Числа камен у вас не превышали* — т. е. число гостей должно быть не менее трех (хариты — три сестры) и не более девяти (камены, музы — девять богинь). В «Утренней заре» обессмысливающая текст ошибка: «Не менее Камен своим числом Числа Харит у вас не превышали».

39. С книгою «Сумерки» С. Н. К‹арамзиной›
(с. 339)

Впервые — *Совр.*, 1842 (т. 27, № 7, с. 95). Обращено к дочери Н. М. Карамзина Софье Николаевне Карамзиной (1802—1856). Датируется по ответному письму С. Н. Карамзиной (26.VI 1842 г.).

40. Молитва
(с. 340)

Впервые — *Совр.*, 1844 (т. 36, № 12, с. 368). В *Изд. 1869* и *Изд. 1884* датируется 1842—1843 гг. Стих. было переслано А. Л. Баратынской Плетневу вместе со стих. «Люблю я вас, богини пенья». Этот список и послужил источником публикации.

41. «Когда твой голос, о поэт...»
(с. 340)

Впервые — *Совр.*, 1843 (т. 32, № 4, с. 354). В стихотворении содержится косвенный ответ на статью Белинского о «Сумерках». Называя критика «намеднишним зоилом, Уже кадящим мертвецу, Чтобы живых задеть кадилом», он напоминает о неодобрительных отзывах Белинского о Пушкине в статьях середины 30-х годов и намекает на то, что нынешняя высокая оценка покойного поэта имеет целью принизить «живых», в том числе Баратынского. Существует также предположение, что этим стихотворением Баратынский откликнулся на смерть Лермонтова. Под заглавием «На смерть Лермонтова» в 1854 г. его напечатал И. С. Тургенев.

42. На посев леса
(с. 341—343)

Впервые — «Вчера и сегодня», 1846 (ч. 2, с 68), с явно редакционным заглавием «Опять весна». Печ. с уточнением в стихе 20 по черновому автографу (*ПД*). Там же — ряд черновых набросков. В основу стих. лег-

ли факты биографии Баратынского, сажавшего в Мураново осенью 1842 г. сосновую рощу.

Разъясняя скрытый смысл стихотворения, П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту: «У Баратынского «сокрытый ров» означает намек на разные пакости, которые в Москве делали ему юные литераторы, злобствуя, что он не делит их дурачеств... «Свои рога» есть живописное изображение глупца в виде рогатой скотины. Все последние четыре стиха оттого непонятны, что я не припечатал объяснения, бывшего в подлиннике. Баратынский это писал, насадивши в деревне рощу дубов и елей, которую и называет здесь дитятей поэзии таинственных скорбей, выражая последними словами мрачное расположение души своей, в каком он занимался и до которого довели его враги литературные» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. 2, с. 728—729).

Это свидетельство нуждается, однако, в уточнении. Стих. Баратынского направлено не против «юных литераторов», объединявшихся в кружке Станкевича, а против круга «Москвитянина» (см. об этом *ПСС*, т. II, с. 281).

11 *...праг...*— порог.

19 *...сокрытый ров изрыв...*— библейский мотив: «Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил» (Псалтирь, пс. 7, 16).

26 *...хрящ другой...*— здесь — почва.

43. «Люблю я вас, богини пенья...»

(с. 343)

Впервые — *Совр.*, 1844 (т. 36, № 12, с. 370). Черновой автограф, содержащий другую редакцию,— *ПД*, на обороте чернового автографа стих. «На посев леса». Было переслано А. Л. Баратынской Плетневу вместе со стих. «Молитва».

44. «Когда, дитя и страсти и сомненья...»

(с. 344)

Впервые — *Совр.*, 1844 (т. 36, № 10, с. 109). Обращено к А. Л. Баратынской. По свидетельству Н. В. Путя-

ты, написано в Париже зимой 1844 г. (см. *Изд. 1884*, с. 480). Стих. было среди французских автопереводов Баратынского; опубликовано в *Ак.* (I, 199).

45. *Пироскаф*

(с. 344—345)

Впервые — *Совр.*, 1844 (т. 35, № 8, с. 215), с пометой «Средиземное море, 1844». Написано во время переезда из Франции в Италию. Во второй половине июня «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу» были пересланы Баратынским Н. В. Путяте с письмом, где, в частности, говорилось: «Посылаю вам два стихотворения. Отдайте их Плетневу для его журнала» (*Изд. 1951*, с. 539). Автограф, по свидетельству Ю. Н. Верховского, находился при письмах к Путяте, которые ныне хранятся в *ЦГАЛИ*. Однако разыскать его не удалось. *Пироскаф* (греч.) — пароход.

25—26 *С детства влекла меня сердца тревога В область свободную влажного бога...* — Это признание подтверждается юношеским письмом Баратынского к матери (см. *Изд. 1951*, с. 462).

33 *Фетида* — нереида, мать Ахилла. Возможно, Баратынский смешивает здесь Фетиду (Тетиду) с Тетией, сестрой и супругой Океана, которая стала в поэзии олицетворением моря.

34 *Емлет...* — вынимает.

35 *Ливурна* — так в эпоху античности назывался город Ливорно.

46. *Дядьке-итальянцу*

(с. 346—350)

Впервые — *Совр.*, 1844 (т. 35, № 8, с. 217), с пометой: «Неаполь, 1844». Переслано Баратынским в «Современник» вместе со стих. «Пироскаф». По свидетельству Ю. Н. Верховского, автограф находился в Мурановском архиве. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Посвящено памяти покойного воспитателя поэта, итальянца Жьячинто (Джачинто) Боргезе (см. прим. IV).

1 *Беглец Италии, Жьячинто...*— Домашний учитель Баратынского Джачинто Боргезе эмигрировал из Неаполя после падения республики (1799 г.). Н. М. Карамзин писал об этих событиях: «Мы не сказали бы ни слова о бедственном Неаполе, если бы он, напоминая ужасы, в то же время не напоминал о славной дисциплине шести тысяч русских, которые спасли его от дальнейших исступлений итальянской злобы» (Вестник Европы, 1802, ч. 1, № 1, с. 8, с. 82).

4—5 *...в край, снегами покровенный, Приставший с выбором загадочных картин...*— После оккупации Неаполитанского государства французами оно подверглось разграблению. Были, в частности, реквизированы музеи, библиотеки, фабрики фарфоровых изделий и гобеленов, а также частные художественные собрания и коллекции. Несколько картин, тайком вывезенных Боргезе из Италии, не пришлись, однако, по вкусу богатым покупателям в России.

13—14 *...тебе кое-что дал Почтенный... генерал...*— Отец поэта Абрам Андреевич Боратынский.

19 *Москва нас приняла...*— Боратынские переехали в Москву в 1808 г.

21 *Всех макаронщиков тогда узнал я в ней...*— т. е. познакомился со всей итальянской колонией в Москве.

23 *...оставив там могилу дорогую...*— Могилу А. А. Боратынского, скончавшегося и похороненного в Москве.

24 *Опять увидели мы вотчину степную...*— Мару, куда семья вернулась после смерти А. А. Боратынского.

45 *...храм Петра...*— т. е. храм св. Петра в Риме.

48 *...где зрел, дивясь, суворовских солдатов...*— Армия Суворова вступила в Италию в 1799 г., год спустя был предпринят второй итальянский поход Наполеона, завершившийся битвой при Маренго.

49 *...вопреки тех пламенных часов...*— Имеются в виду пушки замка св. Эльма, удерживаемого французами; в мирное время залп этих крепостных орудий возвещал о наступлении полудня.

54 *Минутный царь царей...*— Став французским императором в мае 1804 г. и торжественно коронованный папой Пием VII в Париже в декабре того же года, Наполеон 18 марта 1805 г. принял титул короля Италии и через три месяца после этого увенчал себя в Милане железной короной лангобардских королей — так он стал новоявленным Карлом Великим. Однако после битвы при Аустерлице подписанный 26 декабря 1805 г. Пресбургский мир привел к формальному упразднению оставшегося от средневековья института — Священную Римскую империю. Полная зависимость Италии от Франции сохранилась до 1814 г., когда она рухнула вместе со всей европейской военной системой Наполеона.

55 *...дивный кондотьери...*— здесь: гениальный полководец.

60 *...ты не забыл серебряные ложки...*— По приказу Наполеона итальянцы должны были сдать все серебро французам.

63 *...узнику печальному британца...*— Корсиканец по происхождению, Наполеон стал «узником британца» в 1815 г. и провел остаток жизни на острове св. Елены.

65 *Что на твоем веку, то ль благо, то ли зло...*— Вся политико-территориальная система, созданная Бонапартом в Италии, потерпела крах. Однако опыт революционной и наполеоновской эпох пережил свое время и оказал немалое влияние на развитие Рисорджименто, которое как раз в эти годы делало свои первые трудные шаги.

67—69 *...приемлемый опалой... Суворов...*— Суворов после героического итальянского похода был враждебно встречен Павлом I.

83 *И Цицеронов дом...*— Вилла Марка Туллия Цицерона (106—43 г. до н. э.), римского оратора, писателя и государственного деятеля, находилась в Формии, на полпути из Рима в Неаполь, где Цицерон был убит.

83—85 *...злачную пещеру... Где спит великий прах властителя стихов...*— Речь идет о Публии Вергилии Мароне (70—19 до н. э.) — римском поэте, авторе

поэмы «Энеида», который был похоронен в пещере близ Неаполя, где и по сей день показывают грот с его могилой.

88 *Где в мраки Тенара открыл он путь Энею.*— Тенар — название мыса в Древней Греции. Там находилась пещера с пропастью, считавшейся входом в подземное царство. Посещению Энеем подземного царства посвящена шестая книга «Энеиды».

96 *Приюты отдыхов и Мария и Силлы.— Марий* Гай (155—86 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель; Силла — *Сулла* Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский полководец, диктатор; соперник и противник Мария.

104 *Мелевы* — мелиссы, многолетние травянистые растения с белыми или желтоватыми цветами и лимонным запахом, дающие эфирное масло.

104—106 *...даже эти лозы, Чей безымянной лист так преданно обник. Давно из божества разжалованный лик...*— т. е. лозы украшают изображения Бахуса, уже не являющегося божеством. Атрибутами Бахуса была не только виноградная лоза, но и вечнозеленый плющ. С конца XVIII в. плющ — эмблема республиканской партии, оказавшей влияние на процесс духовного развития русского общества и сыгравшей известную роль в формировании декабризма (подробнее об этом см.: *Сибирева Г. А.* Неаполитанское королевство и Россия в последней четверти XVIII в. М.: Наука, 1982).

113—114 *...сумрачный поэт, Дитя Британии...*— Байрон, в 1817—1823 гг. живший в Италии.

Отдел II

47. Хор, петый в день именин...
(с. 350—351)

Впервые — *ТС* (с. 50). *Богдан Андреевич Боратынский* (1769—1820) — дядя поэта. Племянницы Панчулидзевы — Анна, Елизавета и Екатерина — дочери М. А. Панчулидзевой, рожденной Боратынской, тетки поэта.

48. Моя жизнь
(с. 352)

Впервые — *ПСС* (I, 266). Автограф — *ПД*. Датируется по местонахождению в альбоме П. Л. Яковлева среди автографов стихотворений Дельвига, Пушкина и др., относящихся к 1818—1819 гг. Это же послужило обоснованием датировки и четырех следующих стихотворений.

49. «Полуразрушенный, я сам себе не нужен...»
(с. 353)

Впервые — *ПСС* (I, 267). Автограф — *ПД*.

50. «Мы будем пить вино по гроб...»
(с. 353)

Впервые — *ПСС* (I, 268). Автограф — *ПД*.

3–4 *Нам явно показал потоп, Что воду пьют одни лишь злые.*— Баратынский шутливо намекает на всемирный потоп, которым бог покарал грешников, когда спасся один добродетельный Ной.

51. «Здесь погребен армейский капитан...»
(с. 353)

Впервые — *ПСС* (I, 269). Автограф — *ПД*, в виде подписи к рисунку, изображающему офицерскую треуголку, бутылку и бокалы.

52. «В пустых расчетах в грубом сне...»
(с. 353)

Впервые — *ПСС* (I, 270). Автограф *ПД*.

53. «Так, он ленивец, он негодник...»
(с. 354)

Впервые — *Ак.* (I, 87). Датируется приблизительно по местонахождению копии Л. С. Пушкина, являющейся источником текста. По предположению И. Н. Медведевой, адресатом эпиграммы, как и близкой к ней по

теме и построению эпиграммы Пушкина «Как брань тебе не надоела», является Николай Андреевич Цертелев (1790—1869), критик «Благонамеренного», представитель правого крыла Вольного общества, выступавший с нападками на поэтов пушкинского круга (см. *ПСС*, II, 286).

54. «Я унтер, други!— Точно так...»
(с. 354)

Впервые — *ОЗ*, 1865 (август, кн. 2, с. 285). Существует предположение, что эпиграмма была написана в ответ на эпиграмму О. М. Сомова «Подпись к портрету Баратынского», где сказано:

Он унтер-офицер, но от побой
Дворянской грамотой избавлен (*ПСС*, II, 286)

55. В альбом («Когда б вы менее прекрасной...»)
(с. 354—355)

Впервые — «Вестник Европы», 1894 (№ 3, с. 438). Автограф — *ЦГАЛИ*. Адресовано С. Д. Пономаревой и поэтому предположительно датируется 1822 г.

56. «Младые грации сплели тебе венок...»
(с. 355)

Впервые — «Известия имп. Академии наук», 1911, (№ 7, с. 522). Автограф — *ПД*, в альбоме А. В. Лутковской. Как и другие стихотворения в этом альбоме, датируется предположительно 1823—1824 гг.

57. «Когда придется как-нибудь...»
(с. 356)

Впервые — «Известия имп. Академии наук», 1911 (№ 7, с. 523). Автограф в альбоме А. В. Лутковской (*ПД*, с. 43) имеет подпись: «Е. Баратынский. Рончельсам. Февраль 15-го 1824 года».

6 *Варвара Аргунова* — лицо неустановленное.
11 ..*Анеточка моя...*— Анна Васильевна Лутковская, племянница командира Нейшлотского полка, у которого жил Баратынский.

58. *«Войной журнальною бесчестит без причины...»*
(с. 356)

Впервые — «Остафьевский архив князей Вяземских» (СПб., 1899, т. 3, с. 119), в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 2.V 1825 г. Тексту эпиграммы предшествует следующее высказывание Баратынского из его письма к И. И. Козлову: «Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные времена междоусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне» (*Изд. 1951*, с. 482). Существует также свидетельство Вяземского: «Баратынский говаривал о мне, что в моих полемических стычках напоминал я ему старых наших бар, например Алексея Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой» (*Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т. СПб., 1878, т. I, с. XLVI). Аналогичные упреки слышал Вяземский и от Пушкина: «...Бранюсь с тобою за одно послание к Каченовскому; как мог ты сойти в *арену* вместе с этим хилым кулачным бойцом — ты сбил его с ног, но он облил бесславный твой венок кровью, желчью и сивухой...» (XIII, 34).

59. *«Простите, спорю невпопад..»*
(с. 357)

Впервые — «Старина и новизна» (кн. 5, 1902, с. 44), в тексте письма Баратынского к П. А. Вяземскому. Написано в конце 1825 г. как ответ на настойчивые сопоставления Баратынского с Парни.

60. *«Я был любим, твердила ты...»*
(с. 357—358)

Впервые — *Ак.* (I, 58). Автограф — *ЦГАЛИ.* На списке рукой кузины Баратынского Натальи имеется дата: «31 ноября 1825 г.»

61. «В своих листах душонкой ты кривишь...»
(с. 358)

Впервые — «Русский архив», 1872 (вып. 2, с. 351), в тексте письма Баратынского к Н. В. Путяте (январь 1826 г.). Автограф — *ЦГАЛИ*. Как явствует из письма, эпиграмма направлена против Ф. В. Булгарина.

62. С. Л. Энгельгардт
(с. 359)

Впервые — *Совр*., 1854 (т. 47, № 10, с. 154). Автограф без загл.— *ЦГАЛИ*. Обращено к свояченице поэта (см. о ней прим. CXVIII). Предположительно датируется 1826 г., т. к. именно в это время судьба «даровала» поэту «нежданное родство» с С. Л. Энгельгардт.

63. Ода
(с. 359)

Впервые — *Ф*, с. 197. Автограф — *ЦГАЛИ*. По обоснованному предположению П. П. Филипповича, стих. представляет собой переработку первых 24 ст. журнальной редакции стих. «В глуши лесов счастлив один» (см. с. 118). Датируется периодом подготовки *Изд. 1827*, где это стих. с загл. «Стансы» было впервые напечатано без четырех начальных строф.

64. «Откуда взял Василий непотешный...»
(с. 361)

Впервые — *Ак*. (I, 88) по письму Вяземского к Жуковскому и А. И. Тургеневу от 6 января 1827 г. Автограф — *ЦГАЛИ*.

1 ...*Василий непотешный...*— поэт-карамзинист Василий Львович Пушкин (1770—1830).

2 *Потешный Буянов* — герой комической поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811), имевшей шумный успех,

65. *«Хотите ль знать все таинства любви?..»*
(с. 361)

Впервые — *Ак.* (I, 88) по письму Вяземского к Жуковскому и А. И. Тургеневу от 6 января 1827 г. Автограф — *ЦГАЛИ.*

66. *«Грузинский князь, газетчик русской...»*
(с. 362)

Впервые — «Русская старина», 1871 (№ 10, с. 420—440). В другой редакции и с указанием на авторство Д. В. Давыдова. Данная редакция была опубликована С. А. Рейсером по тексту, внесенному Баратынским в письмо Вяземского и Жуковского к А. И. Тургеневу от 25.II — 12.III 1827 г. (*ЛН*, т. 58, 1952, с. 61). Автограф — *ГПБ.* Вяземский сопроводил этот текст следующим замечанием: «Баратынский прервал мое письмо. Вот история эпиграммы его: князь Шаликов назвал где-то и как-то Дениса Давыдова трусом, а Денис воюет теперь с персиянами» (Там же, с. 62). Е. Н. Купреянова полагала, что слова «эпиграмма его» не обязательно указывают на авторство Баратынского, и считала возможным автором также Д. В. Давыдова (см. *Изд. 1957*, с. 393). На неубедительность ее гипотезы указал М. И. Гиллельсон, справедливо обративший внимание, в частности, на стих. «Ему наш воин отвечал», невозможный, если бы эпиграмма была написана Давыдовым (см.: Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. Л.: Сов. писатель, 1975, с. 770).

1 *Грузинский князь...* — П. И. Шаликов был по национальности грузин.

2 *..Героя трусом называл...* — В «Дамском журнале» (1827, № 7), издателем которого был Шаликов, появилась следующая эпиграмма на Д. Давыдова:

Герой

Когда кипит с врагами бой
И росс вновь лавры пожинает,
Усатый грозный наш герой
В Москве на дрожках разъезжает,

5 *На глас войны летит он к Куру, Спасает родину князька...*— Д. Давыдов участвовал в русско-персидской войне 1826—1828 гг., действия которой протекали на родине Шаликова, в Грузии, в районе реки Куры.

7 *...князь наш держит корректуру Реляционного листка.*— Шаликов был редактором «Московских ведомостей», печатавших сообщения («реляции») о военных действиях на Кавказе.

67. «Убог умом, но не убог задором...»

(с. 362)

Впервые — *ПСС* (I, 303). Автограф в Отделе письменных источников *ГИМ*. Эпиграмма направлена против третьестепенного поэта Андрея Николаевича Муравьева (1805—1874). В начале 1827 г. на вечере у княгини З. А. Волконской Муравьев нечаянно отбил руку у статуи Аполлона и написал на пьедестале стихи по этому поводу. Тем же эпизодом вызвана и эпиграмма Пушкина «Лук звенит, стрела трепещет».

68. «Прости мой милый! так создать...»

(с. 364)

Впервые — «Русский архив», 1867 (вып. 2, с. 277), в тексте письма Баратынского к Н. В. Путяте (1827). Автограф — *ЦГАЛИ*.

69. «Мой старый пес! Ты псом окончил век!..»

(с. 364)

Впервые — *Совр.*, 1854 (т. 13, № 1, с. 34), искаженный текст, дошедший в передаче М. Д. Деларю. Исправный текст, по автографу в письме поэта к В. А. Баратынской (*ЦГАЛИ*), был опубликован в журн. «Вопросы литературы» (1969, № 2, с. 251). По содержанию письма датируется приблизительно серединой 20-х годов.

70. *«Не растравляй моей души...»*

(с. 364)

Впервые — *Ак.* (I, 142). Автограф — *ПД*. Датируется условно 1832 г. по водяному знаку на автографе и местонахождению его среди черновиков второй редакции «Признания», над которой Баратынский работал, готовя *Изд. 1835*.

71. *Н. Е. Б.*

(с. 365)

Впервые — *Совр.*, 1854 (т. 47, № 10, с. 155). В *Изд. 1884* датировано 1832 г. Основания датировки и адресат стихотворения неизвестны.

72. *На*** («В руках у этого педанта...»)*

(с. 365)

Впервые — *Совр.*, 1854 (т. 47, № 10, с. 160). Написано в связи с приходом Белинского в конце 1839 г. в «Отечественные записки». Н. Ф. Павлов писал В. Ф. Одоевскому по тому же поводу: «Вы выписали Белинского. Ведь он известен. Этот мортус отправил похороны «Телескопа» и «Наблюдателя» (Русская старина, 1904, № 4, с. 198). Таким образом, под двумя «похороненными» журналами разумелись «Телескоп» и «Московский наблюдатель», под третьим, обреченным на ту же участь,— «Отечественные записки», а «журнальным негоциантом» Баратынский называл их издателя А. А. Краевского.

73. *«На все свой ход, на все свои законы...»*

(с. 366)

Впервые — *Ак.* (I, 158). По-видимому, стихотворение отразило впечатления Баратынского от пребывания в Петербурге зимой 1840 г.

74. *«Спасибо злобе хлопотливой...»*

(с. 367)

Впервые — «Русская беседа», 1859 (кн. 2(14), с. 1), с редакционным примечанием: «Стихи эти посланы нам П. И. Бартеневым из Дрездена, при следующем замечании: «Живя в Москве, Баратынский несколько месяцев сряду не мог ничего писать и все жаловался на скуку. Вдруг журнальные рецензии, в которых почти никогда не отдавалось должной цены его произведениям, или какие-то другие неприятности пробудили его из этого усыпления. Он снова и деятельно принялся за работу, и, когда его раз спросили, отчего произошла в нем такая быстрая перемена, он отвечал прилагаемым осьмистишием, случайно уцелевшим в памяти одной дамы, которая была коротко знакома с Баратынским...» Датируется по содержанию, близкому к стихотворению «Коттерие».

10 *Как богоизбранный еврей...* — Иисус Навин. По библейской легенде, в день битвы иудеев, возглавляемых Навином, с филистимлянами солнце не заходило, пока филистимляне не были уничтожены (Книга Иисуса Навина, гл. 10).

16 *Флакк* — Квинт Гораций Флакк.

75. *«Небо Италии, небо Торквата...»*

(с. 367)

Впервые — *Совр.*, 1854 (т. 47, № 10, с. 154). «Италия,— писал Н. В. Путята,— более прочих стран привлекала поэта... Исторические воспоминания, роскошная природа и памятники искусств этой страны всегда манили его к себе. Однажды, еще в Москве он воскликнул экспромтом: «Небо Италии, небо Торквата...» и т. д. (*Изд. 1884*, с. 484). Эти слова позволяют думать, что стихотворение было написано незадолго до отъезда Баратынского из Москвы осенью 1843 г.

1 *...небо Торквата...* — Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт.

Стихотворения, написанные вместе с другими поэтами

76. «Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком...»
(с. 368)

Впервые — «Исторический вестник», 1883 (№ 2, с. 468), где ошибочно приписано Пушкину. Как указал К. А. Полевой, оно было написано совместно с Дельвигом в 1819 г., когда поэты жили на одной квартире в Петербурге, в 5 роте Семеновского полка. Пушкин, по словам Полевого, «вспоминал шутливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в пышных гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые «в лавочку были должны, руки держали в карманах (перчаток они не имели!)» (Н. Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики. Л., 1934, с. 234). Это же стих. приводит А. П. Керн как сообщенное ей С. М. Дельвиг и «сложенное когда-то вместе с Баратынским» (Пушкин и его современники. СПб., 1907, вып. V, с. 146). Можно согласиться с мнением М. Л. Гофмана, что бо́льшая доля участия в создании стих. должна была принадлежать Дельвигу: «об этом говорит и размер — гекзаметр, излюбленный Дельвигом и чуждый Баратынскому» (*Ак.* I, 323). См. также: Русское стихосложение XIX в.: Материалы по метрике и строфике русских поэтов. М.: Наука, 1979, с. 305.

77. Певцы 15-го класса
(с. 368—370)

Впервые — *ПСС* (I, с. 325). Авторство Баратынского и Дельвига установлено И. Н. Медведевой (см. *ПСС*, т. II, с. 298—299). Там же предлагается датировать стих. 1823 — началом 1824 г.

Певцы 15-го класса — не имеющие права считаться поэтами, т. к. низшим в табеле о рангах был 14-й класс.

Куплеты 1 и 2 направлены против А. А. Шаховского. В его пьесе «Новости из Парижа, или Торжество муз» Водевиль, Журнал и Мелодрама, пытающиеся состязаться с музами, изгоняются с Парнаса.

Куплеты 3 и 4 направлены против издателя «Благонамеренного» А. Е. Измайлова (1779—1831), который пользовался покровительством Д. И. Хвостова. По протекции Хвостова Измайлов стал председателем «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», члены которого собирались в его квартире на Песках.

Куплет 5 направлен против Н. Н. Остолопова и его перевода из Т. Тассо — «Тассовы мечтания».

Куплет 6 направлен против В. И. Панаева (1792—1859), «Идиллии» которого были изданы отдельно в 1820 г.

Куплет 7 направлен против О. М. Сомова и опубликованного им перевода «Отрывок из нового романа: Разлука на восемь дней, или Гостиница на горе Ценис», соч. г. С. Тома (*Благ.*, 1821, ч. 16, № 19—20, с. 39—69). Автор романа, Август Сен-Тома, был переводчиком «Истории государства Российского».

Куплет 8 направлен против М. Е. Лобанова, переводившего Расина, и в частности его трагедию «Федра».

Куплет 9 направлен против поэта Д. М. Княжевича (1788—1844).

Куплет 10 направлен против Д. И. Хвостова, издававшего свои сочинения за собственный счет.

Куплет 11 направлен против А. М. Бирукова (1772—1844), цензора петербургского цензурного комитета.

78. Быль

(с. 370)

Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831 (№ 6, 21 января, с. 46) с подписью «Сталинский». Долгое время приписывалось Пушкину. По свидетельству Сергея Александровича Соболевско-

го (1803—1870), написано им совместно с Баратынским в 1825 г. (см. *Ак.*, I, 325).

1—2 *Жил да был петух индейский, Цапле руку предложил...* — Цапля — тетка А. С. Пушкина Елизавета Львовна (1776—1848); петух индейский — ее муж Матвей Михайлович Сонцов (Солнцев) (1779—1847).

3 *При дворе взял чин лакейский...* — В 1825 г. Сонцов получил придворный чин камергера.

7 *...цаплей пара...* — дочери Сонцовых Екатерина (ум. в 1864 г.) и Ольга (ум. в 1880 г.).

79. *«Наш приятель, Пушкин Лев...»*
(с. 371—372)

Впервые — «Русский вестник», 1842 (№ 1, с. 22), без подписи. Атрибутируется по указанию А. И. Дельвига, в мемуарах которого «Полвека русской жизни» (М.; Л.: Academia, 1930, т. 1, с. 73—74), в частности, говорится: «Он ‹Лев Сергеевич Пушкин› любил много есть и пить вина, вследствие чего Дельвиг одно из своих стихотворений, написанных им вместе с Баратынским, начал следующею строфою:

Наш приятель Пушкин Лев и след.

За этою строфою следовала строфа о поэте Федоре Николаевиче Глинке, известном тогда перелагателе в стихи псалмов царя Давида.

Федор Глинка молодец и след.»

Участие Баратынского в написании этого стих. подтверждает и С. А. Соболевский (см.: Пушкин и его современники. вып. 21—22. Пг., 1915, с. 42). А. И. Дельвиг приводит как часть данного стих. и следующие строки:

Непременный секретарь Соколов Российской,
О, запачканная тварь
С харей фарисейской...

Здесь, однако, налицо явное искажение текста: по количеству стихов и системе рифмовки эта строфа отличается от предыдущих. Кроме того, как указал Б. В. Томашевский, она почти текстуально совпадает с одной из строф сатиры А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» (см.: *Дельвиг А. И.* Указ. соч., т. 1, с. 502). По обеим этим причинам приведенные стихи не включаются в основной текст.

80. «Князь Шаликов, газетчик наш печальный...»
(с. 372)

Впервые — «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание сочинений его» (Берлин, 1861, с. 109). Написано 15 мая 1827 г. Соавторство Баратынского и дата написания устанавливается записью в «Журнале» И. М. Снигирева (1793—1868), профессора Московского университета и цензора Московского цензорного комитета, об обеде у М. П. Погодина: «За столом Пушкин с Баратынским написали на Шаликова следующее, по случаю рассказанного анекдота: «Князь Шаликов, газетчик наш печальный...» и т. д. (Пушкин и его современники. Пг., 1913, вып. 16, с. 50).

81. Журналист Фиглярин и Истина
(с. 373)

Впервые — *МТ*, 1827 (ч. 15, № 9, с. 5), без подписи. Написано 16 мая 1827 г. В прижизненные сборники не включалось. В эпиграмме высмеивается виньетка, помещенная на титульном листе I тома «Сочинений Фаддея Булгарина» и иллюстрирующая следующие строки предисловия автора, озаглавленного «Истина и сочинитель»: «Вдруг кабинет сочинителя озарился приятным светом, наподобие утренней зари; он в изумлении оглянулся и видит — женщину, прекрасную как идеал поэзии... «Ты назвал себя моим служителем,— сказала она,— и я пришла навестить тебя». Сочинитель: «Не-

ужели ты... Истина? Истина: «Точно так» (Сочинение Фаддея Булгарина. СПб., 1827, т. I, с. III). Булгарин ответил на эту эпиграмму в рецензии на *Изд. 1827*: «Честь вам и слава, г. поэт! Вы победили меня звуками своей лиры! Вы сделали пародию в стихах из предисловия к моим сочинениям: Истина и Автор. Теперь вы удостоверитесь, что я точно так поступаю, как сказал: могу, как человек, ошибаться, но никогда с умыслом не отступаю от истины...» (Северная пчела, 3.XII 1827). Хотя Булгарин считал автором эпиграммы одного Баратынского, она была написана при участии Пушкина. Соавторство Пушкина установлено Т. Г. Цявловской (см. ее статью «Новонайденный автограф Пушкина. (Эпиграмма на Булгарина)».— Русская литература, 1961, № 1, с. 120—133).

82. Куплеты на день рождения княгини Зинаиды Волконской...

(с. 373—375)

Впервые — *Волконская З. А.* Собр. соч. Париж. Карлсруэ, 1865, с. 155.

О З. А. Волконской см. прим. LXXVII.

Dubia

83. «С неба чистая...»

(с. 376)

Впервые — *Изд. 1869* (с. 394), с следующим замечанием сына поэта Л. Е. Баратынского: «В Петербурге Евгений Абрамович познакомился с некоторыми из декабристов... Баратынский в молодых годах, не разделяя их цели, со всем увлечением своих лет сочувствовал тому, что заключается великодушного в обширном, неопределенном и гибком значении слова «свобода». Вот несколько стихов, дошедших до нас по воспоминанию, на эту тему, внушенных ему на одном из ужинов этой молодежи».

Существует предположение, что данные стихи были имитированы Рылеевым и Бестужевым в их известной агитационной песне «Подгуляла я» (*ЛН*, т. 59, 1954, с. 268—272).

84. «Приют, от светских посещений...»

(с. 376)

Впервые — *ТС* (с. 53), в тексте письма к И. В. Киреевскому от 4 декабря 1833 г. «Под уединением я не разумею одиночества,— писал Баратынский,— я воображаю

Приют, от светских посещений...». Баратынский нередко вводил в свои письма небольшие поэтические фрагменты. Например, в письмо к Н. В. Путяте (1828) включено четверостишие «Прости, мой милый, так создать...» (*Изд. 1951*, с. 490). В другое письмо Путяте включено четверостишие из «Черепа»: «Нам надобны и страсти и мечты» (см. *Изд. 1951*, с. 478). Однако иногда подобные стихотворные вставки оказывались цитатами из других авторов, например измененная цитата из стихотворения Вяземского «К старому гусару» в тексте письма к Вяземскому от декабря 1832 г. (см. *Изд. 1951*, с. 521. Письмо к Н. В. Путяте от ноября 1843 г. начинается стихом из послания И. И. Дмитриева «Путешествие NN в Париж и Лондон». Хотя стихов «Приют, от светских посещений» ни у кого из современников или предшественников Баратынского обнаружить не удалось, принадлежность этого произведения Баратынскому нельзя считать установленной окончательно.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИИ, ПОМЕЩЕННЫЕ МЕЖДУ с. 352—353

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ ЕВГЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СУМЕРКИ

ДОПОЛНЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ИЗДАНИЯ 1835 И 1842 ГОДОВ

Отдел I

Отдел II

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

Стихотворения. Поэмы

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства О. К. Логинова. Художник Б. И. Астафьев. Художественный редактор Т. П. Поленова. Технический редактор Р. М. Денисова. Корректоры Е. Н. Белоусова, М. В. Бортково, Л. Д. Собко

ИБ № 25090

Сдано в набор 02.01.82. Подписано к печати 30.08.82. Формат 70×90[1]/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура елизаветинская. Печать высокая. Усл. печ. л. 27,0. Усл. кр. отт. 29,1. Уч.-изд. л. 30,7. Тираж 50 000 экз. Тип. зак. 1282. Цена 3 р. 90 к. Издательство «Наука» 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90, 2-я типография издательства «Наука» 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10